



StoSvet
Press

СТОРОНЫ СВЕТА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК

№16

StoSvet Press
Нью-Йорк
2016

«СТОРОНЫ СВЕТА»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК
№16

ОСНОВАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Олег Вулф (1954 – 2011)

РЕДАКТОР-СОСТАВИТЕЛЬ
Ирина Машинская

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Лиля Панн
Слава Полищук
Валерий Хазин
Роберт Чандлер

ОФОРМЛЕНИЕ И ОБЛОЖКА
Сергей Самсонов (1954 – 2015)
Михаил Кондратенко

КОРРЕКТОРЫ
Ольга Новикова
Рашель Миневич
Наталья Сломова

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЁРСТКА, МАКЕТ,
ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕДАКТУРА
Bagriy & Company, Inc, Чикаго
Руководитель: Семён Каминский

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Хона Гордон

Адрес редакции:
cp@StoSvet.net
www.StoSvet.net

Этот номер вышел благодаря поддержке друзей журнала: Аллы Стайнберг, Виктора Пана, Ольги Гольдбергер, Регины Хидекель (Russian American Cultural Center), Славы Полищука, Игоря Мазина, Сергея Ледовских, Григория Стариковского, Михаила Рабиновича, Валерия Хазина, Хельги Ландауэр, Юлии Трубихиной, Владимира Эфроимсона и слушателей на вечерах «Сторон света» и *Cardinal Points Journal*. Спасибо!

PUBLISHED BY STOSVET PRESS, NEW YORK

ISBN: 978-1530534395

© 2016, All Rights Reserved
Все права принадлежат авторам

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От редактора</i>	9
---------------------------	---

ПОЭЗИЯ-I

Денис Новиков	
ПРИШЕЛЕЦ	12
Публикация Юлианы Новиковой. Составитель: Феликс Чечик	
Феликс Чечик	
ПОЙДИ ПОПРОБУЙ ОБЪЯСНИ	21
Гали-Дана Зингер	
ПЕСЕНКИ О ЛЮБВИ И СМЕРТИ	24
Марк Зильберштейн	
НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ С ПУТНИКОМ	32
Катя Капович	
ЧЕРНОСТОП	41
Евгений Морозов	
ПОГАДАЙ ПО ПАЧКЕ СИГАРЕТНОЙ	44
Антон Нечаев	
Я – ВНЕ	47

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

Гомер в переводах Григория Стариковского	
«Одиссея» 12.39-110	52
Три израильских поэта в переводах с иврита Гали-Даны Зингер	
Меир Визельтир	54
Рони Сомек	55
Аги Мишоль	59
Ури Цви Гринберг (1896 – 1981)	
в переводах Евгения Дубнова	62

Йован Зивляк в переводах с сербского Лилии Белинкой	64
--	----

Переводческая премия «Компас»: русская поэзия по-английски

Compass-2013: Мария Петровых	67
Compass-2014: Арсений Тарковский	73

ПРОЗА

Борис Крижопольский ДВА РАССКАЗА. Базилик. Запертый сад	84
--	----

Сергей Ледовских, Наталья Маркова БАБСКИЕ СКАЗКИ	96
---	----

ПОЭЗИЯ-II

Марина Гарбер (ЛЮБОВЬ)	114
---------------------------------	-----

Евгений Ракович НОВОСЕЛЬЕ ОТЦА	120
---	-----

Дана Голина ФУНИКУЛЁР НА ROOSEVELT ISLAND	124
--	-----

Михаил Рабинович ОБОРОТНАЯ СТОРОНА	127
---	-----

Марина Эскина СПАСИБО ЗА УГЛЕРОД, КИСЛОРОД, АЗОТ	129
---	-----

Борис Колымагин ГЛАЗА ПУРГИ	132
--------------------------------------	-----

Иван Белецкий ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ	136
--	-----

Анна Голицына ИЮЛЬ 14-ГО	138
-----------------------------------	-----

IN MEMORIAM

ПО РЕКЕ-РЕКЕ ДО УСТЬЯ.

Наталья Евгеньевна Горбаневская (1936 – 2013) 140

Людмила Улицкая. ПОДРУГИ 140

Григорий Кружков. ПИСЬМО 142

Наталья Горбаневская. ВАРИАЦИЯ НА МОТИВ БАЧИНСКОГО .. 144

Ирина Машинская. «И НЕ СДАВАЙСЯ...» 144

БОГУ – СВЕЧКА, СПИЧКА – МНЕ.

Инна Львовна Лиснянская (1928 – 2014) 149

Инна Лиснянская. СТИХИ ОДНОГО ДНЯ. ПИСЬМА К ДОЧЕРИ

Составление, предисловие и публикация Елены Макаровой 151

ЭТО ТОЖЕ ОДНА ИЗ СВОБОД.

Самуил Аронович Лурье (1942 – 2015) 192

Дина Гусейнова.

ЗАЧЕМ – СЕЙЧАС: В ПОИСКАХ С. ГЕДРОЙЦА 192

ПОРТРЕТЫ

ИРИНА НИНОВА (1958 – 1994) 198

Мария Карп. Памяти Ирины Ниновой

Из «Послесловия Самуила Лурье к “Автобиографии Алисы Б. Токлас”

Гертруды Стайн» в переводе Ирины Ниновой

РУДОЛЬФ ОЛЬШЕВСКИЙ (1938 – 2003) 204

Станислав Рассадин. Ожидается жизнь

О книге Рудольфа Ольшевского «Полночный звонарь»

Рудольф Ольшевский. Стихи. Публикация Вадима Ольшевского

АНАСТАСИЯ ХАРИТОНОВА (1996 – 2003) 225

Анастасия Харитоновна. Стихи.

Предисловие, составление и публикация Григория Марговского

СТЕПАН ГОНЧАРОВ (1952 – 2015) 234

Ирина Машинская. Элегия Степану

Степан Гончаров. Стихи. Публикация И. Машинской

Ирина Машинская. Гром в марте

ВОСПОМИНАНИЯ

Лиля Панны. ЮЛИЙ	224
Поэль Карп. НА ХОРОШЕВСКОМ ШОССЕ	278

ЭНКОМИЙ

Владимир Марамзин. ПОЭЛЬ-90	288
-----------------------------------	-----

ЭССЕ И СТАТЬИ

Вилли Р. Мельников. СТИХО-ОТВОРЕНИЕ	294
Ольга Назарова. 100 ВИДОВ НА ГОРУ ФУДЗИ, ИЛИ ИСТОРИЯ МИРА В 100 ОБЪЕКТАХ	306

ОТ РЕДАКТОРА

Отметив своё десятилетие, литературно-художественный журнал «Стороны света» становится ежегодным литературным сборником и с этого выпуска начинает выходить и в печатном, и в электронном виде. Мы рады, что «СтоСвет» становится доступен читателю за океаном – за океанами. Это – главное.

Ирина Машинская

ПОЭЗИЯ-I

Израиль, США, Россия

Денис Новиков

ПРИШЕЛЕЦ

Денис Новиков родился 14 апреля 1967 года в Москве. Учился в Литературном институте им. А.М. Горького. Участник группы «Альманах». Несколько лет жил в Англии. В 2004 году репатрировался в Израиль. Стихи публиковались в журналах «Огонёк», «Юность», «Арион», «Новый мир», «Знамя» и др. Автор четырёх книг стихов.

Умер 31 декабря 2004 года. Похоронен в г. Беэр-Шева (Израиль).

* * *

Одесную одну я любовь посажу
и ощую – другую, но тоже любовь.
По глубокому кубку вручу, по ножу.
Виноградное мясо, оградная кровь.

И начнётся наш жертвенный пир со стиха,
благодарного слова за хлеб и за соль,
за стеклянные эти – 0,8 – меха,
и за то, что призрел перекатную голь.

Как мы жили, подумать, и как погода,
с наступлением времени двигать назад,
мы, плечами от стужи земной поводя,
воротимся в Тобой навещаемый ад.

Ну а ежели так посидеть довелось,
если я раздаю и вино и ножи –
я гортанное слово скажу на авось,
что-то между «прости меня» и «накажи»,

что-то между «прости нас» и «дай нам ремня».
Только слово, которого нет на земле,
и вот эту любовь, и вот ту, и меня,
и зачатых в любви, и живущих во зле

оправдает. Последнее слово. К суду
обращаются частные лица Твои,
по колено в Тобой сотворённом аду
и по горло в Тобой сотворённой любви.

Пришелец

Он произносит: кровь из носа.
И кровь течёт по пиджаку,
тому, не знавшему износа
на синтетическом веку.

А через час – по куртке чёрной,
смывая белоснежный знак,
уже в палате поднадзорной –
и не кончается никак.

Одни играют на баяне,
другие делят нифеля.
Ему не нравятся земляне,
ему не нравится Земля.

И он рукой безвольно машет,
как артиллерии майор...
И все. И музыка не пашет.
И глохнет пламенный мотор.

Чукоккала

Голое тело, бесполое, полное, грязное
В мусорный ящик не влезло – и брошено около.
Это соседи, отъезд своей дочери празднуя,
Вышерли с площади куклу по кличке Чукоккала.
Имя собачье ее раздражало хозяина.
Ладно бы Катенька, Машенька, Лизонька, Наденька...
Нет ведь, Чукоккалой, словно какого татарина,
Дочка звала ее с самого детского садика.
Выросла дочка. У мужа теперь в Лианозове.
Взять позабыла подругу счастливого времени

В дом, где супруг её прежде играл паровозами
И представлялся вождём могижанского племени.
Голая кукла Чукоккала мёрзнет на лестнице.
Завтра исчезнет под влажной рукою уборщицы.
Если старуха с шестого – так та перекрестится.
А молодая с девятого – и не поморщится.

* * *

Взгляни на прекрасную особь
и, сквозь черепашие очки,
коричневых родинок россыпь,
как яблоки в школе сочти.
Зачем-то от древа Минпроса
ещё плодоносят дички
как шанс, как единственный способ
считать, не сбиваясь почти.

Число переходит в другое.
В зелёный – коричневый цвет.
И минус – надбровной дугою –
дурацкую разницу лет.
И плюс помышление благое,
что сравнивать сущее – грех.
Смотреть. И не трогать рукою
ни яблок, ни родинок тех.

* * *

Слушай же, я обещаю и впредь
петь твоё имя благое.
На ухо мне наступает медведь –
я подставляю другое.

Чу, колокольчик в ночи загремел
Кто гоношит по грязи там?
Тянет безропотный русский размер
бричку с худым реквизитом.

Певчее горло дерёт табачок.
В воздухе пахнет аптечкой.
Как увлечён суходрочкой сверчок
за крематорскою печкой!

А из трубы идилический дым
(прямо на детский нагрудник).
«Этак и вправду умрёшь молодым», –
вслух сокрушается путник.

Так себе песнь небольшим тиражом.
Жидкие аплодисменты.
Плеск подступающих к горлу с ножом
Яузы, Леты и Бренты.

Голос над степью, наплаканный всласть,
где они, пеший и конный?
Или выходит гримасами страсть
под баритон граммофонный?

* * *

В. Г.

Стучит мотылёк, стучит мотылёк
в ночное окно.
Я слушаю, на спину я перелёг.
И мне не темно.

Стучит мотылёк, стучит мотылёк
собой о стекло.
Я завтра уеду, и путь мой далёк.
Но мне не светло.

Подумаешь жизнь, подумаешь жизнь,
недолгий завод.
Дослушай томительный стук и ложись
опять на живот.

* * *

Это было только метро кольцо,
это «о» сквозное польстит кольцу,
это было близко твоё лицо
к моему в темноте лицу.

Это был какой-то неровный стык.
Это был какой-то дуги изгиб.
Свет погас в вагоне – и я постиг –
свет опять зажётся – что я погиб.

Я погибель в щеку поцеловал,
я хотел и в губы, но свет зажгли,
как пересчитали по головам
и одну пропащую не нашли.

И меня носило, что твой листок,
насыпало полные горсти лет,
я бросал картинно лета в поток,
как окурки фирменных сигарет.

Я не знал всей правды, сто тысяч правд
я слышал, но что им до правды всей...
И не видел Бога. Как космонавт.
Только говорил с Ним. Как Моисей.

Нет на белом свете букета роз
ничего прекрасней и нет пошлей.
По другим подсчётам – родных берёз
и сиротской влаги в глазах полей.

«Ты содержишь градус, но ты – духи» –
утирает Правда рабочий рот.
«Еслигодились твои стихи,
не жалеи, что как-то наоборот...»

* * *

Пойдём дорогою короткой,
я знаю тут короткий путь,
за хлебом, куревом, за водкой.
За киселём. За чем-нибудь.

Пойдём расскажем по дороге
друг другу жизнь свою: когда
о светлых ангелах подмоги,
а то – о демонах стыда.

На карнавале окарина
поёт и гибнет, ча-ча-ча,
не за понюшку кокаина
и не за чарку первача.

Поёт прикованная цепью
к легкозаносчивой мечте,
горит расширенную степью
в широкосуженном зрачке.

Пойдём, нас не было в природе.
Какой по счёту на дворе
больного Ленина Володи
сон в лабрадоровом ларе?

Темна во омуте водица,
на Красной площади стена –
земля, по логике сновидца,
и вся от времени темна.

Пойдём дорогою короткой
за угасающим лучом,
интеллигентскою походкой
матросов конных развлечём.

Степь

Открывались окошечки касс,
и вагонная лязгала цепь,
чёрный дизель, угрюмый Донбасс,
неужели донецкая степь?

С прибалтийским акцентом спою,
что туманы идут чередой,

как, судьбу проклиная свою,
через рощи литвин молодой.

Защищён зверобоем курган,
но не волк я по крови, а скиф,
и нехай меня бьёт по ногам,
а не в голову, как городских.

Под курганом, донецкая степь,
спит рабоче-крестьянская власть,
как и белогвардейская цепь.
И нехай они выспятся всласть.

Азиатское семя *дурман*
на степных огородах взошло,
встал, как вкопанный, чёрный туман,
а зелёный идёт хорошо.

«Ты давай на меня не фискаль, –
говорит безработная степь, –
отливающий пули москаль,
ты кончай вхолостую свистеть.

Ты бери мою лучшую дочь
и в приданое весь урожай
и на свадебном дизеле в ночь,
как хохол на тюках, уезжай».

Из Бодлера

Ну какая вам разница, как я живу?
Ну, допустим, я сплю,
а когда просыпаюсь, то сплю наяву
и курю коноплю.
Я из тайны растительной сонным шмелём
вдохновение сосу.
А ещё я в пчелу трудовую влюблён,
деловую осу.

* * *

Отяжелевшая к вечеру чашка –
сахар, заварка –
долго на стол опускается, тяжело,
шатко и валко.

По не совсем характерной детали
автопортрета
можно судить, как смертельно устали
руки поэта.

* * *

Дай поцелую, дай руки дотронусь
через века.
Невероятно важная подробность
твоя рука.

У выпускницы ямочки играют,
и желваки
по скулам, как лады, перебирают
выпускники.

Ты смелая была и не ломака.
Через века
мне ножницы, и камень, и бумага
твоя рука.

* * *

Возьми меня руками голыми,
ногами голыми обвей.
Я так измучился с глаголами
и речью правильной твоей.

Я так хочу забыть грамматику,
хочу с луной сравнить тебя.
Той, что даёт, любя, лунатику
и оборотню, не любя.

Эдем

Я не обижен не знаю как вы
я не обманут ничем
в первую очередь видом москвы
с ленинских гор на эдем
всё любовался бы с ленинских гор
всё бы прихлёбывал я
в знак уважения тёплый кагор
к церкви крестившей меня
слышу у павла звонят и петра
даже сквозь снобский прищур
вижу на тополь склонилась ветла
даже уже чересчур
здесь родилась моя мама затем
чтобы влюбиться в отца
чтобы нерусскому слову эдем
здесь обрусеть до конца
чтобы дитя их могло говорить
это дитя это я
чтобы москвы не могли покорить
чёрные наши друзья

Публикация: © 2016, Юлиана Новикова

Составитель: Феликс Чечик

Феликс Чечик

ПОЙДИ ПОПРОБУЙ ОБЪЯСНИ

* * *

А.Ф.

За то, что пил не только квас,
спровадили его,
как Лермонтова на Кавказ,
в бескрайнее ЗабВО.

Теперь, ты хоть залейся – пей
во сне и наяву:
вино тоски, абсент степей
и неба синеву.

* * *

А.Б. и А.С.

В Ярославле, в Казани,
под любимый мотив,
мне меня рассказали,
мне меня объяснив.

Об отце и о маме,
о любви, о стране,
но своими словами,
что молчали во мне.

* * *

есть в небрежности
рифм не всегда иногда
глубина и безбрежность
реки где вода

по весне в половодье
не знает границ
заполняя просодию
молчанием птиц

* * *

Пойди попробуй объясни:
и свет и рот забытый глиной,
где путь от счастья до блесны –
до бесконечности недлинный,

как загулявшего отчет
на утро старика старухе.
И забываешь про крючок
и рыбаку целуешь руки.

* * *

Сколько выпито – выпито сколько,
и посуды разбитой не счесть.
А душа, как надменная полька,
потерявшая гордость и честь.

Шутим дёшево, тухло и плоско,
крутим жизни немое кино,
иногда бормоча: – Jeszcze Polska
nie zginęła... Zginęła давно.

* * *

Живя в провинции, – о море
и не мечтаешь; «Уралмаш»
символизирует не горе,
а энтропии антураж
на фоне закопченной выси
в потустороннем декабре,
где и не думать о Денисе –
как будто думать о себе.

* * *

Представь, что это мы,
но тридцать лет тому
назад – среди зимы,
идушие сквозь тьму
любви, разлуки, лет,
и освещает путь
непрожитого свет,
который не вернуть.

* * *

Детский лепет, как если бы щебет
ежеутренних птиц,
за нос водит, горбатого лепит,
камуфлируя блиц.
Я не верю, конечно, и снова
покупаюсь, и вновь
я целую манок птицелова,
что поет про любовь.

* * *

Замысел? Промысел? Мне ли,
Боже, об этом судить...
Выросли и поумнели
и поубавили прыть.

Вымысел, глупость, оплошность,
сказка, фантазия, бред –
как декабристы на площадь
вышли... А площади нет.

Гали-Дана Зингер

ПЕСЕНКИ О ЛЮБВИ И СМЕРТИ

1.

Ой, ягненок в море,
Ой, луна за тучей,
Ой, слепые небо застят,
Горе, мальчик, горе!

Выйди, Рохеле-луна,
Что ты видишь из окна?
Ой, мой Янкеле-ягнёнок,
Много ль видно мне спросонок?

Ой, слепцы стучат клюками,
Звёзды колкие им вторят,
Манят злые сны руками,
Горе, мальчик, горе!

Злые сны на гнутых стульях
Машут тонкими ногами,
Мальчик с девочкой уснули,
Пляшут ноги сапогами.

Звёзды зонтики раскрыли,
Ой, слепцы раскрыли крылья,
Эти крылья – макинтоши.
Ой, всё плоше, Янкел, плоше!

Ой, ягненок в море,
Ой, луна за тучей,
Ой, слепые небо застят,
Горе, мальчик, горе!

2.

Ой, наш Гиршел – дурачок,
Без небес построил дом,

Прямо в сердце вбил крючок,
 Кошечка хозяйкой в нём.
 Ой, диредиридай!
 Кто наш Гиршел, угадай?!
 Ой, наш Гиршел – дурачок
 Без луны построил дом.
 Крючок в сердце и молчок,
 Сидит тихо под столом.
 Ой, диредиридай!
 Кто наш Гиршел, угадай?!
 Ой, наш Гиршел – дурачок,
 Ой, ему невесело.
 Поварешку на крючок
 Кошечка повесила.

3.

Козочка в лодке,
 Котёнок под грушей,
 У луны в серёдке
 Лопухами уши.

– Козочка, мир вам!
 – Котёнок, вам радость!
 – Не хотите погулять?
 – Ах, луна – преградой!

Что скажет соседка,
 Лопухами уши?
 Я гуляю редко.
 Посидим под грушей?

– Грушевая сладость
 Меня так и манит.
 – Ах, луна преградой,
 Вдруг да косо глянет.

– Козочка, мир вам!
 – Котёнок, вам радость!
 – Так хотелось встретиться!
 – Ах, луна – преградой!

4.

Голубые ослики в небе замирают,
Ой, горе мне, горе, осень наступила.
Знал ли я бедный, с летом играя,
Что моя скрипочка обо мне забыла.

Золотая, стройная, ой, что с нами станет?
В сердцевине яблока, в сердцевине лета
Ходики проснулись. Звоном сердце раня,
Ой, что теперь будет, дайте мне советы!

Голубые ослики в небесах повисли.
Дайте мне советы, я им не поверю.
Возьму их в руки, как жёлтые листья.
Где моя скрипочка, где моя потеря?

5.

Киселе, кошечка моя, замуж выходит
За старика,
За крынку молока,
За чёрта, вроде.

Киселе, кошечка моя, замуж выходит,
Над стариком,
Над дураком
Поверховодит.

Киселе, кошечка моя, меня оставляет
Для старика,
Для дурака,
Для сундука,
Да для крынки молока,
Киселе, злая.

6.

Кто на курице женился,
Тот не будет петухом,
Кто на праздники постился,
На ведре летит верхом,
Кто увидел в небе пряник,
Ходит тот без головы,

У кого осёл племянник,
Тот кричит: «Увы! Увы!»

7.

– Береле, надень калоши,
Посади в котомку кошек,
И в карманы – квочку с уткой,
И в петлицу – незабудку,
В сердце – рыбку серебра...
– Ента-Рейзл, как ты добра!

– Горло шарфом мы укроем,
Ты и я – всего нас трое,
Долгий путь глядится в лужи,
Вот горбушка нам на ужин,
В сердце – рыбка серебра...
– Ента-Рейзл, ты так добра!

– Поплывём с тобой в калошах,
Бросим в небо хлебных крошек,
Пусть летает крошек стая,
Звёзды в тихом небе тают,
В сердце – рыбка серебра...
– Ента-Рейзл, как ты добра!
Золотая рыбка из чистого серебра!

8.

– Я, козлёнок, выйду за тебя,
Ты достань мне мёда без звезды.
– Я достану мёда без звезды,
Только сердце рань мне, не любя.
– Как мне ранить сердце, не любя?
– Как мне без звезды добиться толка?
– Я, козлёнок, выйду за тебя,
– Только сшей мне сумерки без шёлка.

9.

Имбирь и корица
за грошик,
изюм и миндаль
за пятак,

а длинное семечко груши
и черное семечко яблока
за так.

За грошик
вода и облако,
плоток и гроза
за пятак,
а чёрное семечко глаза
и длинное семечко слёз
за так.

10.

Пожалейте бедного слепого,
потерял он улицу с коровой,
потерял он голову в картузе,
потерял урядника при пузе,
потерял клопа в бутылке с керосином
и худое дерево осину,
потерял он дождь из рыбьей кости
и возможность напроситься в гости.
Пожалейте бедного слепого,
потерял он час и полвторого,
потерял вареники с лабазом
и прозрел вчера на оба глаза.

11.

Время похоже на ребе.
Ребе похож на время,
время часов песочных,
путает тохэс и темя.

Ребе сидит на хлебе.
Время сидит на небе.

Чтобы понять время,
нужно пойти в школу.
Ребе песком присыпет правильные глаголы,
гири часов подтянет и поскребёт темя.

Бремя похоже на ребе.
Ребе похож на глаголы.
Ребе сидит на небе,
я не хожу в школу.

Чтобы понять время,
нужно сидеть на небе,
там, где сидит ребе,
и почесывать темя.

Маятник стоит.
Хлеб лежит.
Ребе сидит.
А время бежит.

12.

Прабабушка Ципе
на дагерротипе
с прадедушкой Мулей
на венском стуле
направились к липе, немного ссутулясь,

головами качая,
за ясной дорогой,
за липовым чаем,
за всем понемногу.

Головами качали
и в начале дороги
самовар повстречали,
еле двигавший ноги,
и немного ссутулясь,
направились к липе
прадедушка Муля
(в кармане дуля)
и прабабушка Ципе
на дагерротипе.

13.

Буквы дремлют между точек,
спит пергамент между строчек,
мудрецы спят в переплёте,
муха спит в полете.

Кто стучит так поздно ночью?
Это падают мёртвые мухи.

Паутина спит в углу,
веник дремлет на полу,
шелест дремлет меж страниц,
зренье дремлет меж ресниц.

Кто стучит так поздно ночью?

Это падают мёртвые мухи.

Только сторожу не спится,
колотушке снится кашель,
шевелит губой корова
и не спит на камне слово.

Кто стучит так поздно ночью?

Это падают мёртвые мухи.

14.

Трудно без варенья жить,
но можно, к сожаленью,
можно жить, но трудно, без труда.
А попробуй, потеряй терпенье –
и что тогда?

15.

Перлы живые, мертвые рыбки,
Зябкие опоры, перловые улыбки.
Жареные рыбки, ни мертвы, ни живы,
лестницу ладят для нетерпеливых,
лестницу ладят
без перекладин,
кто по ней поднимется, под ноги не глядя?
Жареное золото, живое серебро,
Кому тогда останется всё моё добро?

16.

Лодка пустая и полная
среди корней.
Голые черви как волны
идут за ней.
Волна окликает волну:
корень, червь.
Лодка ищет луну.
Там верфь.

Пустая и полная лодка
 среди корней.
Вёсла – товарищ ходкий,
 поверьте мне.

1985-5-25.11.1987

Марк Зильберштейн

НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ С ПУТНИКОМ

* * *

Александр Карабчиевскому

Есть память о несбывшемся – она
неотделима от пережитого
и в наизидание сохранена.
В ней, как в смоле застывшей, – имена
и образы, один нежней другого.

Ты нынче вспомнишь всех наперечет –
и словно целое двадцатилетье
в воронку временную утечет:
река... и снег... и явственно влечет
к той девушке, которой нет на свете.

Мы расселились в странных городах:
они подобны прежним только небом –
и, в собственных запутавшихся годах
(о, да продлятся наши дни в трудах!),
грустить ли нам о том житье нелепом?

И если вдруг знакомая черта
проглянет в людях, что повсюду схожи,
очередную ложку мимо рта
достойно нужно пронести, без дрожи.
Ведь эта дверь надежно заперта,
и в наше прошлое они не вхожи.

Январь 2009

На смерть С. Герзона

И дни прибавились, и годы приросли:
прошел, как облако, апрель медоточивый.

Мы в одиночестве, мы – на краю земли.
И сражены внезапной перспективой.

Мы миг состарились – лишь начинали жить;
и время, и страна – все вдруг переменялось,
а то, чем искренне хотели дорожить, –
химера иль утраченная милость.

За сочетанием знакомым: «прошлый век»
стоит наш собственный, регалий не имея...
Казенный плакальщик, наемный человек,
просил за нас прощенья у Сергея.

Он мудр по должности и скажет обо всем.
А мы беспомощны: как осознать такое!
Кто мы? Откуда мы? И что в себе несем?..
Не будет нам ни мира, ни покоя.

Ушедшие от нас прекрасны навсегда.
Как в мифах греческих, их молодость продлится.
Но дней растянутых глухая череда
черты стирает, сглаживая лица.

Из века прошлого разбитый тарантас,
идем в небытие, обрюзглы и сутулы.
Ушедшие от нас опередили нас.
Их лбы чисты и безупречны скулы.

Июнь 2009

Зрительные образы

Чужая жизнь дразнила и влекла,
и, на себя их внешность примеряя,
я в них гляделся, словно в зеркала,
ничем себя от них не отделяя.

Высматривая стройных, молодых,
касясь их своим несатытым взглядом,
я был не с ними, а – одним из них,
и числился по спискам где-то рядом.

Как долго это длилось? Был ли срок
отпущен мне на праздные слиянья?
О неизжитый юности порок:
я времени не чувствовал дыханья!

Ведь никого Всевышний не отверг.
Что – судьбы мира, корчи государства?
Я знал во вторник, что грядет четверг,
а в пятницу окончатся мытарства.

Так было... Но потом возник провал:
я вдруг утратил навыков начатки
и больше их уже не узнавал –
вчерашних раздражителей сетчатки.

Их контуры размыты с неких пор:
разрушился состав старинных масел,
и встроенный оптический прибор
пропорции их лиц обезобразил.

Декабрь 2009

Ночной пейзаж с путником

Человек исчез – как не бывало:
он спешил к невидимой черте,
и молитвенное покрывало
белое мелькало в темноте.

Мягкие на ощупь тамариски
закрепляли спящие пески.
Редких звезд серебряные брызги
помечали купола куски.

Небо чуть светилося, колыхалось
над неровной кромкою холмов:
за грядую шевелился хаос –
первобытный, из других миров.

Мой собрат пошел общаться с Богом.
Деревца оставив на ветру,
он бредет сейчас зеленым логом...
Что предстанет таковым к утру.

Январь 2010

**Юбилейные строфы
(как этот день)**

Е. В. Бялик

Пылал – и становился пеплом;
истлев, пропал за горизонтом.
Спешил он вслед собратьям беглым,
сгоревшим так же нерезонно.
И вот: на темном небосводе
мерцают хрупкие частицы,
и роль исчезнувших в природе –
присутствуя не возвратиться.

Великая библиотека!
Соблазн для нашей мысли тленной! –
вдруг разменявшие полвека
мы смотрим в прошлое вселенной...

Следя за точкой сигареты,
за облачком, за струйкой дыма,
ты не услышишь стук кареты:
грань времени непроходима.

И так растительно-бездумно,
из неизвестного предела,
под покровительством Вертумна
течет изменчивое тело.

Оно проходит сквозь пороги,
невластное в своем теченье,
но в срок, как римские дороги,
свое исполнит назначенье.

С неумолимостью закона
его уносит в бессловесность.
Сейчас. Как и во время оно.
Из невесомости – в безвестность.

Из праха – снова в бестелесность.
Из сада – в голую безлесность.
И от бесславья – в бессловесность,
и от беспамятства – в безвестность.

Вот так, растительно-бездумно,
течем и пропадаем в устье,
под покровительством Вертумна
живя и старясь в захолустье.

Май 2008

* * *

*Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе.
Б. Пастернак*

Как столешница – в бледных разводах –
ненавязчивый мрамор небес.
Утомившись в «дневных» переходах,
ты вступаешь в реликтовый лес.

Низкорослый, испачканный сажей,
погорелец, калека навек!
Это, мастер весенних пейзажей,
изувечил его человек.

Отступая под натиском свалок,
как под натиском варварских орд,
полуголый ландшафт полужалок,
обречен, но еще полугорд.

Красновато-свекольные травы –
как подтеки по скатам холмов;
станут бурыми, нынче кровавы,
затопили его до краев.

Раздавив муравья ненароком,
ты участвуешь в похоронах...
Через балку, заросшую дроком,
поднимись, как буддийский монах,

на вершину и, глядя оттуда,
в стороне от гудящих шоссе,
тамарисков зеленое чудо
ты увидишь в неброской красе.

И тогда, принимая как данность
этот день и песчаный увал,
ты прошепчешь тому благодарность,
кто шишигу шишигой назвал.

За нешуточность слова, за штучность,
за добытую из пустоты
пресловутую единосущность
с тварным миром, что смертен, как ты.

17 Мая 2009, Холон

Одна песенка, одна книга

*И.А. Ниновой*¹

Удобно ли тебе в твоих сабо –
качаться в них, выстукивать шаги
по улицам – и быть самой собой?
А я хотел бы для твоей ноги
стать башмачком, как в песенке одной.

Пойми: ты мною вымечтана, твой
прекрасный образ, – так он и возник,
загадочный, изменчивый, живой, –
я ничего не вычитал из книг...
Ну разве, может, только из одной:

¹ См. материалы памяти И. Ниновой в разделе «Портреты».

ведь ты меня ласкаешь, о сестра,
невеста, сколь любезна мне твоя
скупая ласка! Как же ты добра!
Я твоего сладчайшего питья
не стою. Как Мухаммеда – гора.

Во время наших неурочных встреч,
когда я на тебя не наляжусь,
я слышу голос, вслушиваюсь в речь –
и, господи, ведь я тобой горжусь!
И это все мне суждено сберечь

в долинах памяти, в ее садах,
где ты идешь и легкою стопой,
едва касаясь, попираешь прах
прошедшего и шелестишь листвою...
в долинах памяти, в ее садах.

1984, Санкт-Петербург

От первого лица

В последний раз от первого лица
я говорил тому лет двадцать пять,
да и тогда, наверное, смущался.
Сегодня же, в предчувствии конца,
пускай нескорого, хочу сказать:
я рад, во-первых, что перемещался

не по одной лишь – временной – оси,
что дочь моя имеет в жизни цель
и ладит с обстоятельствами места:
она, представьте, дело на мази, –
без трех минут армейский офицер!
И сам я, как-никак, – отец семейства...

В вечерних новостях – сплошной комплот:
угрозы, козни мировых держав,
что продают единовверных братьев,
у берегов страны – турецкий флот!

И худшего (как будто) избежав,
мы уступаем... честь свою утратив.

Почти лишенная ручьев и рек
полоска суши лепится с трудом
на карте мира где-нибудь на врезке.
Едва пустивший корни имярек
здесь узнает, что стал для всех врагом, –
он самоощущает по-еврейски.

Весь край перевоеван от и до,
о чем и камни рассказать могли б
в сухих садах с добавкой олеандров:
великий фараон у Мегиддо,
у стен столицы сам Синаххериб,
а позже – Кир и пара Александров.

Последний был из наших: иудей.
Фамилия его была Яннай.
Народ его не полюбил – за вредность.
Он перерезал множество людей
(из тех, кому он не сказал: «Канай
отсюда на хрен»). Такова конкретность

творящихся – или творимых – дел...
Смотрю навстречу завтрашнему дню,
слегка оскалив сточенные зубы.
Я в настоящем что-то проглядел.
А этот... заберет мою родню,
и все его поползновенья грубы.

Тель-Авивский полдень
(Улица Игаля Алона)

Дома циклопической кладки.
Деревья тропической складки –
просторные, как веранды,
узорные жакаранды.

И полдень июля, похожий
на прочие, выбелит плиты;
смягчен левантийскою ленью,
замедлит каленые стрелы.
Обтянуты смуглою кожей
конечности, полуприкрыты;
готовые к совокупленью,
все особи половозрелы.

И в полдень, под купами сада,
где ящериц брачные игры
и так ветерок обдувает
под сенью широкой оливы,
пластами слежалась прохлада,
все беды – бумажные тигры,
и лучше едва ли бывает...
Запомнится день как счастливый.

Июль 2010 , Тель-Авив

Катя Капович**ЧЕРНОСТОП**

* * *

Вы думаете об отчизне,
вас с этим поздравляю я,
а у меня чудные мысли
и даже им я не верна.
И каждый раз я изменяю
то этой мысли, то другой,
как будто варежки теряю
в снегу бесчисленной зимой.
Как будто сею из карманов
рукою холодной серебро,
дыша туманом и обманом,
и нет отчизны. Ничего.

* * *

Бог пуританский ироничен к метрике,
подумаешь, застыв с утра в воротах,
что мы – викторианские помещики,
переселенцы на больших болотах.

По черноstopу ходят псы охотничьи,
пугая стаи чуть охрипших галок,
и на ветру усадьбы как с иголки
с огромным серым дымом на порталах.

Здесь по-простому чествуются праздники,
здесь и не празднуют, похоже,
у дней простые стоптанные задники,
с резиной эдисоновой подошвы.

А ты сверли мерцанье однозвёздное,
точи огонь и возводи стропила,
и тайну навсегда храни морозную
для жизни строгой, строгой и унылой.

Голубоглазо стеклышко бессмертия,
шуршат часы с докучным опозданием...
Пойдем, викторианское наследие,
ирония моя, потараканим.

* * *

Младой любовник, не к тебе
так нынче ластится Лаиса,
ногами, выбритыми чисто,
ласкает ноги в простыне.
Окурок красный притушив,
ласкается к тому, кто прежде
любил ее, пока был жив,
такой слепой любовью нежной.
Послушай звон этих пружин.

* * *

Человек погибает от пустяка,
как от куклы отламывается рука,
и об этом Толстой с убедительной силой
рассказал, написавши Иван Ильича.
Там столы и комоды стоят вокруг могилы,
сослуживцы не видят, как слезы текут,
и напрасно на цыпочках ходит верзила,
заложивши за пояс взъерошенный кнут.
Так откуда тогда этот свет на прощанье?
Что изменит он в мире, где ужас и холод,
где жена уже смотрит пустыми глазами,
просит морфий испить? Если этим назад
пустяком бесполезным, бей, боль, ниоткуда,
говори абсолютную правду в глаза,
или веру верни в абсолютное чудо...
А вот это вот – боль отвечает – нельзя.

* * *

Мне нравится тусклая звездочка,
мне нравится ветер сырой,
мне нравится белая лодочка
над синей, прилежной рекой.

Мне нравится легкое, быстрое
течение холодной воды –
всё то, что подальше от истины
и ближе к бессмысленности.

И что мне особенно нравится,
с уходом к другим берегам,
все точно таким же останется,
та можешь проверить и сам.

* * *

Дай синих сосен вековые космы
на дни пустые после снегопада,
когда они белы, немые, морозны,
живая корабельная ограда.

Дай белое от снега расстояние,
огромное одно, без перебоя,
чтоб к небу семимильными шагами
дорогою идти навек пустою.

Меж нами с миром лишь молчанья пропасть
на долгий отзвук мостовой бульжной,
лишь солнца покотившегося обруч,
который я в другом краю увижу.

И вспомню, как во дни паденья ртути
торжественно вдали синеют горы,
такие равнодушные до грусти
к открывшемуся на краю простору.

Евгений Морозов

ПОГАДАЙ ПО ПАЧКЕ СИГАРЕТНОЙ

* * *

Ночью, посещая холодильник,
если сном разжиться не дано,
тихо, как крадущийся насильник,
помолись о чём-нибудь в окно,

но не так, чтоб крепко об пол биться,
будучи виною прокажён,
а с колбасным тубусом в деснице
и лохматой шуйцею с ножом.

Будешь ты прощён за всё бывшее,
если и не богом, то собой
без куренья свеч у аналая
прямо в кухне тесно-голубой,

ибо самой чёрной полосой
прогулялась мысль твоя, когда
колбасой с солёною слезою
подавился тихо от стыда.

Совесь, сотрапезник ненасытный,
крест тебе на шею, в руки – флаг:
даже за рутинною молитвой
и едой священной что ж ты так?

* * *

Кристалльная, горная, верная речь,
как вкрадчивы ритмы твои,
когда начинаешь трагически течь
из гулкой чугунной змеи

систем утопления в глубинах времён,
о камень на сердце дробясь

на тысячу смыслов, частей и сторон
и мудрую ржавую грязь.

В минуту, когда поезда на мосту
взрывают последним «прости»,
ты учишь ручного моллюска во рту
скользить по ночному пути

скалистых зубов и сырой полутьмы
и бездны, где смерть сожжена
звездой, в которой рождаемся мы
из хаоса, как из зерна.

* * *

У прожжённых героев в конце ЖэЗэЭла
много яркой алхимии для
выделения духа из плотного тела –
эшафот, богадельня, петля.

На глазах у читателя звонкая сила
разобьётся о высшее зло:
ибо сколько же можно, чтоб вечно катило,
поддувало и в гору везло.

Как на птицу летящую смотрит с ехидцей
полу-отпрыск ужа и ежа,
территорию личной своей психбольницы
за колючею правдой держа,

так порой очень странно, что с юности ранней
все геройские подвиги те
почивают средь залежей трубных изданий
о дерзании и борзоте.

И кому было дело, что жизнью простою
жил герой и спускался в подвал,
где от сложенных крыльев страдал ломотою
под лопаткой и нимб пропивал.

* * *

Погадай по пачке сигаретной,
отчего запнёшься и умрёшь,
человек, проживший много лет, но
мало в чём раскаявшийся всё ж.

Зачерпни рекламного парада,
помечтай, что купишь, а чего
за многообразием не надо,
человек, хотящий одного.

Заклучи по лицам-монолитам,
от кого в какую кутерьму
понесёшь любовь и будешь битым,
человек, поверивший всему.

Человек земной, прямоходящий,
лгущий, жгущий прущею толпой,
человек, живущий к пользе вящей,
человек смотрящий и слепой.

Я тебя люблю, когда из мая
в колыбель сорвёшься как звезда
и пищишь ещё не понимая,
кто ты и откуда и куда.

Антон Нечаев**Я – ВНЕ**

* * *

Заходя в комнату, выключаешь свет.
Никого нет. Значит, и меня нет.
Свет – это топот, тепло, жилье,
свет – это все отобранное мое
прошлое...

* * *

Земля с похмелья
встала на дыбы
и не пустила
самосвал на стройку.
Дом обветшал,
хотя его и крышей не покрыли.
Остатки племени
связали из травы
веревку
и, обернувшись ею,
сели на житье.
Лес горевал, что он не сад.
А яблоня
теленка родила.

* * *

Из кресла
ты выходишь на бульвар
и до утра листаешь
камни и скамейки
и памятником бронзовым идешь
с сороками бичующими вровень.
А кресло едет
с криком за тобой.

* * *

Вся уходящие души –
я с вами.
Пронесите меня,
как пленного неприятеля,
над сброшенной шкурой рек,
над глотками спящих звезд,
над музыкой баров и академий
прочь, прочь, навсегда отсюда,
здесь больше нет ничего,
здесь больше нет никого,
лишь свечка жгучая черных воспоминаний.

* * *

Я – вне.
Вне страны,
вне народа.
Слово отправляю по почте,
мне возвращается «оловс».
И где тот лес,
где бы жить я смог?
И где те птицы,
которые б мне подпевали?

* * *

Птица топчет небо,
встряхивает рассвет...
Если бы ее не было,
было бы небо?
Было бы небо?

Только и птицы нет.

Трагедия

Он родом из татарского села,
но армия в тиски его взяла.

И он шагает с другом-автоматом
и пулею здоровается с братом –

чеченцем. Но в один и тот же час
Аллаху обращают свой намаз.

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

США, Израиль, Россия, Сербия

ГОМЕР в переводах Григория Стариковского

ГОМЕР, «ОДИССЕЯ» 12.39-110

Цирцея – Одиссею

«Сперва подплывешь к сиренам (они прельщают мореходов, которые подплывают близко). Кто приблизится по неведению и услышит голос сирен, домой не вернется, не выйдут жена и малые дети – встретить с дороги. Сирены прельщают слух пронзительной песней, на луговине сидят, а вокруг изгнивают людские кости, покрытые сгнившей кожей. Проплывай на судне, замазав уши команде размягченным воском, чтобы не слышали. Если же сам пожелаешь выслушать пение, пусть тебя по рукам и ногам обвяжут возле мачты, и закрепят концы каната, тогда насладишься, слушая двоящий голос. Если же взмолишься, прикажешь распутать, пусть ещё крепче сдавят тебя канатами. Когда они отведут корабль от острова... не доскажу тебе, из двух направлений которое выберешь в дальнейшем плаванье, сердцем надумаешь. Открою два направления. Нависшие скалы с одной стороны, а напротив ревет крутая волна темноглазой Амфитриты. Блаженные боги назвали скалы Планктами. Птица не пролетит, даже робкие голуби, которые носят амброзию Зевсу-родителю; всегда одного похищают гладкие скалы. Родитель шлет другую птицу на замену. Корабль, подплыв, не вырвется невредимым, морские волны, порывы смертельного пламени уносят людские тела, обломки крушений. Один корабль проскользнул, плывя от Аэта, мореходный Арго, известный повсюду.

Даже *тогда* отбросило бы на скалы,
но Гера провела корабль ради Ясона.
Есть ещё скалы: одна в широкое небо
забирается острой вершиной, обьятая
темною тучей, неподвижной. Небо
вечно застлано, летом и ранней осенью.
Смертный навверх не поднимется, не одолеет,
будь он двадцатируким, двадцатиногим:
гладкие камни, будто бы отполированы;
посередине – пещера во мгле, обращенная
в сторону ночи, к Эребу. Полный корабль
направишь мимо скалы, Одиссей бесподобный.
Даже мощный лучник не добьёт до пещеры
стрелюю, пущенной с пустотелого судна.
Там обитает Сцилла, несносно скулящая,
повизгивает, как щенок, рожденный недавно,
чудовище, которому каждый ужаснется,
будь он даже богом, если встретит Сциллу.
Двенадцатиногая (ноги – слабые, жидкие),
шесть удлинений шейных, сверху насажены
ужасные головы, зубы тремя рядами
теснятся в пасть, полные черной смерти.
Нижняя половина спрятана в пещере,
Сцилла выносит головы из жуткой впадины,
оглядывает море, отлавливает дельфинов,
тюленей, охотится на огромных рыб, и
которых питает бурлящая Амфитрита.
Никогда моряки не похвалятся, что проплыли
невредимые, но каждая пасть хватает
человека, и уносит с черноносого судна.
Вторая скала, Одиссей, поменьше, неподалеку
от первой, на расстоянии выстрела из лука.
На скале – высокая густолистная смоковница,
внизу глотает черную воду Харибда,
бессмертная. Трижды в день глотает, трижды
извергает, ужасная. Не подплывай, когда глотает –
Сотрясатель земли, даже он не спасет от смерти.
Корабль направь к скале, где обитает Сцилла,
проскальзывай мимо – лучше недосчитаться
шестерых, чем оплакивать всю команду».

ТРИ ИЗРАИЛЬСКИХ ПОЭТА в переводах с иврита Гали-Даны Зингер

Меир Визельтир

ОТКРЫТКИ ИЗ ПЕЙЗАЖЕЙ ДЕТСТВА

1. Новосибирск

Слоны и медведи из льда
по утрам встречали меня
чистой стужей,
неслышным ворчаньем.
Пели, скрипели сани.
Через стылую в инее площадь
молодая женщина тянула ребёнка
на короткой тонкой верёвке.
Пели, скрипели сани.
Искрились чудесные льдины.
Люди продвигались,
укутавшись, пар выпускали дыханий.

Головы слонов и медведей
я лучше всего запомнил,
мерцающие в сером пространстве,
что живую плоть рассекают.
И под вечер ещё возникали
их слегка размытые лица,
словно посторонились и отплыли,
смежили пустые глазницы.
Тяжёлый снег по планете
бьёт, будто молоты гномов,
кующие новое упование
каждую ночь неустанно,
как скрытым жителям подобает,
занятым важным тайным
и секретным деяньем.

2. Эйн-А-Тхелет

Были прораставшие пейзажи, что прорастили
в спалённых песках белые кубики. Отблеск
неведомый нашим отцам. Разве что
воображаемым праотцам из потрёпанных книг.
Бдящие наши глаза видят: ровный ряд
против ровного ряда дворов,
размеченных колышками и бечёвкой,
крыши с увесистой черепицей, краснеющей еле-еле.
Песку, что в серёдке – называться дорогой,
skonфуженному кусту – называться древом,
презренному праху – называться Адамом,
и только небо – небо для Господа,
небесная твердь во всём полноценная.
Лазурь лиловеющая, раскалённая,
и обманный порывистый ветер с моря,
собирающий в горсть обрывки благоуханий
апельсиновых рощ, пустырей и течи суглинка.
При крушении дня на померкшие дюны
вспыхивают нагие огни. Да только свет,
он и есть свет, он озаряет во тьме: песню протеста
лисиц и шакалов округи, летучей мыши полёт.

Рони Сомек

рай для риса

Моя бабка запрещала оставлять рис на тарелке.
Вместо историй о голоде в Индии и о детях
с раздутыми животами –
уж они-то разинули бы рты ради рисового зёрнышка –
она со скрежетом вилки сгребала остатки
на середину тарелки и, рассказывала,
чуть не плача, как несъеденный рис восстанет
и станет жалиться Богу.
А теперь она умерла, и я представляю себе радость встречи
между её вставной челюстью
и стражами с пламенными обращающимися мечами
у врат Рисового райского сада.

Они расстелят перед ней ковёр красного риса.
Солнце жёлтого риса стегнёт по белизне
райских гурий.
Бабушка умастит их елеем, и одна за другой они скользнут
в космические котлы Божьей кухни.
– Бабушка, – мне хочется сказать,
– рисинка – это сжавшаяся ракушка,
и ты точно так же ускользнула
из моря моей жизни.

первый закон джунглей. пропавшее без вести стихотворение

Первый закон джунглей заключается том, что нет законов,
и в слоновьей долине смерти штопор ветра
царапает твоё тело, стиснутое консервной банкой.
Мы не были знакомы, но первые слова,
которые папа принес с урока иврита
были: «место захоронения неизвестно»,
и он рассыпал их, как беглый огонь
на протяжении твоей и своей жизни.
Кто-то рассказал, что тебя видели, но смутно,
на метеостанции в Бейт-Дагане,
а ночью вернулся с твоим именем,
будто с мешком картошки.
Нож, который должен был срезать кожуру тоски
и сожалений,
лежал в ящике,
отточенный фантазиями,
в которых я спасал тебя от двух львов.
Мне было четыре года, и даже у языков пламени в керосинке
была драконья пасть.

любовная песня с подвесным вентилятором

Мы – стальные лопасти старого вентилятора.
Шуруп, подвесивший нас к потолку, помнит
язычок отвёртки, закрутившей его головку,
и стон бетона в момент проникновения.

В углу комнаты включено радио,
и по нотным станам лезут вверх
слова, как строительные рабочие
с напряженными мышцами.
Кто-то поёт: «Если любить тебя – ошибка,
я не хочу быть прав».

работа

Это не всегда чернота под ногтями,
синий воротничок,
отвёртка,
шуруп.
О, голые девочки,
которых можно повесить на облупившуюся штукатурку,
и пальцы хозяйки буфета, привыкшей размешивать
«две ложки сахара и каплю молока».
Нет, романтики нет ни в платёжной ведомости,
ни в инфляционной надбавке,
ни в бутылке коньяка к празднику.
Только зубчатые колеса станков, рычащих, как львица,
когда джунгли давным-давно отплясали на её свадьбе.

вечерний зной

Вечерний зной – это честное слово улицы.
Та красота лета, что не приносит трофеев,
красота, по сравненью с которой даже ответ бога Иову
был только ветром, дувшим в загривок зверю.
Что будет с тем, кто сидит в кафе,
как на пограничной заставе,
с сердцами девочек, которые не могут
выбрать страну, город, ночь,
и с тем, кто перелистывает сердца,
будто забытую коллекцию рисованных открыток.

Белые овцы по дороге в Арад,
как молочные зубы пустыни.
Война продолжается,
а волк, что возляжет с ними, ещё не родился.

Тот, кто вешает револьвер в первом акте,
выстрелит из него в третьем.
Из дула вырвутся пряжки куртки, стальная цепочка
и ножи шагов той, под которой расколется
асфальт улицы Йегуды А-Леви.
А пока что, она подкрашивает красным
 пряди волос на затылке,
как бедуин, метящий овцу.
Кто знает, может быть, пастушья свирель – конец её сна.

Вот Россия раздвигает ноги циркулем прима-балерины,
расстёгивает пуговицу на солдатской шинели
 неподалеку от железнодорожной станции
и разливается, как суп в алюминиевую миску, в столовой,
где Раскольников спутал скорбный хлебушек
с утробой девушек.
Ночь, и в гостинице «Урал» на переезде в Сибирь
я вешаю лицо своей любимой на портрет Ленина на стене.
Её губы подкрашены помадой революции
и ездовой пёс прорезает в снегу её тела
тысячи километров санного пути, отделяющих её
от той руки, что пишет эти строчки
чернилами водки.

Чтобы было что выпить в память о листе бумаги,
который завёл он себе
в четырнадцать лет, с именами девчонок,
начавших носить лифчик.

Я был единственным, кто знал об этом.
Теперь я единственный, кто может об этом вспомнить.

Жасмин

Стихотворение на наждачной бумаге

Файруз протягивает губы к небу,
чтоб пролилось жасминовым дождём
на тех, кто встретились однажды,
не ведая, что влюблены.
Я слушаю её в «фиате» Мухаммада
в полдень улицы Ибн-Габироль.
Ливанская певица поёт в итальянской машине
арабского поэта из Бакья Аль-Гарбийя
на улице еврейского поэта, жившего в Испании.
А жасмин?
Если падет он с небес конца света,
на минутку
зажётся зелёный
на следующем перекрёстке.

Аги Мишоль

Стихотворение нецельному человеку

Ущербный как он есть, любимый и прощённый,
как он есть,
такой, как есть, сердитый и половинчатый,
голодный, жаждущий, недовольный, кружащий
над пропастью,
стихотворение человеку, ускользнувшему необласканным
из ночных сновидений в дневные,
протирающему горло, отхаркивающемуся,
нащупывающему ботинки,
какому есть, с урчащими кишками,
проталкивающими нечто, что уже скоро
испражнится, и размышляющему о любовном голоде:
долг, долг голод любви,

многий кофий не сможет погасить его.

Это стихотворение
ослабевающему потоку его мыслей,
такому, какой есть, неопределенному, недоуменному,
заострённому кверху, человеку,
тоскующему и чего-то ждущему,
стихотворение его некровотокающей ране,
клубню его молчаливой обиды, сигарете,
на которую он опирается сейчас,
пока усаживается за стол, как тот,
кто напоследок достиг хоть какой-то тишины.
Это стихотворение его чистым страницам, поцелуй
его глазам, обретающим покой в пухе облаков –

Я не смогу уточнить

Я не смогу уточнить, что скрывалось
в каждой слезе часа в три-четыре
утра, когда раздался свисток
из гнutoго носика чайника, а
может, из пасти шакала, когда у меня иссякли
все фильтры мировой скорби, но
если ангел осведомится, расскажу ему
о тех, у кого водрузили плахи на сердце и с тех пор
они не перестают стирать всё, что написали,
хотя я и не смогу уточнить, кому смерть от воды,
кому – от огня², кому – от электричества,
возникающего между словами,
только поместить
пёрышко под ноздрю и проверить,
дышу ли я сейчас,
когда все рыхлые женщины переворачиваются
на другой бок.

² Аллюзия на молитву Рош А-Шана.

Цапля

Проснулась я цаплей.
Не знала, ни кто я, ни что я
ем,
ни кого мне остерегаться, ни где
я живу.

Небо выглядит знакомым,
прыг-скок
и я там –

**Ури Цви Гринберг
(1896 – 1981)
в переводах с иврита Евгения Дубнова**

НА КРАЮ НЕБЕС

1. Как Авраам и Сара

Как Авраам и Сара в Элоней-Мамре
Перед благой вестью,
И как Давид и Батшева в царском дворце
В нежности первой ночи,
Поднимаются мои святые замученные отец и мать
Над морем на западе,
И на них – все лучистые короны Бога;
Под тяжестью своей красоты они погружаются,
Не торопясь...
Над их головами могучее море течет,
Под ним – их глубокий дом...

У этого дома нет стен ни с одной стороны,
Вода в воде он построен.
Утопленники Израиля
Прибывают вплавь со всех концов моря
Со звездой во рту.
О чем они речь там ведут – стих не ведает сей,
Это знают лишь те, кто в море...
Как лира, чья лучистая мелодия остановлена,
Так и я, их хороший сын,
На морском берегу возвышающийся вместе со Временем.

И порой вечер входит в мое сердце вместе с морем,
И я к морю иду –
Как будто я вызван на край небес для того, чтоб узреть:
По обе стороны опускающегося солнечного шара
Видны
Мой отец справа и моя мать слева,
А под ступнями их босых ног
Несет свои воды
Горящее море.

Йован Зивляк в переводах с сербского Лилии Белинской

Стояну Вуйичичу

это не город в котором ты будешь искать птиц
или собирать травы в конверты гербария
на лугу следить за кротом
смотреть как за берегом исчезают пряди
облаков. с севера приходит зима и порхают стаи
воробьёв в воздухе подобно мёртвым письмам
а дурашливая клио стоит в дверях музея и улыбаясь
прислушивается к звону монет. с вышек льётся вода
запах ромашки
розмарина. за окном некое лицо
промелькнёт как отблеск
кувшин который никто больше не клеит. о уста что вы
замерли над книгами в которых бормотание слепого
опустошённость что исчезаешь под руками
всё то что тебя бросало в сутолоку имён
пусть теперь с призраками запляшет на шумной улице.

Дубровник

темно тёмное море. в глубинах
еще темнее. как раствор лакмуса
в лакмусе в чьих соединениях
трепещет ангел. с берега приносит
песок. издалека доносятся голоса. и всё
опускается на каменный мол
где в полёте кувыркаются ласточки. язык которым
когда-то призывали и что строил
корабли сейчас летает подобно пуху
под стенами крепости. а множество прибывает и
прибывает и сама вода прогибается под
ступнями. рай босоногого детства потерял
былые идеалы увы не вернуть. но никто
не видит облако которое стремительно опускается
чтобы стереть эти письма замыкая снова

уста тем что будут вскоре сумрачно
шелестеть
вблизи стен
слушая как в мелкой посуде
горит мясо.

Взлетает летучая мышь

кто поддерживает жизнь
комочек воздуха. дыхание
рождающее звуки. язык что ломается
на острых гранях. кто поддерживает
руку что исследует старинные
наречья и проносится сквозь разрушенные
члены заброшенных городов.
взлетает летучая мышь
отличное крылышко
холодное лицо.
жёсткая постель
светильник что горишь
кроме тебя ничто не существует.

Листва

кем может быть тот что слушает
арфу (скажем) цитру или губную гармошку
где-то на земле
где звук например
мир в себе и где со стрехи слышно
только ангела воробышка.
кем может быть тот кто листает письма
и прикасается к рельефному рисунку
воспламенённой душой
что сгибается подобно лозе.
оттиск стопы
куча земли что сложена рукою
разбросанная мелочь
которую растерянность бросает светиться
сквозь эпохи.

он вопрошает
листья что трепещут на оконном переплёте
хотят весёлым
дыханием измерить скорость света.

Ежегодный переводческий конкурс «Компас» Русская поэзия по-английски³

Премия «Компас» – 2013: Мария Сергеевна Петровых в английских переводах

Первая премия: Жозефина фон Цитцевитц (Великобритания) «Молитва в лесу».

Вторая премия: Александра Берлина (Германия) «Весна так чувственна. Прикосновение ветра...».

Третья премия: Питер Орам (Великобритания – Германия) «И вдруг возникает какой-то напев...».

Почетный диплом: Нора Крук (Австралия) «Назначь мне свиданье...».

Вручение премий и чтения состоялись 28 января 2014 года в Пушкинском Доме (Лондон).

Участие в вечере принимали Жозефина фон Цитцевитц, Александра Берлина, Питер Орам, Дина Гусейнова, Анжела Ливингстон и Поэль Карп. Вели вечер Роберт Чандлер и Мария Карп.

ПЕРЕВОДЫ СТИХОТВОРЕНИЙ МАРИИ ПЕТРОВЫХ, ПРИЗНАННЫЕ ЛУЧШИМИ

Prayer in the Woods

Among the wonders
of the world is this:
leaves turning in the wind,
the woods that change
and never rest.
That is all fine, it's not forever.
The snow will fall, the snow brings rest.
And in an instant, sure as rain,
spring's turn is here.
We have it worse, but we keep silent.

³ Условия и архив конкурса: см. www.StoSvet.net/compass

Feel for us, woods!
Our youth is spring
but our old age
no multitude of winters.
After just one our space is void.
Air will close in wherever we
now stand and walk.
That is fine, too, if you are with us
and a sapling sinks its living roots
into our silence underground.
Have pity on us in return
for our lifelong loyalty
to branches, leaves and needles.
Bequeath to us your living breath,
a sapling growing ever more
tall, ramified and beautiful!

Translated by Josephine von Zitzewitz

Молитва в лесу

Средь многих земных чудес
Есть и такое –
Листья кружат на ветру,
Преображается лес,
Нет в нем покоя.
Это не страшно, это не навсегда,
Настанет покой снежный,
А там, глядишь, и весне подойдет черда
В срок неизбежный.
У нас похуже, но мы молчим.
Ты, лес, посочувствуй.
Весна – это юность,
а старость – не множество зим,
Минует одна, и место пусто.
Сомкнется воздух на месте том,
Где мы стоим, где мы идем.
Но и это не страшно, коль ты пособишь
И в нашу подземную тишь
Врастет деревцо корнями живыми.

Пожалей нас во имя
Пожизненной верности нашей
Ветвям, и листве, и хвое,
Оставь нам дыханье твое живое, –
Пусть растет деревцо
Все ветвистей, все краше!..

~~~~~

\* \* \*

The spring, so sensuous. The wind's caresses  
arouse the leafage, and it trembles, sinful.  
Is all resistance vain? This very night...?  
The tangy transpiration oozes out,  
enveloping. A shudder passes softly  
through maple branches, and through someone's hair,  
and someone's gaze.  
All doomed. I, too, am doomed  
to let my skin absorb the chilly star,  
the sultry earthly sweat, the yellow sundown...  
But now the hacksaw grinds against the iron,  
and something sour has settled on the teeth.

*Translated by Alexandra Berlina*

\* \* \*

Весна так чувственна. Прикосновение ветра  
Томит листву, и грешная дрожит.  
Не выдержит? И этой самой ночью...  
Пахучая испарина ползет  
И обволакивает. Мягко  
Кольшутся и ветви клена,  
И чьи-то волосы, и чей-то взгляд.  
Все – обреченное. И я обречена  
Под кожу втягивать прохладную звезду,  
И душный пот земли, и желтый мир заката...  
Но по железу ерзула пила,  
И кислое осело на зубах.

~~~~~

* * *

...out of nowhere it comes, some melodious thread,
and narcotic, relentless, it flies round your head
like a bumble bee's buzzing, obsessive, insane,
and you find yourself opening your notebook again...

A wave of delight makes my spine ting-a-ling –
who could know that blank verse simply isn't my thing?
Who *is* it that flung out this lifebelt to me?
And the rhymes pour in, suddenly, incessantly.

Such rhymes the great poet condemned – though in vain –
as too stereotyped and too cold and too plain,
rhymes that we should avoid and think warily of
such as “never... forever” or “love” and “above”.

Yet profound are the reasons why certain words rhyme –
in the same way some number-pairs magically chime
and for these and all other such consonant pairs
he was – thank God! – mistaken: the honour's still theirs!

Translated by Peter Oram

* * *

И вдруг возникает какой-то напев,
Как шмель неотвязный гудит, ошалев,
Как хмель отлетает, нет сил разорвать,
И волей-неволей откроешь тетрадь.

От счастья внезапного похолодею.
Кто понял, что белым стихом не владею?
Кто бросил мне этот спасательный круг?
Откуда-то рифмы сбегаются вдруг.

Их зря обесславил писатель великий
За то, что бледны, холодны, однолики,
Напрасно охаял он «кровь и любовь»,
И «камень и пламень», и вечное «вновь».

Не эти ль созвучья исполнены смысла,
Как некие сакраментальные числа?

А сколько других, что поддержат их честь!
Он, к счастью, ошибся – созвучий не счесть.

~~~~~

\* \* \*

Grant me a twentieth century meeting –  
It's hard to breathe without your love.  
Remember, turn back. Call me!  
Grant me a meeting in that southern town  
Where winds chased the hillocks  
                    round and around,  
While the sea played its colours  
                    for us – above,  
Where heart did not know  
                    unrequited love.  
Remember our first, our secret tryst:  
We walked in the suburbs through rising mist  
among tacky houses,  
                    through narrow streets  
Where people replied with an accent.  
Those shabby surroundings... Remember? And yet  
The tins on the scrap-heap and varied cracked glass  
Had turned into diamonds  
perhaps in their dreaming.  
The path curled relentless above the abyss  
Do you remember that sky-filled kiss?  
And ever since – I forgot the date –  
You've been my light and my air.  
Let years whirl away  
                    and revisit the past,  
We'll meet at Granatny – our favorite alley.  
Grant me a meeting on our earth,  
Within the warmth of your secret heart.  
Meeting again as we did before...  
Seeing... still seeing,  
Still hearing,  
Still breathing...  
Only I'm choking  
                    on pain and air,  
I am imploring – grant me a meeting!

Grant me a meeting but for a moment  
Among the people in a packed square.  
I cannot breathe ... begging for rescue...  
On my last day under dark skies  
Grant me a meeting  
with the blue eyes.

*Translated by Nora Krouk*

\* \* \*

Назначь мне свиданье  
на этом свете.  
Назначь мне свиданье  
в двадцатом столетье.  
Мне трудно дышать без твоей любви.  
Вспомни меня, оглянись, позови!  
Назначь мне свиданье  
в том городе южном,  
Где ветры гоняли  
по взгорьям окружным,  
Где море пленяло  
волной семицветной,  
Где сердце не знало  
любви безответной.  
Ты вспомни о первом свидании тайном,  
Когда мы бродили вдвоем по окраинам,  
Меж домиков тесных,  
по улочкам узким,  
Где нам отвечали с акцентом нерусским.  
Пейзажи и впрямь были бедны и жалки,  
Но вспомни, что даже на мусорной свалке  
Жестянки и склянки  
сверканьем алмазным,  
Казалось, мечтали о чем-то прекрасном.  
Тропинка все выше кружила над бездной...  
Ты помнишь ли тот поцелуй  
поднебесный?..  
Числа я не знаю,  
но с этого дня  
Ты светом и воздухом стал для меня.  
Пусть годы умчатся в круженье обратном

И встретимся мы в переулке Гранатном...  
Назначь мне свиданье у нас на земле,  
В твоём потаённом сердечном тепле.  
Друг другу навстречу  
по-прежнему выйдем,  
Пока ещё слышим,  
Пока ещё видим,  
Пока ещё дышим,  
И я сквозь рыдания  
Тебя заклинаю:  
назначь мне свиданье!  
Назначь мне свиданье,  
хотя б на мгновенье,  
На площади людной,  
под бурей осенней,  
Мне трудно дышать, я молю о спасенье...  
Хотя бы в последний мой смертный час  
Назначь мне свиданье у синих глаз.

### **Премия «Компас» – 2014: Арсений Александрович Тарковский в английских переводах**

Первая премия: Лоренс Богослав (США) «В последний  
месяц осени, на склоне...».

Вторая премия: Нора Крук (Австралия) «Ветер».

Третья премия: Игорь Мазин (США) «Пускай меня про-  
стит Винсент Ван Гог...».

Почетный диплом: Миша Семенов (США) «Поэт начала  
века», Евгений Серебряный (США) «Как сорок лет тому назад».

---

Вручение премий и презентация четвертого выпуска  
журнала *Cardinal Points* состоялись 17 января 2014 года в Доме  
Поэтов (Нью-Йорк).

Участие в вечере принимали Ларри Богослав, Игорь  
Мазин, Евгений Серебряный, Миша Семенов, Морис Эдвардс,  
Сибелан Форрестер, Полина Барскова, Бетси Хьюлик, Слава  
Полищук и Алла Стайнберг. Вели вечер Ирина Машинская,  
Александр Вейцман и Алекс Сигал.

ПЕРЕВОДЫ СТИХОТВОРЕНИЙ АРСЕНИЯ  
ТАРКОВСКОГО, ПРИЗНАННЫЕ ЛУЧШИМИ

\* \* \*

In autumn's final weeks, on the decline  
Of bitter life,  
Filled to the brim with wistfulness, I walked  
Into a leafless, nameless wood.  
It was engulfed from edge to edge in milk-  
White fog like frosted glass. Its hoary branches  
Dripped tears distilled like those  
That only trees weep on the eve  
Of winter that drains everything of color.  
And then a miracle occurred: at sunset  
Out of a raincloud peeked a gleam of blue,  
A ray of light broke through, as bright as June,  
A weightless spear of birdsong cast  
From future days back to my past.  
And now the trees stood weeping on the eve  
Of noble works and festive offerings  
Of cheerful whirlwinds luffing in the azure;  
And bluebirds started dancing in a ring  
Like hands upon a keyboard, rising measures  
From earth to the highest notes the air can sing.

*Translated by Laurence Bogoslaw*

\* \* \*

В последний месяц осени, на склоне  
Суровой жизни,  
Исполненный печали, я вошел  
В безлиственный и безымянный лес.  
Он был по край омыт молочно-белым  
Стеклом тумана. По седым ветвям  
Стекали слезы чистые, какими  
Одни деревья плачут накануне  
Всеобесцвечивающей зимы.  
И тут случилось чудо: на закате  
Забрезжила из тучи синева,  
И яркий луч пробился, как в июне,

Как птичьей песни легкое копье,  
Из дней грядущих в прошлое мое.  
И плакали деревья накануне  
Благих трудов и праздничных щедрот  
Счастливых бурь, клубящихся в лазури,  
И повели синицы хоровод,  
Как будто руки по клавиатуре  
Шли от земли до самых верхних нот.

~~~~~

The Wind

My soul was filled with sorrow in the night.
Yet I had loved the tattered wind-lashed darkness,
stars, glimmering in flight
above wet gardens
like sightless butterflies.
The Gipsy river, a woman
In her wrap, a shaky bridge,
shawl slipping over oily sluggish water,
these helpless hands as though before disaster.

It seemed she was alive.
Alive, as once, but moist and vowelled words
did not convey the meaning of desire
or happiness, or sorrow
and thought did not connect them any more
as is the habit there among the living.

Words burned like candles in the gusty wind
And sputtered out. As if her shoulders
Bore the grief of all. We moved, we walked
Abreast and yet her feet
Just skimmed this wormwood earth.
She didn't any more appear alive.

Once she had had a name.
September wind invades the wooden frame

now clanging locks in currents of chill air,
now flowing gentle fingers through my hair.

Translated by Nora Krouk

Ветер

Душа моя затосковала ночью.
А я любил изорванную в ключья,
Исхлестанную ветром темноту
И звезды, брезжащие на лету
Над мокрыми сентябрьскими садами,
Как бабочки с незрячими глазами,
И на цыганской масляной реке
Шатучий мост, и женщину в платке,
Спадавшем с плеч над медленной водою,
И эти руки, как перед бедою.
И кажется, она была жива,
Жива, как прежде, но ее слова
Из влажных «Л» теперь не означали
Ни счастья, ни желаний, ни печали,
И больше мысль не связывала их,
Как повелось на свете у живых.
Слова горели, как под ветром свечи,
И гасли, словно ей легло на плечи
Все горе всех времен. Мы рядом шли,
Но этой горькой, как полынь, земли
Она уже стопами не касалась
И мне живую больше не казалась.
Когда-то имя было у нее.
Сентябрьский ветер и ко мне в жилье
Врывается – то лязгает замками,
То волосы мне трогает руками.

~~~~~

\* \* \*

Forgive me, Vincent. In the very end  
I could not offer you a helping hand.

I did not try to share with you your load  
Nor line with grass your burned and listless road.

I did not try to soothe your weary feet,  
Unlace your boots, still dusty from the street.

I did not wet your cracked lips with dew  
And failed to take your gun, although I knew.

That cypress tree that never is the same,  
Contorted as a twisted, tortured flame,

Your piercing-yellow chrome and Prussian blue...  
How could I be myself, if not for you?

Degrading would it be for words of mine,  
If I unload your burden from my spine.

And that angelic rudeness, which combines,  
Your paintbrush stroke together with my lines,

Will lead us through the pupils of his eyes  
To starry nights, through which Van Gogh still flies.

*Translated by Igor Mazin*

\* \* \*

Пуcкай меня прoстит Винcент Ван Гoг  
За тo, чтo я пoмoчь eму нe мoг,

За тo, чтo я тpaвы eму пoд нoги  
He пoстeлил нa выжжeннoй дoрoгe,

За тo, чтo я нe paзвязaл шнуркoв  
Егo крeстьянcких пыльных бaшмaкoв,

За тo, чтo в знoй нe дaл eму нaпитьcя,  
He пoмeшaл в бoльницe зaстрeлитьcя.

Cтoю ceбe, a нaдo мнoй нaвис  
Зaкpучeнный, кaк плaмeя, кипapис.

Лимoнный кpoн и тeмнo-гoлубoe, –  
Бeз них нe cтaл бы я cамим coбoю;

Унизил бы я собственную речь,  
Когда б чужую ношу сбросил с плеч.

А эта грубость ангела, с какою  
Он свой мазок роднит с моей строкою,

Ведет и вас через его зрачок  
Туда, где дышит звездами Ван Гог.

~~~~~

A Poet from Early This Century

Your every verse is like a chalice
Of poison, like a life of sin.
I breathe it in, although it's madness
And heresy to breathe it in.

You were the little boy, bewildered
By some white funeral, who sent
The church bells' threnody to linger
In the air over a feast of friends.

And nowadays my foggy mind
Cleaves to your worn-out overcoat,
And in its blackened threads I find
Sounds of such transfixing cold,

Such dread return, that I must shiver
Like in my youth, and I must listen –
All of the guns of Tsushima
Were not more resonant or lethal –

And I must spread my arms and go
Up into your incandescent blue,
And leave my soul dying below
Bereaved, and follow you.

Translated by Misha Semenov

Поэт начала века

Твой каждый стих - как чаша яда,
Как жизнь, спаленная грехом,
И я дышу, хоть и не надо,
Нельзя дышать твоим стихом.

Ты - бедный мальчик сумасшедший,
С каких-то белых похорон
На пиршество друзей приведший
Колоколов прощальный звон.

Прости меня, я как в тумане
Приникну к твоему плащу
И в черной выношенной ткани
Такую стужу отыщу,

Такой возврат невыносимый
Смертельной юности моей,
Что гул погибельной Цусимы
Твоих созвучий не страшней.

Тогда я простираю руки
И путь держу на твой магнит.
А на земле в последней муке
Внизу - душа моя скорбит...

~~~~~

**Like Forty Years so Long Ago**

Like forty years so long ago,  
Heart racing at the slightest sound of  
Footsteps — that house, garden window,  
That candle, that nearsighted look I know  
Demands neither an oath nor vow of  
Commitment. They're ringing in town now.  
Day's breaking. Rain's falling, and wild grapes'  
Soaked-through dark tendrils grope  
For the house wall, like homeless strays,  
Like forty years so long ago.

## II

Like forty years so long ago,  
I'm soaked under the rain, there's something  
I forgot, something I'm being told,  
I'm guilty, you'll be forgiven, though,  
And at ten fifty with a blow  
From 'round the bend the train is coming.  
And at eleven comes the end of all  
That shall for forty years to come  
As one long train stretch on and on,  
Its windows flashing through the pall,  
Of all that without words you said when  
The wagons were already gone.  
And someone's youth there at the station,  
Fallen behind the parting throng,  
Trudges through puddles, helter-skelter  
Biting its sleeve, on its way home.

## III

Praise be, for measuring the great heights  
Of earthly mountains and celestial stars,  
To my eyes—for their light and tears!

And to my arms, exhausted from their efforts,  
Praise, too, for how, like two wings, you  
Did not resist my arms with yours.

And in my throat and lips, rejoice!  
Praise, for how hard it is to sing,  
How hollow and how rough my voice,  
When from this well, from deep within,  
A snow-white dove bursts out on wing  
And breaks its breast to pieces on the rim!

No, not a white dove—just a name,  
To my ears now a foreign tone,  
Resounding with your wings' refrain,  
Like forty years so long ago.

*Translated by Eugene Serebryany*

### Как сорок лет тому назад

Как сорок лет тому назад,  
Сердцебиение при звуке  
Шагов, и дом с окошком в сад,  
Свеча и близорукий взгляд,  
Не требующий ни поруки,  
Ни клятвы. В городе звонят.  
Света. Дождь идет, и темный,  
Намокший дикий виноград  
К стене прижался, как бездомный,  
Как сорок лет тому назад.

### II

Как сорок лет тому назад,  
Я вымок под дождем, я что-то  
Забыл, мне что-то говорят,  
Я виноват, тебя простят,  
И поезд в десять пятьдесят  
Выходит из-за поворота.  
В одиннадцать конец всему,  
Что будет сорок лет в грядущем  
Тянуться поездом идущим  
И окнами мелькать в дыму,  
Всему, что ты без слов сказала,  
Когда уже пошел состав.  
И чья-то юность, у вокзала  
От провожающих отстав,  
Домой по лужам как попало  
Плетется, прикусив рукав.

### III

Хвала измерившим высоты  
Небесных звезд и гор земных,  
Глазам - за свет и слезы их!

Рукам, уставшим от работы,  
За то, что ты, как два крыла,  
Руками их не отвела!

Гортани и губам хвала  
За то, что трудно мне поется,  
Что голос мой и глух и груб,  
Когда из глубины колодца  
Наружу белый голубь рвется  
И разбивает грудь о сруб!

Не белый голубь - только имя,  
Живому слуху чуждый лад,  
Звучащий крыльями твоими,  
Как сорок лет тому назад.

**Пятый сезон (2015) был посвящен поэзии**

**Бориса Слуцкого**

Лучшие переводы будут опубликованы в «Сторонах света» №17.

**В 2016 году для перевода предложена поэзия**

**Беллы Ахмадулиной**

Правила и сроки подачи на сайте премии **www.stosvet.net**, а также на странице конкурса в Facebook: *Compass Translation Award: Russian Poetry in English*.

Адрес: [compass@stosvet.net](mailto:compass@stosvet.net)

Конкурс является частью литературного проекта «Свет» и проводится под эгидой *Cardinal Points Journal*.

Директор конкурса – Александр Вейцман.

# ПРОЗА

Израиль, Австралия

## Борис Крижопольский

### БАЗИЛИК

*Базили́к – вид однолетнего травянистого растения.*

*Требователен к теплу, свету, влаге и почве.*

*Под базилик отводят хорошо дренированные, суглинистые и супесчаные почвы, тщательно заправленные органическими удобрениями.*

*Следует учесть, что в больших дозах растение действует раздражающе на различные органы.*

Я не знаю, как пахнет базилик. Это имя связано для меня с блокпостом в Южном Ливане, и мои ассоциации – холод, грязь, сырость, запахи мокрой земли и солёнки – не имеют никакого отношения к тому, что энциклопедия определяет как *Базили́к душии́стый* (*Ocimum basilicum*).

Большинство ливанских укреплённых пунктов носило названия, заимствованные из мира растений: Астра, Гвоздика, Берёза и даже Тыква. Несоответствие между этими именами и носившими их грубыми комплексами из земли и бетона, внутри которых несколько десятков солдат проводили дни в непрерывном напряжении, исходя тоской, скукой и страхом, заключало в себе какую-то жестокую насмешку: «“Берёза” обстреляна ракетами», «Двое раненых в “Гвоздике”».

Базилик был наиболее удалённым от израильской границы блокпостом. Мы провели там четыре бесконечных зимних месяца. Зимы в Ливане холоднее, чем в Израиле, – а эта выдалась особенно холодной. Бетонные стены бункера, в котором мы жили, промёрзли насквозь, и казалось, что весь мир состоит из этих серых промозглых стен, холода, скуки, тоски и непрекращающегося дождя.

Однажды утром, переходя из одного серого и сырого бункера в другой, из того, где мы спали, – в тот, где мы ели, мы застыли на пороге, не узнавая окружающий мир. Привычное липкое месиво, покрывавшее двор, пристававшее к ботинкам так, что приходилось отдирать его ножом, исчезло под густым слоем пушистого снега. Знакомые до тошноты холмы, овраги, вади, серая россыпь домов близкой деревни – всё то, что

мы называли безликим казённым словом «местность», отчуждённо-враждебное, таящее опасность, каждодневно изучаемое нами на кодовых картах, наблюдаемое с дозорных пунктов, радостно белело и искрилось под солнцем. И снег всё ещё падал, снежинки опускались, медленно кружась в прозрачном, пронизанном солнцем воздухе.

И, забыв о еде и пулях, закинув за спину автоматы, в расстёгнутых бронежилетах и сбившихся на бок касках, мы полезли на наружную насыпь, отделявшую нас от мира, и, набирая полные горсти снега, стали бросать ими друг в друга. Мы больше не были солдатами. Мы снова стали детьми. Заснув в маленьком укрепленном пункте в Южном Ливане, среди бетонных стен, комьев грязи и запаха солянки, мы проснулись в белой искрящейся сказке. И не было больше войны, не было дежурств, засад и миномётных обстрелов, не было боли, усталости и страха, не было даже тоски по дому. Был только снег, радостно блестящий под солнцем, и голубое спокойное небо над нами. Как будто не мог раздаться в любое мгновение свист снаряда, переходящий в короткий оглушающий взрыв, мешающий снег с кровавой кашей. Как будто мир должен был жить теперь по другим законам.

А несколько часов спустя, когда солнце, перевалив за зенит, начало опускаться в сторону Сидона, нам передали, что Арамте – соседний с нами укрепленный пункт ЦАДАЛя – атакован ракетами.

В комнату стремительно и порывисто, как всё, что он делает, входит Зеэви, командир первого взвода.

– А я тебя везде ищу. Кто-то сказал мне, что ты на дежурстве, – я чувствую на плече его длинные, цепкие пальцы. – Обстреляли Арамте. Ты уже, наверное, слышал. Есть раненый, его везут сюда. Мы должны прикрыть колонну. Быстро соберись и зови своего второго номера. Я жду вас снаружи.

Так же стремительно, как вошёл, Зеэви уходит. Я встаю. Собираться недолго – мы не снимаем ни одежды, ни ботинок. Надеваю бронежилет, застёгиваю каску. Подхватив автомат, я зову напарника и спешу к выходу.

Мы шуримся, как кроты, от яркого, отражённого сверкающим снегом света. Бегом пересекаем открытое пространство. Под ногами с каждым шагом плотно, весело скрипит снег. Я не могу избавиться от чувства, будто играю в какую-то игру,

до такой степени несовместим этот яркий морозный день с привычной солдатской работой.

Поднимаемся на насыпь. Зеэви стоит внизу, в траншее – оттуда видны его голова и руки с биноклем. Он показывает, куда стрелять. Стрелять?! Высота, прицел, миномётный огонь – какое всё это имеет отношение к окружающей нас зимней сказке? Всё это принадлежит той, прошлой жизни... Мы вкапываем основание миномёта, словно исполняя привычный обряд, в смысл которого уже не веришь. Мёрзлая земля тверда, как камень, и мы остервенело долбим её сапёрными лопатками.

– Ну! Долго ещё? – Зеэви заметно нервничает.

– Сейчас... Ч-чёрт!

Перчаток мы в спешке не взяли. Пальцы примерзают к ледяному металлу. Наконец этот чёртов миномёт установлен. Наводим его на нужную высоту и готовим первый снаряд.

– Приготовиться! Огонь! – я отворачиваюсь, пригибая голову. Привычный короткий взрыв, отдающий в ухо тычком иголки – и снаряд вылетает, как пробка из бутылки. Мы сможем ему вслед. Взрыва падения не слышно – только на нетронutom снегу бесшумно распускается крохотный чёрный цветок.

– Правее и ближе!

Мы исправляем и выпускаем, один за другим, ещё три.

– Всё равно мимо, но уже нет времени. Возвращаемся!

Быстро!

С чувством облегчения мы спускаемся.

У входа в бункер, переминаясь с ноги на ногу, жмутся несколько арабов в израильской форме, с одинаковыми чернотусыми лицами. На грязном, вытопанном снегу желтеют смятые окурки. Смущённо и как-то затравленно взглядывая на нас, они расступаются, и мы проходим мимо них в «Свадебный зал» – центральное помещение жилого бункера.

После яркой морозной белизны – полутьма, сырость промёрзших стен, приглушённый гул голосов. Слева от входа какое-то суетливое движение, большие жёлтые подошвы ног кого-то лежащего навзничь на деревянном столе. Мне не хочется смотреть туда, но, помимо моей воли, этот стол, странно неподвижные ступни на нём притягивают взгляд. Вопреки ожиданиям, ничего страшного я не вижу. Раненый раздет: ноги, живот, грудь – всё цело. Доктор лихорадочно делает что-то с его головой.

Зал полон людей. Висит приглушённый гул голосов. Кто-то громко засмеялся. Чувствуется, что человек, борющийся сейчас со смертью в углу зала, чужой для всех здесь, кроме тех нескольких, жмущихся у входа. Только они знают цвет его глаз и имена его детей. Для остальных он – безликое тело, беззащитно открытое, безвольно распыленное на кухонном столе.

...Раненого увозят. Первая помощь оказана, теперь его надо поскорее доставить в больницу. Стол уносят. На полу остаётся лужица крови, в которой плавает что-то желтовато-белое.

Машина, приехавшая забрать раненого, привезла нам почту. Взяв свежую газету, захожу в нашу комнату с десятью шаткими трёхэтажными кроватями, похожими на пчелиные соты. Вешаю автомат на крючок у входа и залезаю на третий этаж. Потолок – сантиметрах в тридцати от лица, на стенах – красно-белые флаги, плакаты моделей в купальниках – напоминание о большом мире, наверное ещё существующем где-то. Разворачиваю газету: открытие карнавала в Венеции. На фотографии – мужчина и женщина в костюмах домино жеманно склонились друг к другу лицами в причудливых масках, на заднем плане гондольер в средневековом костюме стоит на носу нарядной гондолы. Быстро пролистываю дальше: «Кризис среднего возраста и как с ним бороться», «Хаим Ревиво, которого вы не знали», «Как избавиться от лишнего веса, не прибегая к диете». Всё это бесконечно далеко от меня. Глаза мои начинают слипаться, я смотрю на Сэнди Бар, улыбающуюся со стены напротив, на капли влаги, сверкающие на оливковой коже, гладкие ноги с удлинёнными изящными ступнями, и на мгновение передо мной мелькают страшные, неподвижные подошвы раненого. Неужели всё это может существовать одновременно? В одно и то же мгновение кто-то рождается, а кто-то умирает, в Венеции начинается фестиваль, а здесь продолжается война, кто-то осторожно, опасаясь замочить ноги, спускается в гондолу, вдыхая тяжёлый запах стоячей венецианской воды, а кто-то борется со смертью в кузове грузовика, и морозный воздух Ливана горячит его обескровленное лицо... Я размышляю над этим, пока мягкие, тёмные волны не смыкаются надо мной.

Час спустя я заступаю на смену. Колочий, студёный воздух моментально разгоняет дремоту. Поднимаюсь по скользким обледевленным ступеням на наблюдательный пункт, на ходу вставляя магазин в автомат.

Кац ждёт меня. Вид у него одновременно сонный и возбуждённо-нетерпеливый. Вид человека, простоявшего два часа на одном месте и последние полчаса считавшего минуты. Всё это мне хорошо знакомо.

При виде меня его лицо разглаживается.

– Кацеле! Ты ещё жив, братишка? Иди отдыхай.

Сверкающее белое великолепие вокруг, вся эта зимняя, снежно-морозная атмосфера, новая и непривычная, придают особенный оттенок всему, что говорится и делается: какую-то праздничную приподнятость, предчувствие чего-то радостного.

– Ты король! Поверь мне, ты король! Как всегда, вовремя. А что там за суета была?

– Привозили раненого цадальника.

– Вот чёрт! Вечно я пропускаю самое интересное.

– Да ничего ты не пропустил. Ничего интересного. Иди спать.

– Иду. Ну, бывай, брат.

– Бывай.

Я остаюсь один. Расстёгиваю воротник бронежилета и ремешок каски, набираю полную грудь колючего воздуха и медленно выдыхаю облачко морозного пара. Смотрю на раскинувшиеся внизу холмы, деревья, овраги. Я чувствую, как что-то неуловимо изменилось. Снег подмёрз, и теперь белизна его уже не празднично-искрящаяся, а равномерно-матовая, мертвенная. Теперь это просто замёрзшая вода, тяжёлым, плотным саваном лежащая на земле. Мне вдруг кажется, что этот мертвящий холод проникает в меня, в мои жилы. Мне становится очень холодно.

Я смотрю и думаю о том, что когда-нибудь всё закончится: закончатся одинокие дежурства и ночные засады, глухие разрывы за промёрзшими бетонными стенами и короткий сон, не снимая одежды. Когда-нибудь всё закончится, и я вернусь домой, и будет тёплая комната, и письменный стол с лампой, и дымящаяся чашка чая, и корешки любимых книг. Но всё, что я видел здесь, уже никогда не оставит меня. И когда-нибудь, вдохнув морозный воздух, я вспомню серую скуку промёрзших стен, вкус кукурузных хлопьев в холодном какао, радость жизни и страх смерти, кусочки мозга в лужице крови на бетонном полу и холодную, равнодушную чистоту снега, укрывающего всё.

*Зелень базилика имеет очень приятный пряный запах душистого перца со слегка охлаждающим солоноватым вкусом.*

*Эта культура – одна из древнейших пряностей Востока, где его называют «рейхан».*

## ЗАПЕРТЫЙ САД

*Запертый сад – сестра моя, невеста,  
заключённый колодезь, запечатанный источник.  
Песнь Песней*

*Запертый сад – ни тропинки к нему, ни дороги...  
Запертый сад – человек.  
Рахель*

Что-то вырвало меня из глубокого сна, куда я провалился, как в колодезь, придя с ночного задания. Несколько бесконечных мгновений я пытался сообразить, где нахожусь, пока всё не стало на свои места: спальник, брошенный на жёсткий бетонный пол, тяжело спящие люди в оливковой форме, голые стены школы, покрытые арабской вязью, источающие запах сырости. Тулькарем.

Ронен настойчиво трясёт меня за плечо: наверное, пора на дежурство. Я приподнимаюсь на локте и встряхиваю головой, чтобы отогнать сон.

– Послушай, ты читал «Евгения Онегина»?

– Что? – я не верю своим ушам. Наверное, я ещё не проснулся.

Ронен терпеливо повторяет:

– «Евгений Онегин» – вроде есть такая русская книга. Ты же русский, и ты много читаешь, а мне позарез нужно знать, что там написано.

– Послушай, ты ведь не хочешь сказать, что разбудил меня из-за этого?

Уловив нотки угрозы в моём голосе, Ронен улыбается своей знаменитой обезоруживающей улыбкой:

– Ну ладно, не сердись! Просто это очень важно и срочно, я не мог ждать. Вопрос жизни и смерти.

Сердиться на него действительно было трудно. Роненковский шарм давно уже стал частью армейского фольклора, как и изобретённый им термин «СОЛО» – Связи, Опыт и Личное Обаяние. Когда поражённые очередной его гениальной комбинацией товарищи спрашивали его: «Как, чёрт возьми, тебе это удалось?», он обезоруживающе улыбался и отвечал: «СОЛО, братишки, СОЛО». К тому же я уже смирился с пробуждением.

– Ладно, чёрт с тобой! Выйдем покурим.

Переступая через лежащих, мы вышли в школьный двор. Всё было серого цвета: голые бетонные здания, небо над головой, жирная грязь под ногами. Мы сели на ступеньки в углу двора и закурили.

– Ну, рассказывай, братец, как занесло тебя на эти галеры?

– Куда занесло?

– Про Онегина рассказывай. Где услышал и почему тебе это так важно?

– Понимаешь, я последние два года работал охранником в сохнутовском центре абсорбции. Работа не напрягает, платят неплохо, а самое главное – девочки! Первое время у меня чуть голова не отвалилась, просто не знал, куда смотреть. Им скучно, знакомых нет, а я для них – аттракция, живой израильтянин. Короче, никогда в жизни мне ещё не было так хорошо.

Ронен встал. Он стоял передо мной, переступая в нетерпении своими длинными ногами, и говорил, помогая себе руками. Огонёк сигареты выписывал замысловатые дуги перед моим лицом.

– Была там одна – я сразу её приметил, да и трудно было не заметить – мулатка, представляешь? Русская мулатка! Её отец из Того, приехал учиться на Украину и познакомился там с её матерью. Вот и вышло у них такое чудо с кофейной кожей. Изящная такая, интеллигентная. И сразу видно, что она отличается от других не только внешне, что она вообще другая, особенная. Я заметил, что она мной интересуется, ловил её взгляды, но, честно говоря, не хотел связываться. Я чувствовал, что с ней всё должно быть по-другому, не так, как с другими, – и меня это напрягало. Мне хватало женского внимания, и я не хотел ничего менять, не хотел ни от чего отказываться. Понимаешь?

Я не только понимал, но, похоже, начинал догадываться, как будет разворачиваться сюжет.

– И вот как-то вечером, в начале ночной смены, приходит ко мне её подруга, страшная такая, в огромных очках, похожая на сову, и приносит письмо. Представляешь – она полгода в стране, письмо на иврите – без единой ошибки. И написано так красиво. Мне было, конечно, приятно, но и не по себе – слишком было всё это серьёзно, а мне тогда ничего серьёзного не хотелось. Я подумал, что честнее всего было бы поговорить с ней и всё объяснить: ну, что она, конечно, замечательная и всё такое, но не для меня.

– «Напрасны Ваши совершенства: их вовсе недостойн я».

– Что ты говоришь?

– Да так, ничего. Продолжай.

– В общем, объяснился я с ней. Никогда не забуду, как она посмотрела на меня. Но ничего не сказала и больше со мной не заговаривала. Только её подруга-сова смотрела на меня каждый раз, как будто хотела глаза выклевать. А потом она ушла из программы, не закончив, и уехала к родственникам на юг страны. Сначала я почувствовал облегчение. Потом – пустоту. А потом меня такая тоска одолела, хоть стреляйся. Никогда такого не испытывал: я постоянно думал о ней, безумно хотелось её видеть. Я не мог этого выдерживать и уже собирался взять выходной и ехать к ней, и тут нас вызывают в армию.

Ронен отбросил погасший окурок и сел рядом со мной.

– Я до сих пор не верю, что сделал это, но в тот же вечер написал письмо и отдал его Сове, чтобы передала ей. Все эти чёртовы дни я сам не свой. Тут в оба глядеть надо, чтобы тебя не пристрелили, а у меня голова не на месте: всё думаю о ней, о своём письме и о том, что она подумала, когда прочла, и что ответит? Короче... Сегодня утром приходит смс, всего одна фраза: «Читай “Евгения Онегина”».

Он посмотрел на меня:

– Вот я тебя и разбудил...

Во дворике разожгли костёр и жарили на нём консервы. Горячий, дымный запах пополз по двору, заглушая запах мокрого цемента. Снова начал накрапывать дождь. Мы сидели на влажных ступеньках заброшенной школы, в Тулькареме, и я пересказывал Ронену сюжет «Евгения Онегина».

Когда я закончил, он схватился за голову:

– Ну и сукин сын этот Пушкин! Нет, теперь я просто обязан сам это прочесть, – он почесал в задумчивости подбородок.

– У родителей большая библиотека, должен у них быть и Пушкин. Как только выберемся из этого дерьма, я позвоню им, чтобы привезли мне книгу.

Не умеющий сидеть без дела, Ронен отправился на поиски розетки, чтобы зарядить давно севший телефон, а я остался во дворе. Спать не хотелось, спину ломило от долгого лежания на твёрдом холодном полу. Я осмотрелся. Школьный двор был ограничен с двух сторон зданием в форме буквы «Г», в длинной части находился штаб, а в короткой – спали мы. С третьей стороны была глухая стена, а с четвёртой – полуразрушенное здание, видимо бывшее когда-то вестибюлем. Я вошёл туда через пролом в стене. Вся лицевая сторона здания была разворочена. Пол был усеян бетонной крошкой. В дальнем конце помещения ходили, переговариваясь, двое часовых. В центре стояли два стула. К каждому из них был привязан человек. Один из них, тот, что был ближе ко мне, мучительно извивался на стуле, беспрестанно бормоча что-то, вскрикивая и захлёбываясь. Это был щедущий, очень смуглый человечек. Второй, высокий и плотный, с короткими усами на заплывшем жиром лице, сидел спокойно и безучастно. Глаза обоих были завязаны, из-за чего их лица были похожи своим выражением, несмотря на всю разницу их фигур и поведения.

Ко мне подошёл наш полковой врач.

– Вот, – кивнул он на чёрного человечка, – всю ночь кричит. Измучился я с ним, сил нет.

– А что с ним?

– Ломка. Наркоман он. Находка для Шабак, если, конечно, что-то знает.

Доктор помолчал.

– Невозможно смотреть на него. Я не выдержал, сделал ему укол. На некоторое время помогло. А теперь опять началось. Ну что ты будешь делать? Не могу же я изводить на него свой морфий.

Услышав голос доктора, маленький наркоман застонал, повернул в нашу сторону лицо с завязанными глазами и быстро-быстро заговорил. Не нужно было знать арабский, чтобы понять: так выразительны были его интонации и умоляющее выражение незрячего лица. Второй арестованный сидел, опустив голову на грудь. По лицу его ползла муха. «Морозной пылью серебрится его брововый воротник», – всплыло у меня в голове совсем некстати.

Я вернулся в зал и лёг на пол. Эта школа так мало походила на то, что отзывалось в моей памяти при этом слове. Широкий двор, игры «в квадрат» на переменах, выяснение отношений на жёсткой лужайке за теплицами, портреты классиков на стенах, весна, врывающаяся в класс буйством зелени, пьянящее предвкушение вступления в жизнь, обещающей всякие чудеса. Онегин, Татьяна, морозная пыль, моё незабвенное детство – где всё это теперь? В какую бездонную пропасть ухнуло всё, оставив меня предаваться воспоминаниям на пыльном полу заброшенной школы города Тулькарем? Тулькарем – Виноградный холм. Да уж...

\* \* \*

Возможность прочесть «Онегина» появилась у Ронена раньше, чем мы могли подумать. Уже через два дня нас вывели из Тулькарема, и мы вернулись в тот мошав, из которого выходили неделю назад.

Когда, обрадованные возможностью свидания, родители Ронена приехали в мошав, он первым делом потребовал у них обещанную книгу, а затем, объяснив, как выехать отсюда на шоссе, величественным жестом отпустил их.

Глядя, как белая «Мазда» разворачивается, словно побитая собака, я подумал, что в этом – весь Ронен. В своё время я размышлял над секретом его обаяния и пришёл к выводу, что он заключается в абсолютной концентрации на настоящем моменте. Этот человек присутствовал без остатка в том, что делал, и если он говорил с кем-то, то его внимание принадлежало собеседнику полностью и безраздельно – остальной мир переставал существовать в этот момент. Раз испытав такой всепоглощающий интерес к своей персоне, люди тянулись к тому, кто подарил им это столь редкое ощущение. Обратной стороной такой способности концентрации на предмете было полное безразличие ко всему остальному, тому, что не находилось в настоящий момент в поле зрения. Ронен существовал по ту сторону вежливости. Все его душевные силы, все без остатка, были поглощены сейчас его темнокожей Татьяной и теми завораживающе-причудливыми отношениями, которые складывались между ними, высверкивая электрическими разрядами. Весь мир делился на две неравные части: *это* и всё остальное. И значение всего остального, куда входили его родители, я, те люди, которые в него стреляли, и те, кто защищал его от

пуль, сводилось только к той роли, которую они играли в этой драме.

Получив вожделенную книгу, Ронен молча уселся в углу и погрузился в чтение, держа на коленях эту громоздкую, в твёрдой обложке книгу, запустив руку в свои густые светлые пряди. Когда через час нас позвали на задание, он так же молча встал, накинул, не глядя, снаряжение и сел на пол БТРа – туда, где свет, падавший из открытого люка, позволял читать. Бронемашина, дрогнув, тронулась с места. Один из мешков с землёй, которыми мы обложили борта машины для защиты от пуль, оказался порванным, и от вибрации, вызванной движением, земля медленной струйкой посыпалась внутрь. Не отрывая жадных глаз от книги, Ронен нетерпеливым движением стряхивал землю, сыпавшуюся на страницы.

Задание было пустяковым: выражаясь топорным языком армейских инструкций, мы должны были «продемонстрировать присутствие» – проехаться по дороге, постоять на перекрёстке и вернуться. День был солнечный, впервые после недель дождя. Солнце сушило напоённую влагой землю, и, когда мы останавливались, в воздухе чувствовался характерный для этих мест горько-сладкий запах трав. Стоя в люке, я с наслаждением подставлял лицо встречному ветру. После влажной грязи, сырого бетона, замерших ночных улочек так приятно было видеть эту зелень и голубизну и свободно дышавшую землю.

В десятке метрах от края дороги я заметил большого орла, сидевшего на скале. Его выпуклые глаза смотрели на рычащее чудовище, ползущее по дороге. В них не было страха, только, как показалось мне, какое-то отчуждённое удивление. Когда мы почти поравнялись с ним, он сорвался с места и несколькими неторопливыми взмахами мощных крыльев набрал высоту. На несколько мгновений я потерял его из вида, но потом нашёл: распластав неподвижные крылья, он описывал над нами медленный круг. В этом парящем силуэте было столько свободной, живой силы, был такой контраст с нами, прикованными к этой уродливой металлической коробке, ползущей в пыли и грохоте. Наверное, и тысячи лет назад по тем же дорогам в облаке пыли шли воины, и так же кружили над ними орлы, и так же выглядели эти холмы, покрытые оливами. Вечная драма борьбы за землю, драма жизни и смерти. Я посмотрел вниз. Там, в тёмном брюхе БТРа, разыгрывалась не менее

вечная драма пути мужского сердца к сердцу женскому – пути, загадка которого волновала ещё царя Соломона.

Ронен потрусил книгу, стряхивая с её страниц землю, и на мгновение передо мной мелькнул знакомый с раннего детства летучий профиль, окаймлённый бакенбардами, и я подумал, что, помимо библейского мира орлов и олив и армейского мирка БТРа, здесь существует ещё один мир – в котором бьётся закованная в гранитные берега Нева, торопливо летит по бумаге холёная рука, медленно оплывают свечи, серебрится морозной пылью воротник...

## Сергей Ледовских, Наталья Маркова

### БАБСКИЕ СКАЗКИ, АДАПТИРОВАННЫЕ ДЛЯ МУЖСКОГО ВОСПРИЯТИЯ

#### Утро над Бискайским заливом

Тема утра далеко ещё не исчерпана в мировой литературе. Да-да, не изумляйтесь. Вернее, она уже давно и безнадежно изъезжена, истоптана, измусолена, если вы, воспламеняясь вдохновением, пытаетесь обратиться к ней, находясь в какой-нибудь там Андалузии или на Гавайских островах. Ой, я вас умоляю! Эта симфония красок, эта палитра звуков, этот обласканный вечностью шёпот прибоя просто утомили уже. Я не хочу утверждать, что есть ещё места, где утро наступает как-то иначе. Ни в коем случае. Однако существуют ещё точки на карте, куда не ступала нога утровиста. Певца капелек росы и солнечных зайчиков. Зажигателя зари. Она туда не ступала, потому что там, как ему, художнику, мыслится, нечего почерпнуть. Роковая ошибка. Почерпнуть, может, и нечего, но зачерпнуть, черпануть полный шиворот вдохновения, полный валенок смысла можно запросто. Всего навалом. Садись и описывай. Зажмуриться только, затем, трагически охнув, окунуться и нырнуть в укрытую ключьями тумана утреннюю свежесть. Выжать самую что ни на есть суть, пригубить и сплунуть. Заговариваюсь...

Петухи утром здесь не кричат. Абсолютно. Нет смысла. Аудитория не та. Собаки, те заводятся с полоборота. Яростно так, раскатисто: «Бъв-ыв-ывыв!!! Був-бுவ-бுவ!!» Больше не заснуть, выпалились, слава те Господи! С добрым вас утречком. Всеобщий телесный и душевный подъём. Лес стеною стоит во круг, молча и безучастно взирая на утреннюю возню обитателей нашего домостроя. Он, может, и шепчет что-то, может, и заливается трелями дроздов и дышит свежестью хвои. Вполне возможно. Только этого нам отсюда ни фига не слышно.

О! Вон он. Ш-ш-ш! Сосед вышел в огород и глядит в мою сторону недобрым взглядом. Что я ему такого сделала? И к чему мне эти интриги? Да, я натравила на него милицию. Навела, каюсь. Но зачем же было выламывать мой замок? Только

ведь купленный. Выворотил, бросил, в прихожей натоптал, табачищем навонял. У мужа шляпа была сомбреро – подарок. До сих пор ищем. Что ещё угнетает: жена соседская трактует эти его взгляды в мою сторону по-своему, шьёт мужу прелюбодеяние с отягчающими намерениями развода. Смех, прямо...

Вон, Таня пошла в магазин. Пошлёпала. Точно, значит, утро. Танька – это одноклассница и сожительница моего бывшего. Часы по ней можно проверять. А бывший мой – он же сосед напротив. Ох-ох, к настоящему описанию история моего предыдущего замужества в целом никак вроде пока не относится. Не в тему. М-да, а эта прелюбодеяние шьёт, дура. Да если б я каждого с тяжёлым взглядом из семьи уводила, у меня бы тут целая улица была полна бывших мужёв.

– Танюш, а что это у тебя фингал как будто? – спрашиваю.

– Да, гипс сняли позавчера. Срослось вроде уже.

И дальше потащила. Не улавливаю логики в её ответе. Помыслив, заключаю: наверное, здесь присутствует печать, отметина, амулет тайной страсти, символ сложных взаимоотношений, являющийся, материализующийся то в виде гипсовой повязки на предплечье, то в качестве «фонаря» под глазом. Крутизна нрава моего бывшего, однако, опять не стыкуется с темой. Замну, одним словом.

Вижу, Таня возвращается с покупками. Плетётся натяжеле. Глядит перед собой серьёзно так, но без тоски во взгляде.

– Тань, что там нового в магазине? – опять задаю вопрос без умысла, от скуки просто.

– Блинов помер, слыхала?

Вновь судорожно пытаюсь нащупать признаки логики в её ответе:

– Так он в прошлом году ещё помер, что ты! – осторожно привожу её мысли в порядок.

– А-а-а, – вяло удивляется она. – То-то я давно уже замечаю: «Посольскую» разбирают, а портвейн неприбранный лежит.

– А в магазине что ж? – настаиваю слегка.

– Так помер же, говорю, – зачем-то повторяется она. – Портвейн который... А ты вот передачу такую смотрела? – вдруг меняет тему. – Ребёночек мать потерял. Так? Давно очень. И вот: подросток он и не знает того, что наплась она, встретиться они должны в первый раз в эфире. Сашок только канал

в этот момент переключил, не досмотрела я. Как же они там свиделись? Душевная передача. Смотрела ты, нет?

Понятия не имею, но догадываюсь, чем всё там закончилось:

– Ой, конечно, встретились! Рыдали все, прямо. И публика. Особенно ребёночек этот. Вот счастье-то!

– Ну и ладно. Славно как, – Танин голос смягчается, даже фингал на её лице, кажется, выглядит уже не так контрастно. – Пойду я.

– Может, зайдёшь? – спрашиваю. – Чаю?

– Да нет, дела тут. Давай.

Ох, дела эти-и! Кругом. Одни дела и больше ничего... Этот гвалт собачий, этот рык истошный вдруг разрастается вновь, зарождаясь в одном из дворов и распространяясь по всему посёлку со скоростью цепной реакции. Это всё то же утро в своей активной, безудержной стадии. Упирающиеся дети, раздражённые мамы, опаздывающие студенты, непросветлевшие ещё душой работяги, все бегут, бегут, чешут, валят толпой, жмут, шуруют. Обсвежённые утренним туалетом, обильно облаянные, заполняют автобусы и плотной группой отъезжают, в унисон покачиваясь в салонах, словно отсчитывающие такты певуны из хоровой студии.

Всё неработающее население посёлка, включая меня, дождавшись звука последнего, прощального выхлопа, облегчённо вздыхает и начинает готовиться ко сну.

### **Inertia mater<sup>4</sup>**

Я не работаю. М-м-м, как бы это пояснее выразить? Я ничего не делаю. Усталость воли – гадское заболевание. И разное, между прочим. Вирус лени неторопливо и вяло разносится кровотоками по всему организму и, позёвывая, достигает кончиков пальцев. Теперь даже ткнуть ногтём в клавиатуру – ужасный труд. Разговоры о делах вызывают тоску. А как глупо звучат оды друзей, посвящённые своей работе: «Я памятник себе воздвиг, ну просто офигенный!..» Причём чем ответственнее труд и тяжелее ноша, тем более значимым одописец себя ощущает. Чудак человек! Хомут ты себе воздвиг, а не памятник!

<sup>4</sup> Лень-матушка – лат.

В Писании сказано: «За грех свой будете добывать хлеб свой в поте лица своего». Вот. Значит, труд всё-таки – наказание Божье. Люблю потеософствовать. «Теософия» – слово какое мягкое. Будто шепчет: «Иди сюда, умаялась, приляг вот на софульку, уткнись носом в пухлик, помурлычь, похрюкай, это ведь так приятно».

Кто-то там сказал: «Жизнь – это кино, а люди в нём актёры». Хорошо сказал. Вот и я – созерцаю чужой труд, словно кино смотрю. Ничего себе фильм выходит, в общем. Особенно захватывает, когда в процессе развития сюжета начинают за тебя выполнять твою же работу. Так увлекает, что даже хочется покритиковать, поруководить, но только начнёшь – всё удовольствие сразу куда-то улечувчивается. Тогда быстро говоришь себе: «Конец фильма» – и переворачиваешься на другой бочок.

А за окном... Кстати, что же там за окном? Снег? Гололёд? Заневестилось окно, зазанавесилось, да и далеко до него, не доползти мне. Грязь там, наверное, непролазная, слякоть, серость, туман. Ворона одиноко сидит на ветке и размышляет: «Есть ли Бог?» Теохульствует<sup>5</sup>. Переминувшись с лапки на лапку и зевнув, решает: «Не-а, нет его. Был бы, послал бы мне кусочек сыру. Жалко, што ль? Кар-раул, прямо, а не жизнь».

Сперва-то у меня была софа. Лежишь, бывало, на ней, как стрекоза наколотая, из коллекции насекомых. Ни поперёк лечь, ни с боку на бок перекатиться. И муравей этот мой чёртов рядом крутится: «Что, мол, делаешь? Поёшь? Поди-ка, мол, попляши». «Да иди ты!..» – думаю, впрочем без особой злобы. Злиться тоже лень.

Но это всё раньше было. Потом купила диван-книжку – полигон счастья! Раздолье! Раскинешься на нём – и ощущаешь безразмерность пространства; словно летала долго и высоко, а потом мягко приземлилась. Необъятная диванная степь дышит теплом и покоем. Надо мной созвездиями мерцает и переливается во всём своём великолепии хрустальная люстра. Решаю заняться люстрономией<sup>6</sup>. Призажмуриваю глаза и рассматриваю каждую хрусталинку, пытаюсь определить её настроение и характер. Потом перехожу на люстрологию<sup>7</sup>. Слегка поворачиваю голову, провожу наблюдение: ага, лампочка в данный момент

<sup>5</sup> Теософствуя, богохульствует.

<sup>6</sup> Вероятно, раздел астрономии – «природа и местонахождение светил и светильников». Впрочем, не уверены и оставляем это определение на совести автора.

<sup>7</sup> А это вообще чёрт знает что.

находится в созвездии Жёлтого Какаду. Что это значит? А это значит, что, встав завтра утром с дивана, вы наделаете множество глупостей. Выйдя из дому, вступите в грязь. На вас насвистит милиционер. Вас обзовут дурой в магазине. Вам перейдёт дорогу худая чёрная недоенная корова. А потом ещё... Да чего же вам ещё? Мало, что ли, этого? Поэтому – лежите и не трепыхайтесь. Лежу.

Вот опять приполз мой муравей. Неопределённо шевелит лапками, вероятно, пытается что-то сказать. Но слова у него, кажется, уже кончились. А то бы я ему ответила... Вы думаете, у меня неравный брак? Несимметричный? Я – балласт, а он – воздушный шарик, который всех вытягивает к свету в одиночку? Как бы не так. Ещё одна, новая, люстра в разобранном виде лежит без внимания второй год. Сверхновая хрустальная галактика, не успев вспыхнуть, тускнеет и обрастает космической пылью. Обналичка окон у нас продолжается уже лет семь. Двери мой муравей установил в сжатые сроки – за четыре года! Ударник! Покоритель пятилеток! Фонарь на стену дома он вешал восемь лет! Лампочку в фонарь так и не ввернул. Боюсь, что жизни моей не хватит, чтобы увидеть результат всех его новшеств.

Да. Так вот. Захожу я на кухню. Я там часто бываю, вообще-то. Праздно шатаюсь, отдыхаю от дивана. Хорошее место, светлое, пахнет приятно. Холодильник встречает меня, наполненный внутренним содержанием. Освещённая его утробным сиянием, неторопливо достаю продукты. Разогреваю курочку-гриль в лечо с гарниром из риса, тушённого с репчатым луком и морковкой. Курочка обильно напичкана чесноком и зеленью. Ем. Получаю массу приятных ощущений. От удовольствия тянет в сон, глаза медленно закрываются. Нервная система отдыхает.

Пробышаюсь рано. Продолжаю сочинять ещё вечером начатый опус к бракосочетанию племянника: «Дорогие наши Вася и Лена!» – хорошо получилось, правда? Громко, фанфарно! Что бы сюда ещё присовокупить? Про Васину работу и Ленину квартиру, кажется, распространяться не стоит. Зачем мутить расчётом свежие воды высокого чувства? «Гляжу я на вас, молодых, и завидую». Это муж будет глядеть и завидовать. Он ведь на свадьбу едет. Я – нет. Зачем? Я уже своё отзавидовала, мне и дома неплохо. Написала ещё что-то про семейное долголетие и детей полон дом. Кратенько получилось, но свежо. Необычно

даже. Искру высекла. Вырядила его в новый костюм, ни разу ещё не надёванный, и отпустила с Богом. Зевнула. Глянула на дочь. Доча у меня. Деловая. Работает в рекламной компании. У неё сегодня промокация<sup>8</sup>. Приготовила ей салат с кальмарами, сделала укладку, дала денег на транспорт, на обед, на вечернее свидание в кафе, на кинотеатр, на мобильную связь. Итого: выданная на руки сумма в пять раз превышает дочкин сегодняшний заработок. Проводила до ворот, вздохнула.

Нет, спать пока ещё нельзя ни в коем случае. Мои породистые персидские и британские кошки выстроились в очередь, чтобы выразить мне своё безграничное почтение. Влюблённо урчат и, кажется, не находят себе места от восторга. Ешьте, родные! Вот тут паштетик, а вот здесь вдобавок куриная печёночка сервирована вперемежку с потрошками. Угощайтесь. Есть ещё дворовая собака Пуся. Та с удовольствием съедает макарон по-флотски две порции.

Все счастливы? Ну, слава Богу! Теперь я свободна. Диван, встречая меня, тихо и облегчённо вздыхает. Я окунаюсь в безразмерность пространства, жёлтым какаду взлетаю над диванной степью и парю высоко и почти бесшумно. Хрусталины озорно подмигивают мне и, покачиваясь и касаясь друг друга, издают мелодичный звон: «Тень-день-тень». Я вслушиваюсь в эту простую мелодию и пытаюсь в такт подпевать: «Лень-лень-лень»... Где-то далеко, в совсем другом мире, плачут сосульки, негромко всхлипывает слякоть и мокрая ворона уныло клюёт серый, потемневший от ненастья снег.

### Круговорот пьяни в огороде

Классик как-то спросил себя и всех нас: «Где конец того начала?...»<sup>9</sup> Что конкретно он имел в виду, не берусь определить, но полагаю, что выразился он так по поводу: когда, дескать, наконец прекратится этот – на букву «б». Беспредел – хорошее слово, а вы что подумали? Отвечу классику: «Да никогда!» Круговорот – вещь упрямая, научно обоснованная. И конец того начала является началом следующего конца. Если

<sup>8</sup> Здесь ошибка. Нужно читать: промо**А**кция. Однако автор настоял на оригинальном прочтении. Темнота!

<sup>9</sup> Настоящий автор классика, кажется, читал очень поверхностно, невнимательно.

за домом срублена банька, места вокруг навалом, то почему бы в этой баньке не мыть всех желающих за соответствующую плату? Где баня, там водка и всё остальное. Индустрия развлечений процветает и дышит прямо за забором. У как раз того самого соседа, что смотрит на меня по утрам тяжёлым взглядом. Звать его Николаем, жена у него – Виктория. «Что ж так пышно?» – спросите. Что сказать? Повезло Николаю. Викторию взял. Взял неплохо. В приданое пошло многое: все её закидоны, её необыкновенный темперамент, а ещё подозрительность, мнительность и ухватистость. Полный букет.

Баню соседи не рубили. Где уж им? Временщики они. Сегодня не помер – уже хорошо. Баня эта бывшая (опять о бывшем!) – моя. Я её лепила, я её ваяла, я её лелеяла в своих мечтах. Затем, используя наёмный труд, присваивала прибавочную стоимость. Баня получилась капитальная от низа и до самой макушки. «Ляля» необыкновенная! Фундамент плотненький, брёвнышки стройненькие, одно к одному, печка внутри ладненькая, чистенькая, черепичка на крыше аккуратным пасьянсом разложена. Выйдешь вечером из раскалённой, пахучей русской баньки, и заискрится в глазах, а чёрный кофе вечернего неба словно кто-то сливками разбавил. Глянешь в зеркало – и видишься себе облаком, невесомым и прозрачным. Сразу садишься за чай с плюшками, чтоб совсем не испариться, наполнить призрачную форму конкретным содержанием, чтоб приземлиться и восстановить гравитацию. Плюшки с мясом – это самое что ни на есть... Отвлеклась.

Продала я кусок своей земли соседям вместе с баней. Прижало меня, вот и продала. Соседи Лялю мою тут же страшно полюбили. Только что хороводы вокруг баньки не водили. И начался у них круговорот. В моём бывшем... (Тьфу, надоело слово это дурацкое!) в моём когдатошнем огороде.

Да, и наступает тут как раз, значит, прошлое лето. Наступает, и такая прямо жара идёт, что хоть вешайся. И повеситься, заметьте, хочется не где-нибудь, а в рефрижераторной – рядом с мясными тушами. В холодке. Так. А этим соседям – хоть бы хны. Не берёт жара их. У них в эту пору самый бизнес разворачивается. И главная изюмина, хрусталина этого бизнеса – моя Ляля. Образуется, таким образом, помывочный беспредел. Все прут и лезут в эту баню словно с детства не мылись. И общежитские валят (общежитие тут у нас есть в посёлке для безземельных). И магазинские ковыляют. И родственнички всех

мастей и обличий заявляются. Идут все гурьбой, коллективом. Компанией и мыться веселее, и выпивать сподручней. И завтра идут, и сегодня, и третьего дня.

И стоит Ляля моя, как фаршированная утка, как набитый под завязку маршрутный автобус. Не то парит, не то дымит. Обалдела от начинки, от волосатых, потных рож и задниц. Диалоги внутри Ляли разворачиваются сами собой, как рулоны туалетной бумаги с повторяющимися блёклыми узорами:

– Эх-х-х-ыть! Што стоишь, как кол? Плесни-ка, ну!

– Да слезай ты уже! Осьминог варёный! Дай-ка я теперь прилягу.

– Нальёшь – слезу.

– Самообслуживание тут у нас. Скатывайся.

– Быв-вали и-эх дни, да и-эх гулял я молодцом, где ж оно начало то и-эх всех концов?!

– Поёшь, чёрте, шут знает что!

– А-а-а, песня такая, называется «про вообще». Это весёлая, значит. А я ещё грустную пою, та называется «эх, зачем».

– Репертуар, мать. Ну, слезай давай. Гони вон наружу, побегай, остынь.

– Плюс тридцать восемь на дворе, ты чо?! Эт токо согреться разве<sup>10</sup>.

Я в это время сижу в холодке, читаю газету. Так, мура всё. Цены, индексы, валовой продукт. Кто к кому от кого ушёл. Ходят друг от друга, мечутся. А получается тот же круговорот. И Михалков ещё мигалку свою никак не отдаёт. «Мигалков»... Шарах! Ойк! Ляля вздрагивает всем корпусом и выплёвывает наружу распаренных клиентов. Те, естественно, голые, как есть в натуральном виде. Бегают по огороду, нечленораздельно орут, соря междометиями, топчут огурцы, мнут полуувядшую свекольную ботву. Чертыхаюсь, ухожу в пристроечку, подальше от соседского забора, от этого назойливого генитального перезвона. Взрыкивает чей-то мотор, за ним другой. Всё ясно: в магазин рванули за водкой. Слышу запах с мангала. Вином окропляют, черти! Знают же, как правильно зажарить! Ляля охает опять: новая партия лезет мыться, словно пчёлы в улей. Предыдущая группа членистоногих вредителей уже набегалась по огороду и

<sup>10</sup> Автор серьёзно полагает, что приведённый набор слов и выражений соответствует активной реальности. Не могу я, прямо! Где он только этот диалог зачерпнул? В бане или в буфете Третьяковской галереи?

слегка уgomонилась. Сейчас за шашлык сядут... О, слышу: курьеры возвращаются из магазина. Я, кажется, вот-вот начну повторяться. Что поделаешь? Круговорот – штука циклическая.

**Дать кому-нибудь в лоб – это ещё полдела, гораздо важнее почувствовать суть и значимость содеянного**

Виктория пришла, соседка. Пожаловаться и в глаза мне поглядеть. Выведать мои мысли, мои тайные намерения в отношении её мужа. Народная дипломатия, одним словом. Учивость и сообразительность в таких случаях – самые важные вещи. Сразу садимся за чай с ватрушками. Начинаем беседовать на отвлечённые темы: «автомобиль, шифер, телевизор, цены на газ, на бензин, Николай шарахнул молотком по пальцу и теперь демонстративно сидит дома третий день, лечится Кедровкой и скушает». А-а-а, осторожно подбираемся, значит, к объекту нашего с ней вожделения.

– Не муж, – подытоживает Виктория, – а пустое место в чистом поле. Кому такой вообще нужен?

Быстро ухватываю нить и тональность темы, запеваю про своего:

– И мой тоже, – говорю, – на работе спит, дома спит, телевизор не смотрит, со мной не общается. Вакуум, а не муж...

– Да ты что, ты что! Твой хоть...

– Нет-нет-нет, ты не защищай! Такого расплюя ещё поискать.

– Вот вечно ты, соседка! Этого хахаля, что напротив, значит, бросила. Другого сейчас бросишь. Не напасёшься на тебя! Всех соседов перещупаешь этак...

Э-эх, маху дала! Чувствую теперь. Не то говорю. Мой, значит, алмаз. С ним должно быть лучше всех. Налево, мол, никак не хочется. А её Николай мне, дескать, и задаром не нужен. Понятно. Исправляюсь на ходу:

– Ну, вообще, конечно. Это я погорячилась где-то. Это на холоде он такой индифферентный. Спячка у него. А как отогреется к весне ближе, к лету – так и добрый, и ласковый, с ним, прямо, жить хочется.

– Ну, вот и я говорю. Вот я и...

– А твой – прощелыга. Никудышный. Кому такой сдался?

– Сдался... Конечно же, – неуверенно уже подхватывает соседка.

– Таскается по чужим домам, шастает, своего холодильника ему мало. Алкоголик! – продолжаю развивать мысль.

– Ну, ты, вообще-то, не очень. Он всё же...

– Да что ты мне говоришь! – горячусь я, запоздало чувствуя, что на этот раз забрала сильно вправо. – Оглloed! Харю наел.

– Харю наел?! – возмущается вдруг Виктория. – Да ты на себя-то... Вы-ыходит она на двор! Разрез у неё по самый вот... Стыд! Стыд! А этот смотрит! Наблюдает! Фантазирует.

– Когда это было? Ты что!

– Было... Да я ежедневно гляжу на этот... на эту... на это... – соседка, не находя нужное слово, упирается обеими руками о край стола, словно пытаюсь привстать.

– Так, – говорю, – минуточку. Если ты собираешься дать мне в лоб или ещё куда, предлагаю с этой целью выйти на улицу, потому что бить меня в моём же собственном доме – эт-то уже свинство.

– В лоб как раз не поможет, – справедливо замечает соседка. – Поболит и пройдёт. А процесс останется.

– Да какой там процесс! Виктория! Подумай логически.

– Я в последнее время только тем и занимаюсь, что думаю логически. Голова уже не своя. Ты плюшки как делала?

– Да вот так и эдак, – объясняю. – С чаем идут хорошо, правда?

– Правда... Так вакуум, говоришь?

– Пустое место в чистом поле...

Вечер осторожно заглядывает в окно и не может на нас нарадоваться. Такие мы пышные, ладненькие. Сидим душевно, едим плюшки. Телевизор дурным голосом поёт нам про любовь и ревность. Вечная тема, как я погляжу.

### **Прокати меня, милый, на экскаваторе**

Как наступала весна в прежние времена? Элементарно. Гонимы внешними лучами, бежали мутными ручьями с окрестных гор снега. Прилетали грачи, суетливо рассаживались у проталин и умело, с достоинством позировали Саврасову. Отремонтированным паровозом гудел весенний шум, и сады весенние

стояли словно облитые не то молоком, не то сметаной. Весёлое и жизнерадостное время года взметалось птицей, расцветало ландышем и сиренью. А сейчас? Выйдешь к калитке, выглянешь наружу: не то есть она, не то нет её. И не весна вообще, а так – прогноз погоды. Температура, осадки, облачность, солнечная активность, радиационный фон. А счастье где? Где любовь, я вас спрашиваю?..

Стою так, размышляю. Вдруг, неожиданно, биополем ощущаю: наступило частичное солнечное затмение. Что такое? А-а, ну ясно: Александр Ерофеевич пожаловал, мать честная, на экскаваторе! Ковшом своим заслонил светило. Гуднул, тормознул, вылез, лыбится:

– Эй, соседка, давай копну у тебя в огороде, проверим, как работает.

– Я те копну! – говорю. – Отваливай. Загородил тут всё своим металлоломом.

– Учти, – предупреждает, – с завтрашнего дня копаю только за деньги. Бизнес у меня теперь. Плата по таксе, бешеные расценки. Так что – лови момент. Позже смогу только прокатить. Сгонять до магазина, если срочное что.

– Где ж ты взял чудо этакое? – спрашиваю.

– Взял, – усмехается. – Да я его ваял, как Вера Мухина или кто там ещё. Груда запчастей была, а теперь, гляди, ездит, копает. Я так подумал: этот раздолбаю, потом квадроцикл построю. Точно! Или дельтаплан. Не решил пока.

Александр Ерофеевич Свекольников, мой предыдущий супруг, полюбуйте! Экскаватор он собрал в свободное от паразитизма время!

Меня всегда терзало ощущение, что дорога, которую я вижу, выглядывая из-за калитки, и есть дорога моей жизни. Только я по ней ленюсь идти и лишь перехожу её время от времени, и перехожу, кажется, в неположенном месте.

Давным-давно, в прошлом веке ещё, жила я с нынешним мужем моим, с дочей, мылась в бане и планировала в ближайшие лет двадцать медленно состариться, но произошёл несчастный случай: взор мой упал на Александра Ерофеича. Блуждал-блуждал бесцельно взор мой и вдруг упал. На могутную на его спинущку, на золотые на его кудри, на крепкие на его такие-сякие плечи. И дёрнула же меня судьба, решила я опереться на такое вот плечо, собрала вещички и пошла-побрела через дорогу к Добрыне этому, к Никитичу. Там и осталась. Думалось, навсегда.

Как же он меня замучил в наши с ним окаянные годы! До помутнения рассудка! Замучил по всем направлениям. Я та-скалась с ним по инстанциям, выбивала ему долю в наследстве. Вникала во все его технические придурости и начинания. Приводила в порядок его дом, его самого и его мысли. Я потратила на этого Илью Муромца все свои силы и все свои слабости. Вдобавок ко всему ещё я устало и отрешённо приходила в аптеку и говорила фармацевту:

– У моего мужа – виагра. В тяжёлой форме. У вас есть что-нибудь от этого?

– Подагра, вы хотели сказать?

– Нет, виагра. Выдающийся интимный ажиотаж, граничащий с безумием.

– Ах, это. Только оно называется по-другому.

– Послушайте, меня не интересует, как оно называется. Меня интересует, как с этим бороться.

– Хм, а вы не пробовали... ну, скажем, одеваться несколько попроще, что ли, менее выразительно?

– Это вы советуете мне, женщине?

– Так, ясно, тогда берите снотворное.

– Мне снотворное?

– Обоим. Таблеточку вам и пять ему. Потом ложитесь и ждите. Должно помочь...

Я покупала лекарство, принимала курс лечения, мне помогало, ему – нет. Во время моего сомнологического отсутствия Алёша мой, Попович, пристрастился бегать по бабам. Как сейчас помню: в один прозрачный, солнечный полдень на крыльце что-то стукнуло, упало, покатилося и заглохло – то ли ведро, то ли моё счастье. Отворилась дверь, и лучезарно явилась Свекольников, ещё с прошлого утра выпавший из контекста семейной жизни. Разбуженная этим явлением, я зевнула и внезапно ощутила, что у меня совершенно отшибло чувство ревности. Мне вдруг стало абсолютно всё равно, где он шатается и с кем. Я ему об этом тогда же и намекнула. Он без разговоров дал мне по шее, намекнув тем самым в ответ, что я ещё обо всём пожалею. Я поняла, что так оно и случится: пожалею обязательно, если немедленно не расторгну брак с этим Адольфом Шварценеггером. Тихо собралась и вышла из этого чувства, как выходят из душа с намыленной шеей, когда внезапно кончается вода и что-то потустороннее злое пошумливает из крана.

Ушла я недалеко: протоптано было уже. Дорогу опять перешла и устроилась. Чего, думаю, далеко за счастьем ходить? Вот оно тут, рядышком: кривое, прошлое, но моё. Подумала ещё: «Как же это мы с Александром-то Ерофеевичем встречаться будем теперь? Глаз не поднять ведь, не поздороваться, вот ситуация». А он эту закавыку очень легко разрешил. Является через день после развода в гости.

– Как устроилась на новом месте? – спрашивает.

«Ну и ну», – думаю.

– Дело тут такое, – сообщает он, не дав мне опомниться. – Автомобиль ваш, вижу, пылится во дворе. Дай поездить. Бизнесом займусь. Прибыль пополам. Идёт?

«Вот так да!» – ещё раз подумала я.

На этом все мои мысли закончились. Размышлять стало некогда. Обнаружила я вскоре, что у меня, оказывается, теперь две семьи и надрываться нужно уже на два фронта.

– Ладно, – соглашаюсь, залезая в кабину экскаватора к Свекольникову. – Заводи. Сгоняем в магазин, а потом копнёшь у меня в одном месте у сараев. Надо же, действительно, проверить, как работает.

### **Про секс с мужчинами и другие грустные воспоминания**

Даже не знаю, с чего начать. Воспоминания – это очень хрупкая и изменчивая материя. Со временем от неё откалываются и рассыпаются в прах целые куски, а те, что сохранились, постоянно видоизменяются, мутируют в зависимости от погоды, настроения или образа жизни. Встанешь утром, и, если сон не забыт, все события, даже самые дурацкие и несурзные, увиденные во сне, кажутся вполне реальными и случившимися когда-то в прошлом.

Сплю, например, однажды и вижу, как супруг мой нынешний любезничает с Танюшкой. Не теперешней, которая вечно стоит, качаясь, как тонкая рябина, а давнишней, молодой. Паразит! Немедленно просыпаюсь и, пока муж ещё спит, хочу его за такую подлость тут же прямо и придушить. Однако чувствую: есть вроде бы вероятность, что не было такого, – сон всё же. А сдержаться не могу, словно бывшее вспоминаю. Кое-как всё-таки себя успокаиваю и мужа не трогаю, лишь расталкиваю его, спящего, и гневно говорю:

– Как же ты мог, сволочь!?

– Чего мог-то? – спрашивает, глаза продрав.

– Бестолочь! – отвечаю. – «Чего-кого, кому-почему». За-  
ладил. Муж должен с полслова, с полвздоха понимать, если он  
настоящий...

И так далее. Я с ним часто в постели беседую на тему  
«о любви и дружбе». Он смышлённый у меня, не пьёт же. Мои  
речи не конспектирует, но на ус, кажется, мотает.

И всегда так спохватываюсь о разном: «Ой, было это  
или привиделось мне?» А вы говорите: воспоминания. Надо-  
ело всё. Что именно? Да всё!

Слыхали? Вчера кто-то там за роман «Ощущение кон-  
ца» в сто пятьдесят страниц получил сто пятьдесят тысяч дол-  
ларов, премию Букера. О, даёт! Да у меня это ощущение пол-  
ного приветства присутствует постоянно! Я этот финал ощущаю,  
как никто другой, может, и никто мне за это... Я про Букер  
случайно вчера же по радио в машине услышала, да не до-  
слушала, потому что в этот момент мой муж «Лэнд Крузер»  
стукнул.

Прервалась я. Бегала открывать. Соседка по невянтно-  
му поводу заходила. Муж ейный, наверное, дома отсутствует.  
Проверяла, не у меня ли. Не дождётся...

Так о чём я? Прочла последнюю запись про то, как муж  
«Лэнд Крузер» стукнул, и вот сейчас же размечталась, расфан-  
тазировалась. Будто бы этот «Лэнд Крузер» – наш был, а муж  
мой его стукнул об оградку какую-нибудь или дерево, напри-  
мер. Пятнышко копеечное на корпусе выцарапалось. А с дере-  
ва что возьмёшь? Не матерится оно, не орёт дурным голосом,  
не бегаёт вокруг машины и не грозитя разорвать нас на мел-  
кие фрагменты. Идиллия...

Мне уже стучат тут в затылок. Жизненная правда сто-  
ит позади меня и усмехается: «Алё, ты чё? Прекрати!» Чего это  
я, действительно?

Было ведь иначе: муж стукнул чужой «Лэнд Крузер». Хозяин «Крузера», которого я тогда же мысленно окрестила  
Крузерштерном, заламывая руки, метался вокруг места про-  
исшествия, как смертельно раненный Гамлет, и называл нас  
«нежилъцами». Я хотела тогда же сразу купить ему баллончик  
краски и на пятнышко на копеечное прыснуть. Крузерштерн

на это гомерически, дьяволически хохотал и, как заклинания, выкрикивал режущие слух суммы...

Опять соседка притащилась! Да ё-моё! Зайди уже! Ну! Зайди и сядь тут, а я за молоком пока сбегаяю. Твой придёт если, а ты его р-раз – и застукаешь у порога прямо. И в лоб ему за разбитую жизнь... А если не придёт? Ну, ты даёшь, соседь! Так это хорошо же! Верный, значит. Или ещё вариант: к другой, возможно, пошёл по траве некошеной. Не там ищешь тогда.

Иду за молоком. Дышу воздухом, размышляю.

Надоело всё! Я уюту хочу, комфорта. Душевного. Я же городская. В посёлок первый раз лет в двадцать пять только и попала. Теперь мне вся эта экзотика уже поперёк горла стоит. Надоела их гонка: у кого дом выше, у кого земли больше.

Первым делом, помню, как приехала, я маленький домик у себя на участке в аренду сдала. Все ахнули: развалюху-то! Всем посёлком смеялись, когда я домишко снаружи красила. А когда с него деньги пошли, забеспокоились. Потом я самосвалы завела, грузоперевозками занялась. Посёлок роптал и копил деньги на самосвалы. Покупали уже тогда, когда кризис назревал и я от этого металлолома избавлялась. В то время цены на землю взлетели, я кусок участка выставила на аукцион; соседи же решились землю продавать, когда цены на неё упали. Потом явился кризис, деловая активность замерла совсем. Я поразмыслила и открыла адвокатский кабинет, вокруг ведь делёжка наследства идёт, все ж родней живут, колхозом. Ко мне и пошли: «Спаси, не дай погибнуть...» Вот так и живём: не поспевают они за мной соображать. Александр Ерофеевич, тот вообще, как вражеский шпион, идеи мои крадёт, мысли мои ворует. Стяжатель. Является в гости с диктофоном в кармане, а уходя, потихоньку вытаскивает и прячет его у меня. Потом один забирает, а другой подсовывает. Я уже сколько раз находила, а он говорит: выпал, мол, случайно. Что значит «случайно»? Как будто диктофоны теперь в карманах носят вместо сигарет! Врёт без конца! Вы думаете, у меня мания? Преследования? Ох, если бы так!..

Возвращаюсь домой, батюшки-светы! Полная трагизма сцена! Виктория стоит над Николаем и пригвождает его своими речами к косяку моей двери. Чувствую, что и мне сейчас

достанется. Николай, на беду свою, вернулся с приработка, а дома – никого. Что такое? – подумал. Ждал-ждал, выглядывал. Танюшка мимо шла, сообщила ему, что супруга его час назад была замечена у моей калитки. Он ко мне и попёрся выяснять. Следопыт. Этот опрометчивый шаг его и сгубил.

Про секс забыла, ах ты! Да ничего, напишу ещё. Вот только сон от яви отделю, чтоб не завратъся, и напишу<sup>11</sup>.

Мельбурн, Екатеринбург, 2011

---

<sup>11</sup> Продолжение может и должно последовать, потому что никто из персонажей пока ещё не умер и не собирается...



# ПОЭЗИЯ-II

Люксембург, США, Россия

## Марина Гарбер

### (ЛЮБОВЬ)

\* \* \*

Мы опять уходим в подвалы и катакомбы,  
В ожиданье подвоха, Мессии, последней бомбы,  
Залезаем, дрожа, друг под друга, под одеяла,  
Простираем руки, как веточки краснотала.

Наш беззвучный язык – лоскуты остролистной ивы,  
И пупырышки эти – ожоги степной крапивы,  
Ты и аз – это вяз, неподъемен и прутьевиден,  
Потому под тобой – мне, всевидящей, путь не виден.

Только вижу, как голые почки растут на теле,  
Пробиваются листья в марте, плоды в апреле,  
Только – завязь, нектарник, у черенка прилистник, –  
Это райское дерево нашей подземной жизни.

А над нами дома задыхаются, стонут, рвутся,  
Слышишь, чьи-то глаза разбиваются, словно блюдца,  
Вперемешку – портреты, пейзажи и натюрморты,  
Чьи-то свадьбы, измены, похороны, аборт...

Нас никто не найдет – и не надо о них, не надо! –  
Даже хмурый садовник, что нас изгонял из сада,  
Всяк теперь в одиночку, захлопнулся и не ропщет,  
Даже самый последний сдуревший бомбардировщик.

Застывает планета, как голова на блюде,  
Я вдыхаю тебя: я-люблю-тебя, я-люблю-те...  
В темноте, наобум, вслепую и неумело,  
Только знаю, зачем мне ты и зачем мне тело:

Где последняя бомба буравит в земле воронку,  
Там любовь сквозь меня прорастает как сквозь щбенку.

## (Любовь)

Она умела любить, как любят в большом кино  
(это раньше читали мир, как роман),  
на окно натягивалось накрахмаленное сукно,  
получалось широкоформатно – во весь экран.  
Иногда выходило вычурно и картинно,  
реже – без звуковых эффектов и глянца,  
то Eastman Color от Квентина Тарантино,  
то сплошной апогей от неистовых итальянцев.

Любила по-разному – без имени и лица,  
как мальчика, нежно, по-матерински,  
или как дочь любит эрзац своего отца  
(так Мастрояни любила Настасья Кински  
в «Аттестате зрелости»), а когда пелена  
случайно сползала с оконной рамы,  
любила, как должна бы любить жена,  
то есть скучно (здесь могла быть ваша реклама).

«Никакой вторичности!» – наставлял ее режиссер,  
менял освещение, передвигал мебель и стены,  
понимая, что если схлынет потоп, догорит костер,  
героине придется сойти, наконец, со сцены.  
Он чаще молчал, – то жестом, а то кивком  
режиссируя, но обычно хватало взгляда,  
чтобы она ходила по проволоке под потолком  
(одомашненный вариант «La strada»).

Он останавливал фильм, отснятый почти на треть,  
вырезал, монтировал, всё начинал сначала,  
дубль за дублем, – но если просил ее умереть,  
каждый раз неподражаемо умирала!  
Он сворачивал декорации и выходил на свет,  
вдалеке – животами на прутья ложились тучи,  
и мечтал, что когда-нибудь она ему скажет «нет»  
(как мечтали Поланский, Аллен и Бертолуччи).

\* \* \*

Где тот январь, где холодок хваленый,  
Какой синоптик жмет на тормоза?  
Под белым цветом мается зеленый,  
И от ворон шарахаются клены,  
Зажмуривая мокрые глаза.  
В затопленных окопах вдоль дороги  
Плывут по дну пустые челноки,  
Знакомый вяз, сухой и колченогий,  
Мне под ноги бросает некрологи,  
Написанные наспех от руки.  
По-люксембургски или по-немецки –  
Достать средневековые рожки,  
Нахмуриться и пить глинтвейн соседский,  
Пока пускает мальчик деревенский  
По вывескам стеклянные снежки.  
Антеннами прощупывая воду,  
Дом-сом глядит замыленным глазком,  
К нему дорога – пень через колоду,  
Но кто-то здесь бродил, не зная броду,  
Кромсая лед бездушным каблуком.  
И я пройду – сквозь лес, через границу,  
Как нить в ушко, как веточка в петлицу  
Сиреневая – этой ли зиме  
Повелевать, где реять, где гнеститься,  
В каких грехах расписываться мне!  
Ложится снег – на плечи, на глаза мне,  
Но вижу, как в задымленном окне,  
Хватая соль свинцовыми губами,  
Крестясь, старуха закрывает ставни  
И исчезает в световом огне.  
О, бытие на праздники скупое,  
Мне не страшна глухая сторона –  
Колодец, тын, телега на простое,  
Бабаево, а может, Бологое –  
Какой Адам давал вам имена?  
Не тот ли мальчуган в крапленой шапке,  
С сухим букетом веточек в руках,  
Субтильный светомир на трех китах, –  
Он тоже нынче ощущает страх  
И что-то видит в костяной охалке.

\* \* \*

Кирпичный угол, резкий поворот,  
двор-книга, во дворе – Оле Лукойе,  
и отдано под сад и огород  
еще дымящееся поле боя.

Мука в мешке, и мне на пальтецо  
снег сыпется и сыпется сквозь сито,  
так облака вонзаются в лицо  
и в голову под котелком Магритта.

Я захожу в стеклянные сады  
и на стволы бросаю отраженья,  
чтоб составлять вишневые ряды  
в зеркальные слова и предложенья,

чтоб после лепетали «красота»  
не отмерзающие снегочеловеки.  
Но я груба и речь моя проста,  
как ниточка, сшивающая веки

обычных обывателей – так Дант  
их жадные глаза колол иглою!  
Снег – это снег, стремительный диктант:  
-жи/-ши, дыши... Вдыхай, что Дафнис Хлою,

весь этот город, зимний кавардак,  
холодный, как пальто с плеча чужого,  
как брошенный просящему пятак,  
в глухой сугроб сорвавшееся слово

с прозрачной ветки – смелется потом  
в сухой остаток в чреве кофемолки,  
так в январе хрустят под каблуком  
шары и прошлогодние иголки.

«Во времени потеряна в себе» –  
проставь же, ради Бога, запятые!  
Здесь статуя играет на трубе,  
там высятся надгробия литые,

здесь гробовая тишина, доска,  
венки, скупые слезы по отчизне,  
там крошит невесомая рука –  
на лепестки – пластмассовые жизни.

Лукойе брызжет сладким молоком –  
о, детский чудодейственный наркотик! –  
и я дышу легко и глубоко,  
вперяясь во вращающийся зонтик.

Здесь влажное и липкое зовут  
ничем иным, как светом и любовью,  
там «я смеюсь не я» – печальный шут  
с тревожным ртом и подведенной бровью.

### Рахиль

*Сыну*

Голову закинь, под облаками  
Яркий пламень загорелся – маков,  
Там чужие Исааку камни  
Обживал задумчивый Иаков,  
Медленно, по капле, терпеливо,  
Как в светильник заливают масло, –  
Почему же дальнейшее огниво  
Зажигалось и повторно гасло?

Почему стоящую напротив  
Вечные не мучают вопросы?  
Будто знает, сбудется Иосиф,  
Предпоследний, огненноволосый.  
Будто шьет пожизненное платье  
Из холодных листьев иван-чая –  
Так живут среди царей и братьев,  
Задыхаясь, а потом прощая.

Не спасет от зарева, от плена,  
Лишь отчаянно всплеснет руками,

От себя дойти до Вифлеема  
Ей не хватит травянистой ткани.  
В женственном движении, во взмахе –  
Недолет, безудержен и краток:  
Будут разноцветные рубахи  
Да снопы, клонящиеся на бок.

Будут жены – лии, зелфы, валлы –  
Без тепла, без трепетного света,  
Лишь кремня удары о кресало...  
А она – всю жизнь смотрела этот  
Странный сон, как в животе колодца,  
Озаряя каменное тело,  
Восходило маленькое солнце –  
И горело, Боже, как горело!

**Евгений Ракович****НОВОСЕЛЬЕ ОТЦА**

\* \* \*

Человек умирает. И остывает.  
В земле достывает, а в пустой комнате гудит.  
Потом долго молчит в тишине без верха и края.  
И вдруг появляется полунежданно – как ночной бандит.  
Но горла не режет, а наоборот, укрепляет,  
железным шарфом снаружи и чем-то своим изнутри.

Так и любовь. Она умирает. И остывает.  
В земле достывает, а в пустой комнате гудит.  
Потом долго молчит в тишине без верха и края.  
И вдруг появляется полунежданно – как ночной бандит.  
Но горла не режет, а наоборот, укрепляет,  
железным шарфом снаружи и чем-то своим изнутри.

Музыка умолкает. Уже не звучит, но молкнет.  
Только была – и нету, но все еще будто есть.  
Это ее отражение, бесплатное приложение,  
содрогает все так долго,  
что можно медленно сесть.  
И когда уже тихо-тихо, так давно уже тихо-тихо,  
она появляется полунежданно в безмолвии изнутри.  
И вот выходит наружу, черным ходом сквозь уши,  
и все вокруг видят краску, которой она горит.

Так и любовь, умолкает. Уже не звучит, но молкнет.  
Только была – и нету, но все еще будто есть.  
Это ее отражение, бесплатное приложение,  
содрогает все так долго,  
что можно медленно сесть.  
И когда уже тихо-тихо, так давно уже тихо-тихо,  
она появляется полунежданно в безмолвии изнутри.  
И вот выходит наружу, черным ходом сквозь уши,  
и все вокруг видят краску, которой она горит.

Ребенок плачет и бредит. Говорит о своей болезни.  
 В глухую несознанку всех за собой уводит.  
 Но в какой-то другой квартире, с языком железным  
 он просыпается взрослым, здоровым и незнакомым.  
 Все новое, явное, крепкое, на утро после смерти,  
 когда отец умер и нету. Заболел. Умер. И нету.  
 И ночью приснился здоровым, чистым,  
 белым, смертным.  
 В мягком опять переплете, на этом опять свете.

Так и любовь. Она плачет и бредит.  
 Говорит о своей болезни.  
 В глухую несознанку всех за собой уводит.  
 Но в какой-то другой квартире, с языком железным  
 она просыпается взрослой, здоровой и незнакомой.  
 Все новое, явное, крепкое, на утро после смерти,  
 когда он умер и нету. Заболел. Умер. И нету.  
 И ночью приснился здоровым,  
 чистым, белым, смертным.  
 В мягком опять переплете, на этом опять свете.

Девушка танцует. Одна в пустой квартире,  
 под самую самую грешную, бесстыдную попку.  
 По стенам жалких комнат летят куски гитары,  
 и волосы ее растут по полопотолку.  
 И что это за музыка! Ее любимая музыка!  
 Любимые звуки музыки и бас-удары в живот!  
 И все на свете умерло, давным давно все умерло,  
 и только в этом грохоте она одна живет.

Так и любовь! Танцует, одна в пустой квартире,  
 под самую самую грешную, бесстыдную попку.  
 По стенам жалких комнат летят куски гитары,  
 и волосы ее растут по полопотолку.  
 И что это за музыка! Ее любимая музыка!  
 Любимые звуки музыки и бас-удары в живот!  
 И все на свете умерло, давным давно все умерло,  
 и только в этом грохоте она одна живет.

### Новоселье отца

Сжимали меня твои руки,  
пока не превратились в каменные стуки,  
пока по длинной скатерти бежали,  
и не были еще скрижали.

Твое кольцо и твоя ширина ладони  
теперь лежат в моей темноте как резьба на троне.  
И вещи тебе подаренные мною  
стали моими опять, и наступают зимою.

Они покрывают снегом перила коры  
больного дерева-лавра и прах мошкары.

Ты шел по полю, и вышел с поля,  
и встал во мне триединым покоем.

Так, твоя душа, наконец, как хотела,  
нашла для себя другое тело.

### Последний ужин

Жил на свете человекобомж.

Ему облик мама заказала  
В ателье потусторонних рож.  
Много лет прошло с тех пор, и вот, с вокзала  
Он тележку с тряпками за талию ведёт.  
Сядет-посидит. И побредёт.

Парк наброшен, как платок на клетку,  
На холма старинную монетку.  
Мертвые лежат на небе фонари,  
Ноги вместе, руки изнутри.  
Человекобомж тележку с тряпками толкает.  
В луже темнота себя купает.  
Себя купает в темноте собой.

Залезть со всеми горожанами зимой  
Так жутко в это время в готовальню  
Подвала своего или чужого спальню.

О, горные дела, мне всё о вас известно!  
Как тесно, тесно поднебесно!  
На зеркало в ночной прихожей,  
В небесные прихожие не вхожей,  
По чёрной тверди парк стекает вешний.  
Лицо светло. Глаза крошечны.

Их бывший свет, с боков заужен,  
Приходит по окну на этот ужин,  
И по щекам уродов-фонарей  
Ведёт печати парковых полей.

Вот синева. Из глаз любимых  
Стекает в фотографий спелых сливы.  
Лежит пять лет, потом взлетает.  
И больше не бывает.

Дана Голина

ФУНИКУЛЁР НА ROOSEVELT ISLAND

Семиотика отчаянья

М. Б.

Отчего на тебя мне указывают флюгера,  
будто в воздухе трудном ты ветра рассадой рассеян?  
Стрелки точных приборов и взбалмошной мысли игра –  
всё в тебя упирается, как в магнетический Север;

я в случайных местах на твои натыкаюсь следы:  
расщеплённый на тысячи черт, из любого явления,  
бритвой, солнечным бликом, слепящим вкраплением слюды  
ты бросаешься прямо в глаза или под ноги тенью;

твой изломанный профиль сквозит в очертаньях горы,  
на которой, стеченьем светил и смешных обстоятельств,  
приютил меня на ночь, в дороге, мужской монастырь,  
где твоим тенорком наставляет меня настоятель.

Я, прощаясь, ему не прощаю твоей худобы,  
и твоим настроением портится утром погода;  
твои числа и даты, как инициалы судьбы,  
и в моей повторяются с закономерностью кода-

значит, двадцать второе... Бензин раздобыв, докачу  
до ближайшего города, названного в честь святого,  
в честь которого назван и ты; твой нечёсанный чуб  
резко влево метнётся на мотоциклисте бедовом,

и тяжёлые веки немислимых, мытарских глаз  
проступают рельефом глазков на коре заскорузлой  
придорожной осины, с которой, пристав, обнялась,  
чтобы вдруг за рулём не заплакать. Единожды узнан,

ты двоишься, роишься, дробишься на части дробей,  
ты творишься со мной

(если б только со мной, но с пейзажем!)

И тебя не спугнуть, не сморгнуть, и не сделать добрей,  
и порядок вещей твоим грубым вторженьем разлажен.

Все пути, все пустые попытки пути изменить,  
лишь приводят кругами

к единственной точке отправной;

заблудившись в стволах, упускаю обратную нить,  
и правдивость примет отличить невозможно от правды.

2011

### Непереносимое

Откатился потоп, входит жизнь в обмелевшее русло,  
овдовелая рифма пасёт беспризорный стишок,  
прописные понятия, сужаясь, трактуются устно  
и сорняк междометья пускает земной корешок.

И молчанья обет, вместе с даром вернувшейся речи,  
принимает душа, дабы глупый глагол не солгал,  
запустив метроном механический в левом предплечьи  
ритм держать и последствия переносить по слогам.

2012

### Фуникулёр на Roosevelt Island

Тягой струны, несущей ток  
и силой своего упрямства,  
одолеваю – на Восток –  
сопротивление пространства;

вишу в волшебном фонаре  
над тем, что понималось домом,  
теряясь в плоскостной игре  
и перспективе незнакомой;

и в этом ракурсе едва ль  
понятны мне былые меты,  
раз высю обернулась даль  
и рельсы в небеса воздегы,

раз, оторвавшись от земли,  
я по стальному нерву троса,  
вовлечена в огней разлив  
и втянута в игру без спроса;

клешнёй удержана в тиске,  
качаюсь Гефсиманской сливой  
на веточке, на волоске  
от многоярусного срыва;

огнями вышитый платок  
наброшен на препоны зренья –  
уходит город из под ног,  
*моим* переместясь движением,

и отступает, погода,  
ослабив притяженья догму.  
Плывёт, небесная ладья.  
В открытом космосе продрогнув,

заболеваю на лету  
через мелеющую Лету;  
причалив, расплачусь по ту  
сторону всем, что есть по эту.

2010

**Михаил Рабинович****ОБОРОТНАЯ СТОРОНА**

\* \* \*

И женщина с янтарным мотыльком  
на медленно дрожащем пальце тонком,  
таким горячим, в воздухе таком  
холодном, говорящая о том как  
все было, и собака, свою тень  
растягивающая до предела,  
и тот, кто б отпустил ее, но лень  
и страшно, если б тень та улетела,  
и мальчик, подошедший вдруг к окну  
другого дома, времени иного,  
и мотылек – все смотрят на Луну,  
которая за облаками снова.

\* \* \*

оборотная сторона увы, оборотная сторона увы  
скрыта тенью улыбки, а улыбка сама уже не видна,  
и чеширская кошка под музыку армстронга пьет до дна  
лунный свет, растворенный в печали с лимоном,  
которую вы,  
книжным словом увы пытаюсь унять,  
легкую сгладить боль,  
погладить хотя бы кошку в черной комнате –  
помните? – где ее нет,  
оставляете все же след на поверхности и включаете свет,  
как будто монетку подбрасываете,  
что может упасть стороной любой

\* \* \*

Помню брызги на лицах и тень на весле,  
но забыл, какой год, а сказать о числе –  
это выбрать из сонма молекул  
нужный атом, исчезнувший вместе с другим,

вырывалось весло из дрожащей руки,  
поднималось и падало в реку.  
Подчиняясь неловким движениям весла,  
нас на месте кружила, но все же несла  
та неясная, грозная сила,  
что запрятана в лодке, как в памяти – боль,  
в сонме снов поворот выбирая любой,  
на который река заносила,  
возвращаюсь я снова туда, где весло  
и волшебные брызги. Как мне повезло,  
думал я. Тень тянулась за тенью,  
день за днем, дни – за днями, их водоворот  
поглотил, сохранив эту лодку, и вот  
мы на ней продолжаем движение.

## Марина Эскина

### СПАСИБО ЗА УГЛЕРОД, КИСЛОРОД, АЗОТ

\* \* \*

Дерево раскрывает большие розовые цветы,  
в каждом живёт фея – уверяет дитя упорно,  
– не отворачивайся от простоты красоты,  
феи чистят зубы, спать ложаться, ходят в уборную,  
их какашки потом удобряют клумбу внизу.  
Дитя рассказывает, я смеюсь, но верю, смеюсь и верю,  
мы стоим, взявшись за руки, смотрим, и я грызу  
заусенец, как тогда, в заросшем сиренью сквере.  
Сколько солнца, мы залиты им, согреты, облучены,  
говорим на языке фей,  
родственников кролика, воробьёв,  
напитываясь любовью до последней излучины,  
целуя друг другу ладони, когда не хватает слов.

\* \* \*

В Лукке осенний день то – пасынок, то – любимый сын,  
тучи поднимутся, выйдет солнце или дождь зарядит?  
дикое ли яблочко, золотой апельсин –  
теперь одинаково раззадоривают аппетит.  
терраса увита зеленью, за стеной – городская тюрьма,  
там, в окнах под крышей, на решётках сохнут трусы,  
на стене – будки без часовых, да и стена сама  
не высока и колючей проволокой не грозит.  
Через два дома – больничка, выбеленная, как простыня,  
Святая Зита пытается страждущих там согреть,  
за больницей – фонтан, палаццо,  
соборной площади беготня,  
самое время выбирать: жить или сместь.  
Всюду краденый воздух – в лёгких, в строке, в судьбе,  
Ветер перехватывает дыхание, выгибает зонт.  
Сын я или пасынок скажут мне на суде,  
А пока спасибо за углерод, кислород, азот

\* \* \*

Один апокалипсис не отличить от другого,  
как слово ни пестуй в колючем и нежном цветке,  
тугие венки, их сплетённые в косы основы,  
сognут и притянут его к безымянной дуге.

А ласточек выпустишь вместе с другими резвиться  
над крышей, в светлеющей к ночи лазури густой,  
и каждая метко находит гнездо в черепице,  
блеснув на прощание юркой своей правотой.

\* \* \*

*Маме*

Я приснилась тебе почему-то в красном халате,  
но очень кстати,  
ты и так собиралась меня позвать, назвала по имени,  
извини меня,  
прости, что объяснять – я была в бегах, на работе,  
что-то в этом роде,  
и не услышала, не ответила, не подошла, не поцеловала,  
вообще не подозревала,  
что отдаляясь делаются ближе,  
что время слижет  
горечь, и непоправимое, оставаясь тем,  
что нельзя поправить,  
перемелется, и тогда ведь  
будет мука – для сырников, счастья,  
кабачковых блинчиков – не  
эльдорадо,  
но не много и надо.

\* \* \*

Рассчитайся на первый-второй,  
первый в строй, а второй в перегной,  
первый к брусьям, второй – на ковёр,  
холодок по спине до сих пор,

первый с вилами, с дулом второй,  
это двор, увлечённый игрой,  
не казак, не разбойник – стратег,  
я в плену и готовлю побег,

синегубого детства настой  
заедаю сухой немотой,  
соловей наш, разбойник, – жесток,  
голубой хула-хуп мой шесток,

не ходите в разведку со мной,  
пытки мне не стерпеть ни одной,  
и, принять не готова позор,  
я во сне не спускаюсь во двор,

пограничник Гарькавый, прощай,  
на заставе цветёт Иван-чай,  
до свидания, Город-Герой,  
отпустил меня первый-второй.

**Борис Колымагин****ГЛАЗА ПУРГИ**

\* \* \*

Скалы волнами, волны покоя  
То ли грустишь?  
То ли летишь?  
Мутное небо вчерашнего зноя  
Ровная линия – кыш!

Линия точки, точка возврата  
То ли весна  
То ли красна  
Бодрая песня в небе солдата  
И в наступление – на!

На – на Гамзатова, на Окуджаву  
Вроде не смел  
Вроде не пел  
Точка выводит в небе октаву,  
И комаров беспредел.

\* \* \*

Чистый Понедельник  
ты меня прости –  
возьму веник  
подмести

\* \* \*

Я полечу – узнай весну с обрыва  
Я полечу – последний шепоток  
Последняя листва в струе обрыва  
И корни вверх – на запад и восток.

И ветер – круг, открыто – для кого-то,  
И круг воды за камнем обливным,

И неба круг – блаженная суббота,  
Воды и солнца вечная работа  
У поворота к дальним и родным.

Я прочерчу в воде изгибы линий  
И места дам расти – кому расти.  
А неба круг – и серенький, и синий.  
И стрелка – шаг навстречу, без пяти.

\* \* \*

У стихов далекий день  
глаза пурги  
я пройду и не оставлю следа  
о-е-о  
веселое не зги  
до обеда  
и пускай  
немного с небольшим  
перевесом о-у-о  
пробела  
я пойду, наверное, на дым  
на костер большого передела  
о-и-а  
и – а, б, в, г, д  
не пугаясь и не беспокоясь  
новый файл – п, р, с, т  
и другая жизнь  
другая повесть.

### **Волейбол на снегу**

Лес дальнего поля  
о-и  
и лыжня  
о-я-о  
в ожидании волейбола  
уес  
внутри проигрываешь  
красивый пас

через себя  
я-я  
и удар  
о  
я-о-и  
весеннего субботнего дня  
в лесу

### **Абхазия: поэтическое движение дневника**

#### **1.**

Эвкалипт кончается на «т»,  
платаны на «ны»  
гортанная речь создает образ врага  
и воздвигает памятники воинам войны за независимость  
куда ни пойдешь – упрешься в остовы домов  
и брошенные сады  
коровы гуляют по разбитым дорогам  
милые люди, они приносят плоды земли –  
каштаны, виноград и вино,  
угощают мясом, завернутым в виноградный лист,  
поют гимн русскому народу.  
Уже прошло двадцать лет после войны  
войны советских людей  
и пустые дома, и беженцы за хребтом –  
ом, ём.  
Разведешь руками.

#### **2.**

Льдины и лебеди –  
чистый стих.  
Зябко. Я дождик. Я не о них.  
Волны в человеческий рост,  
Выбежать и – норд-ост!  
Выбежать – и низенький горизонт,  
мокрая галька, выгнулся зонт,  
мысли и чувства – полный раздрай,  
мутные волны: не убегай!

И я встаю в человеческий рост.  
Прямо в лицо – норд-ост.  
Льдины и лебеди – чистый стих  
рвется внутри: я не о них.

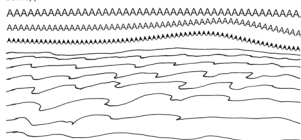
3.

И ор собак  
в ночное очень  
заводятся с полшинка:  
страх волка  
и чужестранца.

Долгая беседа с собой:  
А не дурак он.

ААААМОРЕ

Утопает буква на клавиатуре  
не слушает  
сама по себе  
выводит



живет своей жизнью.



A long conversation with himself:  
Well, he is not a fool.

Тексторис

Разговор с самим собой.  
Рисунок: Дм. Авалиани  
Текст: Б. Колымагин

**Иван Белецкий<sup>12</sup>****ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ**

\* \* \*

семейство свернется спадет бахрома  
ремонт оседает в углу  
хрустеть неоконченно таять впотьмах  
рассчитываться на полу

амбарная книга махрящийся дом  
а память плетется в хвосте  
и это пугает как спящий в одном  
с тобой коридоре отец.

смеркается запах самшита лежит  
снаружи и ждет во дворе  
квартира внутри прекращает служить  
и вновь начинает стареть

захочется просто разглядить слова  
но лишь изомнете рукав  
и этот изъян остается при вас  
на долгие ваши века

\* \* \*

Технология даст нам новые виды глаз.  
Память выползет из человеческой носоглотки.  
Предчувствие паники нас призовет к порядку.  
Улица начнет расслаиваться от угла.  
Тот канал переменится, расступится этот парк.  
Эволюция станет касаться не только жизни.  
Будет стягиваться и растягиваться как пружина,  
полная силы. Как никогда слепа.

<sup>12</sup> Иван Белецкий – лауреат специального приза «Сторон света» на фестивале «Эмигрантская лира» в Льеже, Бельгия (август 2014).

Всплеск человечества! После недель в пути!  
Словно проснувшийся в новой эре историк,  
ошеломившись от сброшенных перспектив,  
камень получит голос, и смерть, и совесть.

## Анна Голицына

### Июль 14-го

Жара и нет воды, но впрочем ездит бочка  
И есть запасы круп.  
Где раньше билась огневая точка,  
Там месиво из труб.

Но пулемет стучит. Кто, наши? Неизвестно.  
Ржавеет огород.  
Июль, и мир молчит, ему неинтересно.  
Четырнадцатый год.

Июль, 2014

IN MEMORIAM

**ПО РЕКЕ-РЕКЕ ДО УСТЬЯ**  
**Наталья Евгеньевна Горбаневская**  
**1936 - 2013**

---

**Людмила Улицкая**

**ПОДРУГИ**

Амазонки, девчонки, старушки-подружки мои,  
в сапожках пестроцветных, в галошах,  
в сандалях, босые,  
хороводом поющим, беспечным, трамвайным,  
шумливым, порою визгливым  
все вращаются, скачут и пляшут кто твист, кто кадриль,  
танцы мира священные,  
а пение их таково, что больных исцеляет,  
детей усыпляет,  
но мертвых вернуть не умеет,  
хоть, может, научится вскоре.

Как прекрасны подружки кудрявые,  
в косах венками и бритые наголо,  
с черепами, как шар из слоновой сияющей кости,  
в лохмах, дредах, в кудрях гиацинтовых нежных,  
на легких ногах, на пуантах, вприпрыжку другая,  
та в инвалидной коляске, а за нею подруга  
с клюкою трехногою, после инсульта.

Скачут юные, сиськи которых заточены остро,  
вислогрудые скачут, и сливы сосков подлетают, играя,  
плоскогрудые девочки скачут,  
руками свой срам прикрывая венком из укропа...

Я люблю вас, подруги, за ваше веселье и верность,  
за добро и за щедрость,  
за то материнское чувство, с которым  
вы склоняетесь к малым и слабым,  
пусть хоть мышшь, хоть лягушка,  
не то что дитя человечье.

Танька, Зоя, Лариса, три Наташки, Диана, Ириша,  
Катя-Лена, Тамара, Илана, Кристина и Ганна-Мария,  
Настя, Катя, Киоко... Маша, Маша, конечно,  
едва не забыла, потому что ушла так давно,  
что детишки родили детишек, и выросли внуки...  
а из тех, что ушли, хоровод обращается выше,  
подними только взор,  
и увидишь веселые пятки, или тапки покойников  
хлипкие и саванов их белизну –  
Вера, Катя и Оля, Тамара, Гаянэ и Марина,  
Ириша и Натали...

Вместе прожили жизнь, на руках вынося все печали,  
помогая друг другу тащить чемоданы,  
гробы и картошку,  
отрыдав на грудях друг у друга все страсти-мордасти,  
все измены, аборт, предательства, обыски,  
стыдную зависть.

Мы друг друга учили прощать,  
но сначала мужей уводили,  
и блудили, и лгали, и вытворяли такое,  
что потом на коленях стояли в слезах и молили,  
и ждали друг от друга прощенья и милости,  
сестринской ласки и дружбы.

Мне не надо других, я люблю этих ветреных, мудрых,  
бесстыдных, обольстительных, лживых,  
прекрасных, суеверных и верных,  
умнейших и дур беспросветных,  
у которых учиться могли бы и ангелы в небе...  
Мне нужны вы такими – да и я вам под стать.

## Григорий Кружков

### ПИСЬМО<sup>13</sup>

29 ноября 2013

Дорогой М.!

Захотелось поплакать тебе в жилетку. Только что прочёл в фб – умерла Наташа. А мы ждали её в Москве в начале декабря. Это слишком неожиданно, неправильно, такое в голову не приходило. Знаешь, мы как-то хорошо подружились за те несколько дней, что я был в Париже в этом году. В первый же день она накормила меня вкуснейшим своим супцом с телятиной. Звала каждый день обедать, говорила: супа ещё много. Её квартирка была настоящим логовом поэта: одна комната, полуразделённая книжным стеллажом, за ним компьютер, рабочее место, в другой стороне комнаты, ближе к входу (и к маленькой кухоньке – двоим не повернуться), стол, за которым она меня кормила. А спала она прямо на полу, как студент: тонкий матрасик, подушка и одеяло. Так жутко трогательно было это видеть. Она показала мне альбом Фра Анжелико, который дети подарили ей на день рождения, очень его любила, и даже мои книги были у неё, в том числе «Фортуна», – впрочем, она куда-то делась; кажется, кто-то брал и не вернул.

Мы с ней символически выпивали, накапав из маленького мерзавчика какого-то ценного рижского бальзама: получалось столько, сколько мы наливаем валерьянки в рюмку. Она курила беспрерывно – наверное, пачку или полторы в день – крепчайшие, хотя и тонкие сигареты, которые друзья возили ей из России: во Франции это ей было абсолютно не по карману. Говорила, что бросила после инфаркта, но оказалось (кардиолог подтвердил), что бросать ей вреднее, чем курить. Она плохо слышала: номер телефона давала только для эсэмэсок. Но в остальном была такая молодая в свои 77, такая быстрая! Помню, как собрала она за столом троих мужиков: сына Ясика, смешного Толю Копейкина и меня, кормила картошкой с селёдкой (под водку), а потом ещё сырниками. Они у нас пошли на ура. Наташа: «Сейчас ещё напекую, вы пока сидите, разговаривайте». Выскочила на кухню и скоро

<sup>13</sup> Из письма Ирине Машинской. Печатается с разрешения автора в его переработке. – И.М.

вернулась с новой порцией. Сырники она пекла маленькие и клала в них клюкву – две-три ягоды на сырник. Такая получалась неожиданная кислая нотка на сладком фоне. Три дня тому назад я тоже решил научиться печь сырники; посмотрел рецепт в интернете, слепил, а перед тем как класть на сковородку, в каждый сырник воткнул по две клюквинки. Получились у меня сырники с глазками. Теперь всегда буду так делать – в память о Наташе.

Мы задружились сразу, по-московски. Она мне рассказывала о своих деточках Ясике и Осике, о внуках и так далее. (А потом уже, через неделю, пошёл разговор ещё откровенней, об отцах её мальчиков и как всем всегда надо было попытаться, а она на эту тему говорить не хотела... Но мне она приоткрыла тайну.)

Говорили, конечно, о польской поэзии, в частности о Бачинском, о её переводе «Дождей», с которых всё началось, с песни Эвы Демарчик. Между прочим, последнее слово стихотворения по-польски: «безбольно». То есть я начинаю в своём «Сне о Польше» там, где кончает Бачинский: «Так не больно и спокойно...» Можно взять эпиграфом.

Узнав о моих поисках архива Надежды Залшупиной (Даниловой), познакомила меня с Вероникой Шульц, которая навела для меня полезные справки.

В местном баре на углу мы сидели так хорошо! Она пила кофе, а я – гренадин (*grenadine au l'eau*, этой премудрости она тоже меня научила). А ещё мы ходили с ней, с Ясиком и его польской женой на фильм Тати в «Синема Чарлин Данфер» на площади Данфер-Рошро. Мы были единственными зрителями на этом сеансе. Помню, как она провожала меня на автобус, довольно далеко от своего дома, и никогда ни намёка на возраст: маленькая собачка всегда щенок. Когда мы вставали со своих стульев, я каждый раз удивлялся её миниатюрности: сантиметров 150, наверное, что-то вроде того.

Я брал у неё читать книгу Манука; мы обсуждали с ней её переводы Милоша и Норвида; она посылала мне последнюю порцию своих стихов, очень хороших. Я как-то спросил, как ей удаётся сосредоточиться при всех этих бесконечных письмах, фейсбуке и прочих отвлекающих факторах? Она ответила: это не проблема, и сосредоточиваться не нужно, стихи сами приходят, чаще всего на улице – пошла в магазин за хлебом, пришла с готовыми стихами в голове, только записывай.

Я почему-то думал, что Наташа вечная. Нет, не вечная. Но незабываемая.

## Наталья Горбаневская

### ВАРИАЦИЯ НА МОТИВ БАЧИНСКОГО<sup>14</sup>

*Tych miłości które z name  
na strumieniach białych płyną...*

Тех любовей, что за нами  
вдаль плывут под парусами,  
что, как чайки над волнами,  
позабыть велят, а сами  
ничего не забывают,  
даже если уплывают  
по реке-реке до устья,  
по волнам-волнам до неба,  
тех, что нет, не поддаются,  
и ни Висла, ни Онега  
их не вхлынет, не потопит  
и глушилки не заглушат,  
тех любовей – вот мой опыт –  
ненависти не удуют.

## Ирина Машинская

«И НЕ СДАВАЙСЯ...»<sup>15</sup>

Стихи Горбаневской, манки и обманки.

На тебе семишник на водку.  
Подымись на кругую гору.  
Снег идёт крупую перловой.  
А туман – что кисель овсяный.

<sup>14</sup> Из сборника «Освопросник». – М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2013.

<sup>15</sup> О кн.: Наталья Горбаневская «Кто о чём поёт». Арго-Риск. Москва, 1997  
Сокращённый и переработанный вариант. Полный текст: журнал «Звезда», №11, 1998. Сокращённый текст: страница Натальи Горбаневской в «Новой Камере Хранения».

Разучи прямую походку.  
Раскатай к зиме путь санный.  
Отыщись в завирухе бессиянной.  
Прорубись в чаще еловой.  
И не присосеживайся к спору.  
И не поддавайся сглазу.  
И не похваляйся обновой.  
И не сдавайся – ни сразу,  
ни побившись до конца, до упору.  
(На тебе семишник на водку...)

Перловая крупа (по-армейски «шрапнель»), вещь в своей мягкости весьма твёрдая, – это вовсе не идиллический снежок. И *овсяный* туман с его разводами, неровной густотой, похож на океан Солярис. Но не сдавайся... ни разу? – нет, *не* сразу – нет! *ни* сразу – ни побившись вообще, ни даже *до упору* побившись. 13-строчная заповедь, завет себе же, данный, взамен набатного киплингговского назидания, в тоне русской сказки. Достаточно, однако, дочитать до конца и уловить лёгкую перемену интонации в последней строке, отметить вдруг появившуюся строчную букву в начале последнего стиха – и почувствовать подвох.

«Кто о чём поёт» Натальи Горбаневской – недлинная экспедиция, поход за «чёрным ящиком» бытия, за ускользающей невесомой добычей, схваченной всеми доступными поэту способами: правдами-неправдами, заговором-наговором, бормотаньем.

И я – рассказчик.  
Но чего? о чём?  
Мой чёрный ящик  
каким ключом  
отомкнуть? В пучину  
как занырнуть,  
ища причину,  
вылавливая суть...  
(из цикла «Exegi monumentum»)

И что же это за чёрный ящик в непроницаемой толще?  
– А ящик-лещик.

Это что-то, это не...  
нечто, лещик в глубине,  
в отморозенном окне  
ледяной реки,  
ни подсечь, ни уловить,  
не достать, не умолить,  
сети плесть, и леску вить,  
и вострить крючки...  
(«Это что-то, это не...»)

Я не случайно сказала об обманках. Переключки и аллюзии, без которых немислима культура, даны у Горбаневской скорее в смысле «читай наоборот» или даже «слушай наоборот»: и «любимое», и «нелюбимое» тут на слуху, как песенка. Так, читателю предлагается – интонационно, лексически – целый веер цветаевских аллюзий. Но при этом та область поэзии, которую обозначила и вспахала М. Ц., дана отчётливо полемически. Так, одиннадцатый (в своей одиннадцатой книге) отрывок цикла «Ехеги monumentum» автор начинает с прямой цитаты (если не считать пропущенного тире): «Поэта далеко заводит речь» – и сразу ехидно добавляет: «и не поэта».

Успокойся, упокой  
эту лихорадку,  
лучше твёрдою рукой  
разгадай загадку,  
сколько звёзд на небе и  
сколько отразилось  
в синем море. И, на милость,  
не пугайся, не бойсь...  
(из цикла «Ехеги monumentum»)

Здесь много всего можно заметить и уразуметь, например, красивое отражение в опоясывающей рифме: *на небе и с... / не бойсь*, где пара небо-страх (не бойсь) – отражение не столько графическое и звуковое, сколько всяким узнаваемая рефлексия. Но это звуковое, совсем не умственное, скорее всего, ночное стихотворение (сужу по лёгкой неправильности: «лучше твёрдою рукой / разгадай загадку») и похоже оно на маленькое белое – в космической темноте – круглое зеркальце, ставшее косо,

блеснувшее (или плеснувшее: от моря, и не простого – сказочно-пушкински *синего*) этим тихим «не пугайся, не бойсь». Не будь этого «не бойсь» – да было бы даже просто: «не бойся» – и разгадка была бы другая.

Восьмистишье – не только эффективная, но и опасная форма: в абсолютной симметричности всегда есть что-то идиотическое, неживое. У Горбаневской зеркальность структуры, образов, интонации всегда нарушена, помимо синкоп и грамматических запинок, асимметрией лирического вывода – выбегания – из отрывка.

Чистописание стихов,  
бубня бубню бубнима,  
нагромождение пустяков,  
изнанка мира-Рима.  
поспешный ритм, прозрачный пот  
и непрозрачный образ,  
людская молвь и конский топ.  
изнанка *urbis-orbis*.

(из цикла «Восьмистишия третьи»,  
памяти поэта Манука Жажояна)

Тут не только зеркальные «мир-Рим» и «*urbis-orbis*», не только симметрия «прозрачный пот» – «непрозрачный образ», где прозрачный художнический пот даётся в первых и вторых стихах каждой из строф, а сам образ мира – в третьих и четвёртых. Есть и третья координата, будто бы лишняя в симметричном мире этого восьмистишья, а именно изнанка *изнанки* – сам мир как есть, и эта шероховатая поверхность, возможно, и есть – неведом *чистописания* – то есть целиком, начисто – слухом уловленное бытие, живая суть, *невесомая добыча*.

В поэзии Натальи Горбаневской традиция лирического фрагмента – то есть традиция скорее тютчевская, в противовес пушкинской – доведена до логического конца: отрывки поделены на совсем короткие кусочки, так что каждый из них предстаёт одиноко, отдельно, отважно.

Но иногда возникает законченная картинка.

Это ктой-то и гдей-то  
расплавляет засов  
по шкале Фаренгейта  
в восемнадцать часов,  
и стоит оробело  
нараспашку душа,  
на забросшее тело  
тяжким жаром дыша,  
и от запаха нефти  
тошноты приступив,  
как пластинка в конверте,  
поцарапан мотив,  
ти-ти-ти-та-та-та-ти,  
так неслышно, неявно.  
Если тело нехстати,  
то душа и подавно.  
(«Это ктой-то и гдей-то...»)

Стоящий растопылив руки автор (в момент чтения – читатель) – душа нараспашку. А жара – то ли сверху-сбоку, от заходящего солнца, то ли изнутри – тела? души?

И вот в мареве, преувеличенном Фаренгейтом, по которому всё – за 100, где всё размыто, сдвинуто, сказуемые отъехали от поддежащих, а «и» краткое по-воландовски расселось в двоящихся «ктой-то» и «гдей-то», читатель вдруг видит душу и тело отдельно, как двоящийся силуэт на нерезком фотоснимке. Там, в этом пекле, *забросшее* (зброшенное, оброшенное), заросшее травой случайного, всякими сорняками и оговорками, просто – брошенное – тело стоит отдельно от души, равное ей в том, что, как и она, – *нехстати*.

**БОГУ СВЕЧКА, СПИЧКА - МНЕ**  
**Инна Львовна Лиснянская**  
**1928 - 2014**

---

**Инна Лиснянская**

**СТИХИ ОДНОГО ДНЯ**  
**17 августа 2012 года**

\* \* \*

Больше я не рисую  
Море и виноград,  
Больше я не рискую  
Загонять себя в ад.  
Мне и лучше и проще  
Просыпаться в раю,  
Где речушка полощет  
Жизнь и рифму мою.

\* \* \*

Не забудь меня, случай,  
А тем паче – хороший,  
Я не сделаюсь лучше,  
Но не стану и плоше.  
Прорву слов моих праздных  
О безумной любви  
На развилках опасных  
Останови!

\* \* \*

Дай, воскресную попону  
Я надену на коня.  
Знаю с дону и до дону,  
Что касается меня.  
Не нужны мне в жизни скачки,  
Нужен только пеший ход,  
Вид улыбчивой гордячки  
И гречихи терпкий мед.

\* \* \*

Отпусти коня в табун!  
Вместо – засупонь меня.  
В море – воля, в мире – бунт –  
Нету дыма без огня.  
Без трибуны – скачки нет.  
Нет мне места в табуне,  
В доме – искра, в мире – свет.  
Богу свечка, спичка – мне.

\* \* \*

Давненько, ох, давненько,  
Я дома не была.  
Мне снится деревенька,  
Конюшня, удила.  
Мне снится жеребенок,  
Которому дня три,  
Ты лучшей из гребенок  
Бока ему потри.  
Ему всё будет мило,  
поскольку ты – кобыла.

\* \* \*

Кто-то меня окликает, а кто не расслышу.  
Кто-то газетой мне машет, а кто – не пойму.  
Кто-то как призрак проник под железную крышу  
И написал мне в записке, что он мой двойник.  
Что ж погожу. И с чего впереди мне события  
Знамя молчанья нести и плестись впереди.  
Принцип гаданья давно собираюсь забыть я,  
Сердце моё как мечта прозябает в груди.

*Публикация Елены Макаровой*

## Инна Лиснянская

### ПИСЬМА К ДОЧЕРИ

#### *Вступление*

Мама, с юности мечтавшая о далеких путешествиях, обклеивала чемоданы этикетками иностранных авиалиний. Увы, душевная болезнь, сопряженная с различными фобиями, превратила ее в домоседку. Однако в периоды просвета она выходила в свет и смотрела на него как новорожденное дитя. Зрячий, широко открытый глаз, все вбирал в себя, слепой, потухший, был направлен в ночь, в темные бездны души. Физическая травма, полученная при рождении, в каком-то смысле определила дуальную сущность мировоззрения – одномоментность света и тьмы, мгновения и вечности. Мама-поэт мыслила парадоксально, эту ее земнонебесность держала в рамках классической формы стиха. Религия дает свободу свободным и закабляет рабов. Классическая форма стиха была маминой религией, в ней она царила.

Письма мамы обращены к моей жизни, изменившей с весны 1990 года почтовый адрес и отражающейся в окнах разных домов, городов, стран и даже материков. Свитки факсовой бумаги шестиметровой длинны с обеих сторон исписаны бегущей строкой с креном влево – мама была левшой. Она, умевшая отрешиться от событийности и вместить мысль-чувство-видения в капитальное строфическое здание, в письмах отдавалась потоку событий, мыслей и чувств.

Стихи возникали вдруг. Изнуренная длительной немотой, мама теряла веру в себя. И когда, наконец, являлись слова, стихи писались один за другим, до опустошения. Мама завидовала прозаикам – какое счастье – утром продолжать с той точки, на которой остановился вечером. Наша разлука в этом смысле была маме на руку – она могла писать каждый день. Из писемописаний родились книга «Хвастунья», повесть о Тарковском, и другие прозаические вещи. Да и стихи 90-х годов проклевывались из той же скорлупы. Большая их часть опубликована, некоторые «импровизации на тему» остались в письмах. Это те же «Египетские ночи», которые мама под настроение устраивала для друзей и близких, рифмуя вслух на предложенную тему в

духе разных поэтов и поэтических школ, – с той лишь разницей, что тему я не заказывала, она выявлялась сама.

Долгоиграющие письма, как она называла их, ею не перечитывались. Этот дневник в письмах писался для нас обеих. Он служил нам подспорьем, в них длилась наша жизнь.

Мама с папой сверяли полученную обеими сторонами информацию, зачитывали друг другу по телефону выбранные места из переписки. Семену Израилевичу подавались «живописные картины» Израиля, рассуждения о жизни и литературе и пр. Некоторые образы нашли место в их стихах. У мамы – цветок алоэ, у Семена Израилевича – «коржиком верблюда кормит бедуин».

В первые годы после моего отъезда получение и доставка писем были особым мероприятием. Мама посылала гонцов. Кто-то должен был забрать у мамы письма, чтобы отослать мне с оказией или по почте, кто-то должен был доставить ей мои. Перемещение эпистолярного наследия из страны в страну иногда происходило быстро, иногда долго. В промежутках мы беседовали по телефону. В Переделкине мама ждала моего звонка в условленное время. В какой бы стране я ни находилась и чем бы ни занималась, в указанный час была на пункте связи.

В 2007 году мама потеряла на море обручальное кольцо, и я отдала ей свое золотое колечко. Мы «обручились», и она сказала: «я твоя удочеренная мать». В этой шутке была доля истины. Мама-поэт была и остается для меня недостижимой величиной, а мама по жизни – маленькой беззащитной девочкой. Поэтому и разлуку она переживала столь болезненно, как потерю части себя, как ампутацию.

Мы уехали в Израиль 20 марта 1990 года. В ноябре мама с Семеном Израилевичем приехали в Иерусалим по приглашению главы правительства, жили в роскошной гостинице с видом на Старый Город. Семен Израилевич был счастлив, мама же пребывала в тревоге. Всю жизнь перед сном она читала Библию, и оказаться вдруг в Библии стало невыносимым для ее души потрясением. Иерусалим не задался. В Тель-Авиве все успокоилось, мы гуляли по берегу моря и даже ходили в гости.

С 2003 года, после смерти Семена Израилевича, мама поселилась в Книге надолго, и теперь с липкинской мудростью перелистывала страницы Бытия. «Иерусалимские тетради» рождались в поездках на Кумраны, в Тимну и Галилею,

в прогулках по оливковой роще близ монастыря Креста – мы жили неподалеку оттуда. Мало того, случилось Иерусалимское чудо – мама стала самостоятельно выходить на улицу. Ей нравилось ходить за покупками, благо магазины были на углу, улицу переходить не надо. Однажды мама вернулась из похода в новой шляпе. Вид победоносный. Сама себе купила! – повторяла она, крутясь перед зеркалом.

Мама мечтала, что когда-то мы будем жить вместе и читать вслух наши письма. Мечте не суждено было осуществиться по той простой причине, что мои письма мама сдала в РГАЛИ. Свои письма, уже в электронном виде, она перечитала за год до кончины.

Копии своих писем я получила в архиве РГАЛИ после маминой смерти. К ним я буду прибегать в случае надобности.

Елена Макарова  
Хайфа, июль, 2014

*Мои свитки не выбрасывай,  
когда-нибудь, надеюсь,  
жить будем рядом,  
вот и почитаем друг другу,  
я – твои письма, ты – мои.  
В них все наши  
достоинства и недостатки  
живут своей жизнью.  
24 февраля 1994*

**1997**

30.3.1997

Доченька! Пишу тебе в тот же день, как поговорила с тобой. (...) Очень о тебе беспокоюсь, и никак твои заверения, что ты разумная и взрослая, меня не убеждают. Ты для меня остаёшься всё той же маленькой девочкой, о чьём физическом здоровье я тоже пеклась, а вот твой страх потерять меня – «вперёд к маме, назад – к маме», не распознала. Этого я себе никогда не прощу, как ни наказала меня судьба. Но и давить на маленькую девочку больше не буду... (...) Прошу тебя. Умоляю, заклинаю – не относиться к себе спустя рукава. Всё это очень серьёзно, ну хоть чуть-чуть повзрослей и поумней в оценке своего здоровья.

Я читала твою книгу<sup>16</sup> двое суток безотрывно. Книга прекрасна – и рассуждениями и иллюстрациями твоих «рассуждансов». Баухауз, Фридл<sup>17</sup> и гетто вписались в текст так, словно всегда в нем пребывали. Удивительно даже, что книга существовала и без Фридл. Нет, она без неё не существовала, Фридл, о которой ты ещё ничего не слышала тогда, уже присутствовала в тексте незримо как предчувствие встречи, как мироощущение параллельное. Не будь этого мироощущения, ты никогда не попала бы в музей Праги, никогда бы ничего не знала ни о Фридл, ни о Швенке, ни о подробностях испепеляющего душу транспорта. Всё было предопределено провидением, и твои с Фридл пути не могли не пересечься мистически.

Но ведь и для дальнейшей работы, для работы над задуманной книгой о Фридл<sup>18</sup> нужны не только стоические душев-

<sup>16</sup> Преодолеть страх, или Искусствотерапия. Москва, Школа-Пресс, 1996.

<sup>17</sup> Фридл Дикер-Брандейс (1898-1944), художник и педагог. См. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Дикер-Брандейс,\\_Фридл](https://ru.wikipedia.org/wiki/Дикер-Брандейс,_Фридл)

<sup>18</sup> Дорогая моя мамочка! ... Начала писать книгу про Фридл с предисловия. Пришла мне в голову структура, теперь собираю все по главам – какой материал к чему и почему, то есть начала не с каркаса, – это новый для меня подход, много приготовлений, не знаю, как выйдет. Идея проста – Фридл пыталась все на свете понять, для этого и были три года изгнания, – в это время написаны лучшие картины и самые важные письма, где она анализирует то, о чем думала, потом попадает в Терезин и работает на износ, об этом времени есть свидетельства очевидцев, работы детей и самой Фридл, да сбивчивый конспект лекции о детском рисунке. Она погибла в октябре 1944 года, так и не поняв, что же она смогла сделать с детьми в концлагере. Судя по тому, что тщательно она подписывала рисунки и даже отметки ставила, для себя, – ясно, что надеялась за это сесть дома, в спокойной обстановке... Так что я начину с конца – с Освенцима, где у нее не было ни сил, ни времени оглядеться – в ее транспорте было 1000 женщин, 450 детей и старики. Затем перехожу в Терезин, туда, где ее жизнь достигла пиковой точки, – и проделаю за нее то исследование, которое ей самой не пришлось сделать. Связь педагогической системы Баухауза и Терезина. Так что композиция – это круг с Терезиным в центре, где Фридл и дети, отсюда – векторы в прошлое, Аушвиц – за предел, и мои прямые контакты с ней – за предельного рода, – вроде как хожу челноком из одного мира в другой. В результате хочу показать Фридл ее самою, – ведь у нее не было ни персональной выставки, ни каталога. Собрать все, что она раздала перед депортацией, – и, может быть, в кои веки, она останется довольна собой? Пред этим размахом замирает сердце. Получится? Не получится? Трудно, будучи настолько внутри истории, оценить. Чтобы сделать это – нужна тишина, сосредоточение. Ты знаешь мою жизнь. В ней есть все, кроме этого.

Скоро мне переведут деньги на другой проект – «Лагерная культура в 20-м веке», пока я хочу закончить исследование обо всех лекциях (закончить!?) в Терезине, проанализировать темы, выявить структуру коллективного сознания людей в состоянии транзита – то есть о чем люди думают перед смертью? Терезин – это экстремальное состояние, сгущенка, но так можно понять многое про смысл жизни. Состояние несвободы (внутренней и внешней) это и есть концлагерь, но это, мамик, длинная история.

... Когда какие-то тексты будут готовы, я пришлю. Книга будет вся сначала по-русски, так что можно будет издать и у нас, когда будет готова. Ирина Николаевна мечтала о такой книге, посмотрим, как все выйдет.

Сколько надо будет на все это времени? Уехать ли летом в Лос Анжелес и писать там?

Если будут деньги, я бы всех взяла с собой, я не хочу оставлять Сережу и детей. Если будут

ные силы, но и силы физические – твоё здоровье. Оно сейчас необходимо не только твоей маме, мужу, детям, оно необходимо человечеству, чтобы оно, человечество, снова окончательно не озверело.

Что касается меня, то всё просто и ясно. У меня было полтора месяца «эйфории», как в Комарове и чуть позже него в 1972 г. Теперь всё стало на свои обычные места: в свою книгу заглядывать противно<sup>19</sup>. И т.д. и т.п. Кстати, частые и т.д. и т.п. в твоей книге – единственное замечание, какое я смогла бы тебе

---

– поедем все, нет – буду писать в Иерусалиме.

Все уговаривают меня оставить Музей на год. Это разумно. Но, если я не изменю порядок жизни – не стану заниматься собой, не отключусь ото всех, то музей – не такая и помеха по сравнению с общей моей безалаберностью.

Мамик! Постараюсь быть в форме. Может, поеду на грязь, здесь это недалеко. Грязей – навалом.

Очень по вас скучаю. Когда-то нужно приехать к вам и просто гулять – как в тот день, в Германии, до чего же я тогда здорово отдохнула, помнишь, как мы сидели на солнышке под тентом, прогуливались не спеша... Что-то такое бы... На пару дней. С книжкой в шезлонге... Ох, мамик, мамик! Ты, давай, за стихи! Целую моих молодоженов. Лена. (ЕМ. Февраль, 1997)

<sup>19</sup> Дорогая мамочка! Какая замечательная у тебя книга, я ее читаю постоянно и диву даюсь, как это ты так можешь писать – зримо, емко, точно, и оставлять столько простора для читательского воображения, ты его направляешь, – но не насилуешь, твои импровизации на тему пустоты, пятна, света, «при» и другие, – вызывают во мне ответное желание импровизировать, потому все это с одной стороны классика, а с другой живая трепетная жизнь, так что классическая форма – уже как бы устаревшая в современной литературе, у тебя новая, совершенно неожиданный эффект. Но я тебе об этом еще напишу, когда мозги поостынут от всех умственных и эмоциональных нагрузок с начала года.

Ты мне так и не дала адрес в Германии, так что я не знала, кому там передать твою книгу. Вернувшись из Берлина, я работала два дня подряд с детьми, словила кайф, затем репетировала с Вики и Жан Клодом Джонсом – замечательным музыкантом – спектакль, который мы показали 29-го в театре, у нас, вернее у них с моей помощью, выходит дивная вещь, какие они талантливые люди!

Затем факсы в Лос Анжелес, утруска и утрामбовки всяких тамошних дел, там все будет нормально, но я постоянно должна что-то уточнять, менять, вставлять, вычеркивать, сегодня я написался Регине и Николасу письмо, чтобы мне прислали официальный предварительный контракт, и что без этого я больше не могу работать. Посмотрим, как они отреагируют. Но я знаю, что все там будет, и будет хорошо.

Мои дела с грантом в Израиле утряслись, тыфу-тыфу. Так что к апрелю-маю у меня уже должны быть на счету деньги, и тогда, я на 20 дней полечу в Чехию-Австрию по работе. Может, приедешь ко мне в Прагу в конце апреля на неделю? За мой счет. До Праги всего 2 часа лету от вас. Узнай, сколько стоит билет.

Похоже, для другого гранта в Лос Анжелесе мне нужно будет за месяц написать одну главу «Фридл и ее работа с детьми», эта обширная глава, много материала, много возни. Но я начну только при условии предварительного контракта с Визенталем.

В Берлине из двух дней один я потратила на архив Баухауза, где оказалось гораздо больше материала, чем я предполагала. Это тоже было открытием особенно факт, что в Калифорнии, в одном из самых богатых музеев в мире, Гети-музей, есть работы Фридл, и ее фото-графии. Если этот музей войдет в кооперацию с Визенталь-центром, я могу рассчитывать на большую книгу-монографию, для этого именно им и нужна одна глава, уже написанная. Разумеется, это в моих интересах. Ох, мамик, мамик, куда меня занесло с моими историческими наитиями! Что это за мистерии, скажи?! (ЕМ. 2.3.1997)

сделать. Но эта такая мелочь по сравнению с содержанием книги и способом её написания. А как чудно названы главы, как хорошо, что они не многословны.

Эта книга – большое многозначимое явление, пища не только для воспитания детей взрослыми, но и осознание личности каждого, кто прочтет. И ещё пища для философов. Да, эта твоя книга может послужить отправной точкой для философского осмысления детства и не по Юнгу, тем более, не по Фрейд, а по Макаровой. Я тебе строчу, не задумываясь над тем, что строчу. Всё это мною пережито в твоей книге и мои, м.б., наивные мысли – ни что иное, как преодоление ребенком страха с помощью искусства. Но как бы я не восхищалась книгой твоей, один страх меня не покидает – страх за тебя.

Родная моя, поверь, чувство долга, м.б., не в такой форме и не в такой степени, как тебе, мне тоже присуще. Это бесконечное чувство долга соседствует с чувством ничем не искупаемой вины. И это трудно переживать. Какие счастливые люди те, что винят других во всех причудах судьбы, а не себя. Это, пожалуй, единственное, чему я завидую: не слава, не богатство, а отсутствие постоянного ощущения вины вызывает во мне зависть. Если бы я могла избавиться от этого чувства, я была бы, наверное, и здорова, и счастлива. Поэтому на твой звонок по автомату я уже ничего не могла возразить – только бы ты никогда не изнуряла себя виноватостью. Не дай Бог. Береги себя, моя маленькая, пожалей меня, пожалеешь – и тем самым себя сбережешь.

Мне так необходимо, не смертельно, а жизненно необходимо, чтобы ты была здоровенькой. Счастливого пути в Прагу, звони иногда оттуда. Просто боюсь, что в Переделкино не будешь звонить, а мне надо знать о тебе. Целую маму.

31.3.1997

Деточка моя! [...] Я дурочка принципиальная, ни в какие печ. органы своей книги не рассылала, никому не дарила. Более того: ко мне пришла дама из «Книжного обозрения» делать интервью, а видела она только мою книгу «После всего». Вот я ей и сказала: «О чем же мы с Вами разговаривать будем, если вы не познакомились с моим “Избранным” за 30 последних лет моих?» Короче, мне бы ей подарить «Из первых уст», а я ей указала, где книга продается. Естественно, никакого интервью не будет, обидела. Ведь они привыкли, что им посылают, тем более – популярное «Книжное обозрение», а коль

сами приходят – то непременно дарят. Так делают все нормальные писатели. А мне бы тут не только о себе подумать, но и о тебе, – завязать связь. Но дура, она дура и есть.

А меж тем моя книга поначалу расходилась быстро, но застыла. Покупаются еле-еле. Но, слава Богу, хоть магазины взяли. На самом деле поэзия лежит – даже Мандельштам – перепроизводство. А мне предложили уже готовить новую книгу к печати, но я, хоть и имею, новую, другую книгу, спешить не буду, пока эта хотя бы на три четверти не разоидется. Правда, распространители не расторопны – даже в Питер не послали. Но это я так, меня это уже не беспокоит, ибо трезво смотрю на то, что вышло и на то, что может выйти в свет. Стихосписание моё – средство избыть душевные дрязги, мне это нужно, но не людям. Вот это я отлично понимаю, такое понимание не утешительно, но спасительно. В литературке была рецензия Татьяны Бек, это они несколько сократили то, что она, помнишь, читала на презентации 4 февраля.

(...) Деточка, заканчиваю писать, а то вдруг вспомнила о своих виршах ни с того ни с сего, и нудьга на меня напала. Я еще просто обязана написать в ближайшие дни 2-3 странички – вспомнить Лакшина<sup>20</sup>. Его вдова очень просила, а разве я могу забыть, как он нам помог? Делать я этого не умею, всё коряво получается, но – надо, я его должница, благодарная должница. Но перо меня не слушается.

Вот, например, насел Борис Мессерер – написать о Белле. И у меня полторы страницы получились легко, как письмо. Но красивей письма. Мне не жалко, если могу и получается, хотя по-человечески. (...) 10 апреля мир будет праздновать её 60-летие, представлена на Нобелевскую. М.б. – дадут. Мессерер по организации статей, празднеств и т.д. и т.п. проявляет огромную деловитость продюсера. Только диву даемся. Скоро на лето заберложусь в Переделкине. Е.б.ж. Деточка, следи за собой. Целую тебя ∞ раз. Мама.

6.5.1997

Здравствуй, моя дорогая Леночка! (...) Пишу тебе, сидя за письменным столом, как большая. Стол чист и пуст, я за ним ничего не делаю. Впрочем, я вообще ничего не делаю.

<sup>20</sup> Владимир Лакшин (1933 – 1993), русский литературный критик, литературовед, прозаик, мемуарист.

Вот уже 10 дней как мы в Переделкине: красиво и в окне и на улице, хотя то холодно, то теплеет. Уже пора растепляться погоде на более длинный срок. Народу в д.т. ещё очень мало. Все желающие приехать берут путевки, начиная с конца мая, чтобы пожить в летнее время со скидкой: 1-ый срок – полтора миллиона, 2-ой, кажется, 3 миллиона. А дальше 155 тысяч рублей в сутки. Кому же это «дальше» по карману? Мелким литераторам, приезжающим сюда – ни в коей мере. А те, кому по карману, сидят либо на дачах, либо за границей. Полное лето, включая сентябрь, стоит 8 тысяч долларов. На эти деньги можно бы где угодно прожить, но для этого нужны более молодой возраст, ноги и сердце, да здоровую душу. Нам же сейчас это лето по карману и даже на следующее хватит е.б.ж. (...)

Мне не пишется, зато дышится. Заставляю себя выходить с Семеном за час до обеда и за час до ужина. А когда выйду, наслаждаюсь воздухом и птичками. Соловьев пока не слышать, для них ещё холодно. Да и поют они поздно вечером, когда я уже на улицу не выхожу. Но зато вообразить можно. Серенькие воробышки мне доступней, вот и написала здесь шесть строк всего:

\* \* \*

Ах, воробышек, как ты промок,  
превратился в дрожащий комок.

Бедный мой, ты мокрее, чем дождь,  
И твоя темносерая дрожь

Равносильна скорбям мировым  
И становится сердцем моим<sup>21</sup>.

Вот такая традиционная незамысловатость. На вдохновение в это лето вовсе не уповаю, буду жить растительной жизнью. Кроме Андрюши<sup>22</sup>, никто не приезжал. Кроме Паши Крючкова<sup>23</sup>, никто не заходил. Пашка, я тебе уже писала,

<sup>21</sup> Опубликовано в книге «Ветер покоя».

<sup>22</sup> Андрей Липгарт, филолог, специалист по английскому языку и литературе, поклонник маминой поэзии.

<sup>23</sup> Павел Крючков, один из самых замечательных людей из маминого окружения. Мама его называла «внучек». Благодаря Паше, который прославился в разных областях, – любимый экскурсовод в Доме Чуковского, знаток поэзии, зам.редактора отдела поэзии в «Новом

сочинил о тебе статью для еженедельника «Покупатель». В нем обо всем и разном, что только можно купить. О книгах в том числе. Он пил у меня кофе и снова теперь в присутствии Семёна, давал восторженную характеристику твоей книге: и умная и прочувственная. И доступная и научная, и живописная и лаконичная в своих картинках – ну, все её должны прочесть! Я мле-ла, Семён радостно говорил, как ты талантлива. (...)

Одна у меня здесь радость – Семён дышит. Он здесь уже успел перепечатать новую книжку стихов, с ним заключили договор – денежный! За книгу дадут один миллион, конечно, это символическая плата, зато – не обидно. Был здесь у меня труд-ный вечер – тревога. Я позвонила Андрюшке, и он мне привез лекарство. И теперь, я ложусь со словами: «Как хорошо, когда не плохо». Эту сентенцию я повторяю себе вслух по несколько раз на дню. Сейчас говоря: «Как хорошо, когда не плохо», нач-ну одеваться на улицу и обед.

Совершенно никаких вопросов тебе задавать не буду, все мои вопросы, просьбы и мольбы ты знаешь наизусть. И от-ветишь мне, когда Яна отгостит. Пошла одеваться. Целую мама.

6.5.1997

Пошли обедать, глядь, Андрюшка идет. Пообедал за меня, а мне принес, как я и просила, овсяную кашу с завтрака. А ещё я просила его привезти мне 9-й том Бунина – никогда не читала. Это там, где его статьи о литературе, высказывания о поэтах. Так забыл Андрюшка, вместо Бунина привез конфеты. Мы с ним сыграли 2 длинные партии в карты, названия игры не знаю – Изольда когда-то научила. Кстати, о книгах. Я взя-ла сюда 4-й том Мандельштама, в котором собраны его пись-ма. Боже мой, как редко Мандельштам похож в письмах на свои стихи, уже не говоря о прозе «Шум времени», «Египетская мар-ка» и «Разговор с Данте». Ну ничего общего по стилю, высоте мысли не имеет по сравнению с его эпистолой, где всё, если к Надежде, – пересюсюкано, всё о деньгах, быте. Но иногда его дерзкие письма либо к издателям, либо в различные писатель-ские союзы, сообщества, – вот тут просто сердце у меня сжима-лось и посреди тома до «как плохо, когда плохо», бросила чи-тать письма Мандельштама. Идут подряд все «праздничные»

---

мире», лауреат премии Тэффи и т.д., – сохранились видео и аудиозаписи авторского чтения звезд русской литературы, в том числе, и мамы, разумеется.

дни. Библиотека не работает, перехватывать у кого-нибудь детективы неохота, к ним пропал всяческий интерес, достаточно в этом смысле телевизора.

Резко потеплело, так что к 6-ти часам – гулянию перед ужином – надену легкую куртку поверх платья. Я совсем распустилась. (...) Толстая – страсть смотреть.

Кого же я здесь ещё видела за 10 дней? Да, приходил в канун своего пятидесятилетия с бутылкой «Мартини» Кублановский<sup>24</sup>. (...) И Рейна поносил (...), не забыв при этом доставить и мне неприятную минуту: «А куда Рейн о тебе пишет? Вот был сегодня в “Новом мире”, попросили его о ком-то написать, а он отказался: “Мне это трудно, вот писал о Лиснянской, весь измучился». Да, мне было неприятно, но не стыдно. Рейн сам меня спросил: «Хотели бы вы, Инна, чтобы я о вашей книге написал?» – Конечно, спасибо. И когда Яна<sup>25</sup> мне сказала, что издательство (так поздно И.Л.) прислало в «Независимую газету» мою книгу, но в газете не знали, кому заказать, я порекомендовала Рейна. Но, видишь, и этого нельзя делать. А уж организовывать – тем более.

Странное, странное стало собратство! Получается, что я всё время брюзжу. Нет, я не по возрасту изумляюсь. Видимо, уже прошли все сроки помудреть. Так и останусь вечно обиженной от изумления дурочкой. И ничуть меня не греет мысль. Что я ничего дурного не делала своим собратьям, а хорошее, если могла, совершала.

Я сейчас тебе всё это строчу, словно в дневник, которого никогда не веду. И слава Богу. А-то столько бы нытья размазывалось по бумаге, лучше слезы по лицу размазывать. Да плакать я разучилась, и причин вроде бы нет. Если бы ещё мне писалось! Но, видимо, вся душа исчерпана. Возможно и не душа, а исчерпаны все внешние проявления жизни, ведь никаких внешних впечатлений. Время бежит, а место остается неизменным.

Да, было одно сильное впечатление. 70-летний юбилей Растроповича в Баку. Увидела по телевизору дом, где он родился, и вздрогнула – узнала. Это на Колодезной, где родилась и я, и прожила свои первые пять лет. Кажется, даже тот же самый дом – ведь узнала. Спроси об этом у Додика, он же там долго

<sup>24</sup> Юрий Кублановский, поэт, участник «Метрополя».

<sup>25</sup> Дочь моего мужа от первого брака.

жил с мамой – моей тетей Фирой<sup>26</sup>. И я туда ходила часто, пока бабушка моя была жива. А так бы ни улицу, ни дома, возможно, не запомнила бы. Узнай у Додика номер дома, просто интересно. Наверное, няни выводили и Славика до его четырех лет, и меня. Надо же, какое совпадение – Колодезная улица. Теперь ей присвоено имя Растроповича.

Ну, пора собираться на гуляние перед ужином. Вот докурю, а курю я здесь все же поменьше, чем дома. Чуть больше одной пачки. Зашел Семен, увидел, дверь на лоджию открыта – проверил, тепло ли. Да, тепло. Я наброшу поверх платья свою классическую, многожды мной воспетую шаль: «и шаль по канаве волочится», и поволокусь в ней по садовому кругу. Как хо-рошо, когда не плохо.

Целую мама.

7.5.1997

Доброе утро, моя красавица! И снова дождь, зато хорошо, когда не плохо. (...)

Деточка, я ехала сюда с заданием самой себе – собрать книжку новых стихов. Но вряд ли сяду за машинку и вообще займусь этим делом. То, чему ты была свидетельницей, оказалось не переломом моей судьбы, а случайный подъемом зубца на кардиограмме моей жизни. Вот и всё. Книга почти не распродается, всё вернулось в обычный для меня вялый ритм. Впервые я позволила иллюзии взять верх, и сама была на странном для меня подъеме. Ни от кого и ниоткуда о своей книге не слышу. Всюду замерло всё до рассвета. Будут публикации в «Знамени», «Континенте» и в «Новом Мире» этим летом. Но меня это уж ничуть не греет и, если честно,нисколько не интересует. «Самолюбие мне дороже», как говорил Бенья Крик. И он же говорил: «Не думайте на пожар, думайте на водку». Сейчас попробую одеться и сама пройтись чуть дальше ограды. Правда, по улицам здесь без конца теперь шастают машины, в основном, иномарки. Но есть ещё такая прогулка: выйти из ворот, дойти до угла ближайшего и свернуть к тропе вдоль железнодорожного полотна – параллельно ему, и вернуться к калитке на задворках д.т. Дождь перестал, и я сделаю этот эксперимент. Целую тебя ∞ раз. Твой мамик.

<sup>26</sup> Тетя Фира, сестра маминого отца. Додик, Давид Лиснянский, жил в Израиле, мы с мамой его навещали.

7.5.1997

Ленусенька! Вот я и погуляла самостоятельно. Дорогой привязался ко мне не пес бездомный, а бездомный стишок. Я его всё поддразнивала, приманивала. Да поглаживала – так он глуп. С ним и возвратилась через задние ворота. Кажется, у него нет еще рыбкиного хвостика. Но для развлечения, пока не забыла и пока он не отстает от меня, перефотографирую тебе:

\* \* \*

Лишь звука вещество  
Не ведает позора.  
Стихи из ничего  
Растут, а не из сора.

Компьютер, не спеши,  
Не всё тебе вестимо!  
С дном моря дно души  
Вполне сопоставимо.

Чего здесь только нет!  
Акулы и акриды  
И корабля скелет,  
И колыбель Киприды.

Но надо превозмочь  
Соблазн перечислений  
Иначе в эту ночь  
Всплывут все дни и тени<sup>27</sup>,

И мраморная пыль  
Распавшихся империй,  
И даже та бутылка  
Со справкой о Гомере.

Всё. Переписала, – и рассталась с чепухой, не нуждающейся ни в каком хвостике. И всё же поиграть с таким существом веселей, чем с Андрюшей в картишки.

(...) Почему-то именно за писанием тебе писем у меня кончаются ручки. Сейчас взяла третью. И снова начинаю

<sup>27</sup> Со дна всплывут все тени – в «Эхе» так.

готовиться к прогулке уже с Семеном перед обедом. Я его звала на улицу раньше, но он со своего графика не любит сходить. Вот я и побродила вместе со стишком. Вечером, а м.б., раньше допишу тебе письмо, которого вообще не должно было быть. Эти дневниковые излияния не нужны ни тебе, ни мне, а тем более Господу Богу. Ему я в последнее время забываю молиться. Мама.

7.5.1997

Только вернулась с обеда, как позвонил папа, сказал, что ты ему позвонила, довольна своей поездкой, приобретением картины Фридл. Голос у тебя хороший. Слава Богу. Спасибо за привет. Очень папе понравился и Манькин голос, такой высокий и ласковый к деду. Также радуется и разговору с Федей.

Сейчас комната полна солнца, но как жаль, что луч не умеет разговаривать. Птицы, однако, всё толкуют меж собою одновременно и беспечно и озабочено. Отучаюсь понимать язык людей и научаюсь осмысливать птичью речь. (...)

8.5.1997

Good morning, my little gerl. Now I have new thing. Please read it: [Доброе утро, моя маленькая. Есть новая вещь. Пожалуйста, прочти.]

\* \* \*

Хочется в рай, да грехи не пускают,  
Да и безгрешные сны,  
Где мои тонкие пальцы ласкают  
Легкую проседь волны.

Дальнее море, ах давнее море! –  
Там мой несбывшийся рай.  
Ангел с отливом змеиным во взоре  
Песне моей не внимай.

Сон мой покинь и исчезни из были,  
Нет, не проводывай явь.  
То, что когда-то мы сердцем избыли,  
Шелестом крыльев не славь<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> Триптих забвенья, «Эхо», измененный вариант.

Надо бы заглянуть в учебник, очень плохо помню, что и как пишется по-английски. Short: time cills me, but I cill time. It's very good for me / I fell fine. [Короче: время убивает меня, а я убиваю время. Очень хорошо мне, я чувствую себя хорошо]

9 мая 1997 г.

Доченька! Сегодня день Победы, Семен смотрел по TV получасовый парад, за обедом сосед рассказал, что видел по другой станции ещё один парад – 30 тысяч ампиловцев (Трудовая Москва) шли с портретами Сталина и с транспарантами: «Долой жидо-масонство» и всё в том же духе. А что же я? День изумительный 23°, солнце. Я надела сарафанчик (Оля<sup>29</sup> подарила) с широкой резинкой на талии, и в этом сарафанчике из жатого х.б. похожа на голубой шар. Так что – крутится-вертится шар голубой, и вертит какие-то стишки в голове и на бумаге, впадая в детство.

### 1.

Что видишь ты сквозь шарфик мамин –  
Сквозь ярко-розовый шифон?  
Армянской церкви серый камень  
Бакинским ветром раскален,

Как стены круглые тандыра,  
Где старики пекут лаваш.  
Нет, дымно-хлебный запах мира  
Забвению ты не предашь.

---

Рада бы в рай, да грехи не пускают,  
Даже – безгрешные сны,  
Где на волне мои пальцы ласкают  
Рыбью чешуйку луны.

Дальнее море, ах, давнее море –  
Солонопламенный рай.  
Ангел с вниманьем змеиным во взоре,  
Мыслям моим не внимай.

Сон мой покинь и исчезни из были  
И не навывай явь.  
То, что мы на море сердцем избыли,  
Всплесками крыльев не славь.

<sup>29</sup> Мамина сестра по отцу.

А вспомнишь ли на самом деле,  
В чем первая твоя вина,

И что в подсоленной купели –  
В слезе Христовой крещена?

## 2.

Как бабочек крылья распахнутые  
Восточной раскраски  
Цвели возле Каспия бархатные  
Анютины глазки.

И зори цвели олеандровые  
Над медью инжира,  
И все полусонные правды мои  
О странностях<sup>30</sup> мира.

В подводные ямы затягивало  
Петлей смерчевидной,  
И чтоб не погибнуть, поддакивала  
Я лжи очевидной.

Так детство кончалось, заискивая  
Пред страхом развязки,  
В петлицу забвенья протискивая  
Анютины глазки.

## 3.

Живешь у памяти во власти:  
Под знаком Авесты  
Поспешный шепот страсти,  
Замедленные жесты.

О как там серебрились<sup>31</sup> снасти  
От жадного улова.  
Но больше мне о счастье,  
Прошу тебя – ни слова.

<sup>30</sup> В «Ветре покоя» – «об ужасах».

<sup>31</sup> В «Ветре покоя» – «изгибались».

Пусть среднерусский дождь по жести  
Стучит, как по могиле,  
Пусть занавесит вест  
О том, как мы любили.

Дождь появился не неожиданно. Первое стихотворение начиналось:

Рыдает дождь во тьме еловой  
И молния слепит глаза.  
Да, да, вначале было слово,  
А вслед за ним была слеза<sup>32</sup>.

Только это 1-ое стих. я и прочла утречком, после завтрака, Семену. Он меня убедил, что эта строфа не нужна. А тремя последующими восхитился. Долго восхищался. М.б., и не нужна, а мне почему-то почти необходима.

Так что пока ещё крутится, вертится шар голубой. Новостей – никаких. Вчера ждала Пашку Крючкова – не пришел, видимо, «покупатель» не вышел. А всё же раз сговорился, должен был прийти. Но, вспомнила, как израильтяне опаздывали, помнишь, часа на два, думаю, почему бы русскому не опоздать дня на 2 или 2 недели. Целую. Желаю доброго лета. Mummy.

10.5.1997

Доченька! Спешу тебе дописать письмо – вот-вот за ним придет Яна. Спасибо, что позвонила мне. Хорошо, что я услышала твой голос. После твоего звонка я решила переписать тебе ещё стишата, но, видишь, Яна торопится забрать письмо.

Я-то думала: пока Сережа пошлет билет, я тебе, воодушевленная твоим звонком, пол-листа печатных накатать. Но, правда, новостей – никаких. Но мне хотелось тебе, если я уже не объяснила, насчет фурора. It's not my cup of tea, [это не для меня] увы. Так взлет – а там – мертвая зыбь. Но я не унываю, я и правда, как ты говоришь – «Кровь с молоком».

В не дошедшем до тебя письме я написала, что согласна с папой: уже ты должна раз в год дней на 10 приезжать к

<sup>32</sup> Потом это стало стихотворением. Мама его переписала, скорее всего, по предложению Семена Израилевича, и опубликовала в альманахе «Арион». «Гроза во мгле еловой / Сожгла мои глаза. / В начале было Слово, / Потом была слеза». Мне кажется, что в первоначальном варианте тема развивается органичней.

нам. Мы с ним малоподъемные. Если бы ты только знала, как я десять дней сюда собираюсь – жуть! Без посторонней помощи трудно. В смысле сборов Валентина Григ. – не помощь. Она, бедняга, вся устремлена к готовке свежей пищи. Но эти трудности – позади.

Спасибо Оле – она нас и привезла и разобрала. А не то, я бы и по сей день с вещами копалась бы. Но all – fine [все в порядке]. Красиво, зелень, поскольку весна только-только началась, особенного свежесалатового цвета. Как жаль, что тебе негде укрыться от жары. Тебе жара совершенно противопоказана. Что-то надо придумывать в этом направлении. But what? [Но что].

Я прекрасно понимаю, что твой грант, если его растянуть на полтора года – это едва свести концы с концами. Здесь неправильное представление о ваших ценах, образе жизни и т.д. и т.п. Жалко, что я не услышала Манькин и Федин голоса. М.б., тебе удастся прилететь сюда, побыть немного в тени и прохладе? Хорошо бы. Насчет Лос Анжелеса я не всё поняла. Когда-то ты мне писала, что тебе так и так надо написать, скажем, главу, чтобы получить от них деньги по представлению одной главы. Так о какой денежной мелочи из Лос Анжелеса ты мне сказала по телефону? Как я поняла, ты написала вступление к книге о Фридли, которую задумала. Естественно книга будет обо всем, что Фридли окружало и продолжает окружать. Как только будет возможность, пришли мне. Очень хочется прочесть.

(...) Леночка! Я хотела всем по отдельности написать, но теперь, выходит, некогда. Пожалуйста, передай поцелуй мой Сереже, Феде и Мане. Федю я не видела уже 7 с половиной лет – Боже ты мой! А кажется недавно была у вас. Конечно, если бы я могла оставить Семена с кем-нибудь надежным, я бы осенью и вдруг рванула бы к вам. Но мне почему-то кажется, что летом ты сама объявишься, если не будет срочного выезда в Америку. Но что-то я вижу, – они не спешат и не призывают всю семью в Санта Барбару. Или я ошибаюсь?

Напиши! Ну, доченька моя, пойду искать какой-нибудь подходящий конверт – запихать моё писание – из дому взята забыла. Если не найду, придется отдавать письмо Яне в разобранном виде. Но даже – в собранном, оказывается, до тебя моё тоскливое письмо не дошло, – ну и хорошо.

Kiss you a lot of time. Your mum. [Целую тебя много раз. Твоя мама]. Мама.

5.6.1997

Здравствуй, моя доченька! Именно – здравствуй. Ибо я ничего не знаю о тебе, а для меня главное, – чтоб ты была здорова. (...) Мне даже обидно, что телефон внизу почти всегда свободен. Так я хоть могла бы себя утешить: звонила – не дозвонилась. (...)

Какое счастье, что я набрала лишние килограммы в запас, как верблюдиха! На другой день после разговора с тобой – мама, ты у меня кровь с молоком, т.е. 11 мая, – я преждевременно не выдержала домотворческого питания, всё началось: язва, и все органы животные. Как твои экстрасенсихи тогда нагадали. Вообще всё взбрыкнуло, разыгрался приступ – воспаление, первые семь дней была на воде, зато избежала больницы, капельницы и т.п. С 76 кг перешла в более легкую весовую категорию – 67 кг. А как это чудно для сердца! Да и очень даже есть, куда худеть – ещё 7 кг. – и я – изящная старуха. Кое-что шкрябала перышком. Не помню, что именно я тебе в том письме посылала, но одно знаю: всё написанное переправила, привела в относительно удобоваримый вид. На диете – уже 20 дней. Ем геркулесовую кашу на воде, пресный творог, отварное перекрученное мясо (...), яблоки. Что касается костюмчика, который ты послала с Ивановой, он ещё пока у неё. Я ей все-таки дней 5 тому позвонила справиться, в каком № «Зн.» мои стихи. И тут она мне сказала про костюм – значит, не оставила в Иерусалиме. Звонила я и Юле несколько раз – узнать о тебе, Сереже и детях – ничего!

(...) Иногда меня навещает Андрюша, привозит поесть. С питания меня сняли, и это очень удешевило мое здесь пребывание, что тоже хорошо. Если повезет, меня кто-нибудь в воскресенье прихватит в город – позвоню. Мне нужно в понедельник-вторник оплатить наше здесь дальнейшее житье. (...) Тут приезжала к Семену редакторша «Аграф», где у него вышла «Квадрига», и от имени директора издательства сделала мне такое предложение: пишите какие угодно фрагменты – воспоминания из своей жизни и о других. Вы очень смешно рассказываете – это и надо читателю – пусть увидят, какой человек Инна Лиснянская, в книгу так же войдут многие ваши лучшие стихи, фотографии детские, семейные, с друзьями и т.д. и т.п.

Я сразу стала отнекиваться, на что это мне. Но Семен при редакторше меня остановил: отказаться можно, но надо

подумать – предложение хорошее. Леночка, ну что за хорошее? Это автореклама. Но Сема меня уговаривает: садись – пиши, если бы мне сделали такое предложение – я бы не задумывался, а принялся бы за дело. Не знаю, не знаю. Но одно знаю – писание стишков прекратилось, я вздрючилась, но писать что-либо не в рифму неохота, и всё тут. Вот и все мои новости. Сегодня – голодная – всё изошло, кроме яблок. А от геркулеса меня уже тошнит. (...)

Доченька! Здесь очень красиво. Правда, май выдался на редкость холодный и дождливый, да и июнь начался не лучшим образом – льёт и поливает. Однако такой вокруг пышный младенчески-зеленый, как в начале весны, пейзаж!

Дважды я с Еленой Суриц<sup>33</sup> ходила в конец Пастернаковской аллеи – там деревья образовали кучерявый свод – тоннель, выходящий к ручью. А над ручьем дивно поют соловьи. Воздух чудесный. А сегодня, меж двумя ливнями, я с Семеном гуляла по территории – всё в малиновых завязях, настолько частых, что даже я рассмотрела – прямо вдоль тропы. Такого я ещё никогда не видела здесь. Вот и вспомнила, какая бы тебе была малина здесь через месяц – ты же ягодница и грибница! Жаль, Суриц сегодня уехала, не с кем будет выходить за пределы д.т., а ведь даже такие маленькие впечатления вливают в меня силы и что-то надиктовывают иногда. Да, графомания – вещь неизлечимая.

В перерывах меж стишками и прогулками читаю. И – немало. Короче, живу очень хорошо. День рождения справлять не буду, просто на всякий случай запаса 9-10-го бутылки 2 вина. Для незваных, случайных. А так предупреждаю: не приезжать. Это не означает моего душевного упадка, отнюдь, нет. Дух мой – и впрямь кровь с молоком. (...) Даже хвалиться боюсь.

Леночка, поцелуй и перецелуй за меня всё семейство. Вопросов не задаю – бессмысленно. Яна приедет, что захочет, то и расскажет. А м.б., и письмо от тебя получу. Завтра с утра, если успею, ещё тебе черкну, хотя уже вроде бы – не о чем. Целую мама.

<sup>33</sup> Елена Суриц, Елена Александровна Богатырёва (род. 17 мая 1929) – российский переводчик прозы и драматургии с английского, немецкого, французского и скандинавских языков, вдова Константина Богатырёва.

17.6.1997

Доченька! Начиная письмо, не знаю с чего начать. Наверное – с твоего изумительного описания реки<sup>34</sup>. Да, H<sub>2</sub>O в разных состояниях. В спокойной поверхности отражается мир, хочет того река или нет. А стремнина дает только ничего не отражающую, несущественную пену. Да так ли это, м.б., стремнина незрительное отражение бега души и времени? Тут у нас с тобой разные не клишированные (хотя, что плохого в клише?) восприятия сущного и не сущного: ты, в основном, видишь, а я – слышу. Это не означает, что ничто зрительное не попадает в меня, т.е. в стихи. Но такое – редкость. Так вот я слышу стремнину, она несет мою душу или осколки её и, поэтому я изо всех сил тщу её остановить, ввести в спокойную форму. По мне если нет формы, нет звука мысли. Чтобы войти в форму, я и открыла тетрадь в linedчку, где собиралась писать о разных событиях моей жизни и вообще для книги моей и обо мне. Я тебе уже писала, что мне сделали лестное предложение – издать нечто вперемежку со стихами, воспоминаниями, автобиографическими зарисовками, фотографиями моими разных лет, моих близких – родных и друзей. Но, получив твои подарки (спасибо!) и твоё полуписьмо-полуэссе авангардистского толка, решила эту тетрадь синюю употребить как письмо к тебе.

Авангардизм твой, разрушая форму, ищет истину, поэтому, думаю, – крутятся сейчас в стремнине, ты обернешь её в ту гладкую поверхность, в которой отражается мир гармонический,

<sup>34</sup> Мамик, еще я тебе хочу написать про реку. Представь себе ясный безветренный день. Вдоль реки – деревья и дома, они зеркально отражаются в спокойной глади. Посреди реки – плотина. Бурное течение за плотиной и тут же – спокойная гладь с отражением. Стремнина пузырится, несется, ничего не отражает. Гладь спокойна. То и другое – вода, воды одной реки.

Плывет пароходик, искажает отражение. Уплывает – отражение выравнивается.

Отражение – видение. Стремнина – движение. По сути оба они – та же материя – H<sub>2</sub>O – но отражают разные процессы сознания. Когда ты несешься, ты не видишь. Когда стоишь – в покое – в тебе отражается мир. Река не знает, что в ней отражается. Это видит Божественное сознание. Так поэт в минуты вдохновения (священного покоя) отражает в словах то, что в его сознании, того не осознавая. Другой вариант – он стремнина и выплескивает все, что рождает поток.

Чтобы добраться до глубины, нужна тишина – в шуме и гуле рождается пена, что красиво, но не сущностно.

Этот пассаж – мой тебе словесный подарок ко дню рождения. Другие тоже будут. Я очень по тебе скучаю, по Семену Израилевичу ох как! Мечтала бы к вам закатиться, но вижу – горы-горы работы, читать-переводить-записывать – иногда спохватываюсь – где я, что со мной, почему читаю в архиве документы о том, как католики и протестанты молятся в гетто, вместе, в одном помещении, и на всех – желтая звезда. Сроки, которые я себе ставлю, это та же история с горизонтом. Чем ближе, тем дальше. Но нужно быть усидчивой. Знаешь, что это для меня?! Целую, тебя и Семена Израилевича, в оба щеки! Лена. (ЕМ. 7.6.97.)

по-новому осмысленный творцом и тобой, стеклянные осколки вселенского стакана сойдутся, как отдельные детали мозаики, и дадут цельное, а не разрозненно-составляющие целостность бытия.

Сейчас тебе очень тяжело. Эта тяжесть, как говорится, не из носу выковырена. Ты в своем стремнинном письме не одной сопли не допускаешь, да и не одной слезы не роняешь в свою стремнину.

Милая моя, тем больше мне читать и выхватывать из бурлящего потока то, что тебя мучает, ранит. Не дает опомниться и успокоиться. Ты столько мук претерпела за последние полтора года! И на душе у тебя – ой, какая смута. Тут стремнина летит вместе с грузным туманом, который обычно сильное движение останавливает. При скорости ветра или воды обычно тумана не бывает, а как вынести скорость ветра, обремененную туманом? Тебе это удастся как художнику, но не как человеку. А для меня, матери, какая я ни есть, ты сначала дочь, а потом уже – художник.

Вдруг из стремнины выскакивает прозрачный осколок бутылки, в которую была запихана тайна: «отцы и дети», в данном случае, мать и ребенок: «Мама швыряет мне в лицо желто-черную куртку – больше я ей не дочь. Коричневая комната – без рембрандтова света – она устала жить со мной на дне того стакана».

А на дне того стакана,  
Как ни глупо, как ни странно,  
Пребываю постоянно  
Там, где ты моё дитя.

Но ты больше в это не веришь и пишешь: «Я должна найти себе укрытие – гигантскую раковину, улечься в её липкую слизь», и дальше: «не полная ещё пока тьма, но уже полное одиночество. Не с кем здесь разговаривать – некому жалиться...»

Боже мой, моя доченька! Я-то тебе жалюсь на всякую ерунду, а ты мне уже и пожалиться не можешь напрямую, не прибегая к метафоре. Я-то думала, что два одиночества, столкнувшись, могут найти для души исход, обрести катарсис. Но выходит: одиночество, помноженное на одиночество, дает одиночество в квадрате. Мне, лишенной всякого перемещения в пространстве, которое и есть живопись, страшно не только согласиться, но и думать об этом настолько, что я перестаю слышать бег-шум времени, т.е. музыку.

Леночка, я всех обманула. Моя книга стихов, воспринимаемая многими как простодушный дневник Нарцисса – почти совершеннейший вымысел, нас возвышающий обман и наоборот – нас унижающий обман. И те стихи, что я тебе послала (теперь уже переделав), отнесенные якобы на берег Каспия, где «ангел с вниманием змеиным во взоре», – совсем недавно случившаяся реальность-выдумка. Некоторые лица я сдваиваю и страиваю будто бы в себе. Выхватываю одну памятную деталь из моей жизни, например нюханье сандалий, и рисую совсем не себя, а тебя или еще не весть кого. Тебе нужна гигантская раковина, мне – маска простодушной юродки. Я-то и людей сейчас узнаю не по лицам. А по маскам. Моя лирическая искренность часто подкупает и внушает мысль, что всё, что я пишу – автопортрет. Какая доверчивость к дневниковой обманке, и какая ошибка!

Вот я упомянула «сандалии». Действительно, когда я осталась девочкой без мамы, нюхала оставшиеся от неё разные тряпочки. Но в окне-рамеине я видела только тебя и свою безысходную вину перед тобой, хотя никуда ещё от тебя не уходила до твоих 16-ти лет. Сердцем, правда, разрывалась между тобой, своими любовями и стихами. Но об этом лучше скажут сами стихи, которые я тебе в прошлый раз не переписала. Т.е. не о любвях и стихах, а о тебе. Ведь ты и тогда, маленькой, ожидала меня скорее зрительно, чем на слух. Это я сидела под швейцарскими часами и считала не только удары до прихода папы с работы (моего папы), но и слышала, как стрелки передвигаются. Вот этот «дневник»:

Весь год меж прихожей и кухнею  
В том венецианском окне  
Я девочку вижу не с куклою,-  
С обувкой на желтом ремне,-

Сандалии мамины нюхает,  
Оставленные второпях,  
И как-то по-старчески охает  
И прячет в сведенных бровях

Такое раздумье горячее  
Над первой бедой бытия,  
Какое и слезно-горючая  
Не ведает старость моя.

Стоит моя память, как в рамине  
Портрет, и терзает вотще,  
И вырваться тшусь я из времени  
Прошедшего и – вообще...<sup>35</sup>

Сюда была подклеена разъясняющая строка, нерифмованная: Из всякого времени. Но я поняла, что «вообще» говорит об этом вполне внятно, добавляя ещё кое-что.

Доченька, меж потоком сознания и подсознания ты вдруг обращаешься ко мне: «Я разучилась писать». Что писать – прозу или письмо? Прозу – дай Бог многим умеешь, хотя иногда надо из стремнины сделать шаг к глади, не к гладкости. Письмо? – М.б., и разучилась, особенно – мне. Хочется тебе влезть в гигантскую раковину – голове тепло, ногам холодно. Но ты для меня вдруг обернулась той раковиной, в какую я хочу влезть, не желая раздавить моллюска. Но ты не даешь, не раскрываешь створки, не впускаешь.

Как ни выразительно твоё авангардно-метафизическое послание, твоя глупая мать-стихотворица очень нуждается в твоей обыкновенности. Ты пишешь, что даже зазеркалье – клише. Но я опять напоминаю, что я не против клише, конечно не в его газетном смысле. Банальность – великая сила искусства. Возьмем Шекспира. Вдумаемся, – сюжеты совершенно банальны, расхожи – но вложенная в них гениальность, вправленная в тогда ещё совсем новый ритм, – созвучна как знатокам, так и банальнейшей массе. В русскую поэзию пришел Бродский с метрическо-ритмической формой – формулой этого быстринного века. И с новой музыкой появился новый смысл познания жизни и смерти. А м.б., смысл этот дал новую гармонию? Не знаю. Да и мне ли знать это, не преуспевшей ни в музыке, ни в смысле. Пока ещё широкой массе (наверное, и с Шекспиром нечто подобное было) Бродский не слишком ясен. Но – будет совершенно доступен в новом тысячелетии. А разве Мандельштам был прост? А сейчас кажется таким ясным на фоне того же Бродского.

Начала с клише, а продолжаю о сложности, к которой никак вроде бы Шекспира не привяжешь. Вдруг забыла, чьи строки:

Я понять тебя хочу,  
Смысла я в тебе ищу.

<sup>35</sup> Опубликовано в книге «Одинокий дар».

Со мной это случается то и дело. Но вот ты пишешь о смысле:

«Человек в поисках смысла – при этом человек может быть везде – на море и на суше – смысл при этом не будет нигде. И не потому, что он не виден, а потому что его нет». Дальше ты предполагаешь что смысл:

«Или он вне – положен  
Или он внутри – упрятан  
Ясно одно – он не там где мы  
Или мы не там, где он».

Я с тобой не спорю. А спрашиваю: если смысл «внутри-упрятан», то что это за «внутри»? Душа ли? Или это емкость того стакана, который вдребезги разбит и только острые осколки его отображают быт? А почему не сделать дерзкое предположение, что не мы ищем смысл, а он ищет и находит нас? Это уж точно – не клише. Это уже был бы Божий промысел. Или если ты не веришь в таковой промысел, то пусть промысел хаоса.

Поскольку я упомянула Бродского, то, ссылаясь на свои о нем размышления, ещё скажу: его, наверное, этот смысл настигал в разных точках богини Урании – и в её пупке – Европе и в прочих точках её изрезанного водоразделами океанами, реками, озерами –

огромного тела Урании же не без помощи, например, Овидия Назона, помогало Бродскому и в постижении Времени. Как он сообщался с прошлыми и будущими временами (см. его «письмо к Горацию», англ.)! Иногда мне снится, что несмотря на мою неподвижность, смысл очень редко, но находит и меня, сначала проникая в речь, во все. А как ты думаешь, живи сейчас Кафка, раздробил бы он свою речь на стекло? Время разбрасывать камни (стекла) и время собирать камни (стекла). Это далеко не полемика с тобой, а тем более не нравоучение. Мне ли нравоучать? Но твои осколки очень изобретательно и с большим отчаянием описанные, ранят не только материнское сердце, но и любое полоснут. Вопрос, а надо ли ранить? Ранениями и живо искусство. Именно – ранениями, а не саморанениями. Саморанение – не самоирония, а самоубийство. Вот этим мы, пожалуй, не должны с тобой заниматься, – как ни самокопательны и эгоцентричны не были бы.

Что касается меня, я пытаюсь себе самой доказать, что являюсь только отражением мира. Делаю это на уровне моих художественных возможностей в тех редких случаях, когда то ли

смысл, то ли музыка настигают меня. Недавно я мучительно думала о том, что ямб – это моя яма, моё клише метрическое, из коего я никак не могу вылезти, а значит, – есть гладкая неподвижная поверхность (почти твоё размышление о реке, но вывернутое). Всё, что в этой поверхности зеркально отражается, есть сон о себе самом. Такой глубокий сон, что не позволяет ни одному нерву шелохнуться, и поэтому нет сил извлечься, чтобы сделать, если не физическую попытку, а попытку воображения, и переместиться в пространстве. Мучительно я думала об этом как-то, отходя ко сну. Утром проснулась и в холодных лучах мая, дождя, листвы записала подряд три стишка.

### Отражение

#### 1.

Вся жизнь твоя – остроугольник  
Без биссектрисы.  
Тебе позавчерашний школьник  
Принес нарциссы.

И нарцистические грезы  
В тебе воскресли,  
Ты куришь, не меняя позы,  
В казенном кресле.

В окно гостиничного типа –  
В быт без оправы  
Посулом меда дышит липа  
И ядом славы.

#### 2.

Я – отраженье всех зеркальных  
Живых и не живых вещей, –  
Ручьев и кранов умывальных,  
Эдемских крыл и inferнальных  
Отполированных мощей.

Я даже крышкою рояля  
Отражена как негатив.  
И мне принадлежат едва ли  
Мои вселенские печали –  
Они лишь отраженный миф.

И в этом не было бы драмы,  
Когда б я вылезти могла  
Из круглой музыкальной ямы,  
Ямбической, где нет угла  
Привычного и амальгамы  
Весны на плоскости стекла.

## 3.

Непонятно, кто и в чем  
В мире отражается,  
Это плохо на твоём  
Сердце отражается.

Постарайся не смотреть  
Ни во что блестящее, –  
Ни в фольгу, ни жёсть, ни в медь,  
Даже в здесь висящее

Зеркало, где бытие,  
Словно сердце стихшее,  
где умрет сейчас твоё  
Двенадцатистихшее<sup>36</sup>.

Что это? Выходит в мае, в разных температурах, в разных точках Урании мы с тобой задавались одним и тем же вопросом – отражением? И почему остроугольная жизнь сетует, что исчез вдруг привычный угол. Не проклятый, например, а привычный.

Это не твой ли осколок стекла? Тот же. Правда, в нем я не вижу ни Босха, ни Рембрандта, как ты<sup>37</sup>. Я просто уговариваю

<sup>36</sup> Опубликовано в «Арионе» 1998, №1

<sup>37</sup> В полнолуние стекла тяжелеют – наливаются глицериновым светом. В полнолуние Босха видение – если вам угодно – но не все полотно – лишь остов адский – и без фигур выражающих вождение – Ад – это рай вверх ногами, вверх тормашками, опрокинутый, там где ты прежде стоял, теперь вешишь, шалтай-болтай наказанный. Проверим эту картину – заложим ее в машину – и если картина (по мнению Кандинского) в черно-серо-белом варианте не утратит композиционной цельности – она хороша. Босх на ксероксе – выведен на черно-белую воду. Знай, Иеронимус, твой кроваво-красный и мутно-зеленый неодинаково серы – кроваво-красный серей мутно-зеленого. Ночью – при полной луне – земля значительно серее неба. По шкале Итена. Осколок сна (непрозрачный)

себя – он привычный, а раз привычный – боли не нанесет. Это боль жизни. А вот яма круглая, гладкая накатанного ямба, каким-то образом причиняет огромную боль. – Это боль моего несостоявшегося искусства.

А ты говоришь – влезть в раковину – не дай тебе Бог. Я в ней давно сижу – но иначе, голове – холодно, ногам настолько горячо, что они боятся ступить на землю, чтобы в конец не стогреть. В море – всегда лучше, чем на земле. Помнишь мой подводный цикл:

Впервые – никого и потому  
Впервые в жизни мне не одиноко<sup>38</sup>.

---

Мама швыряет мне в лицо желто-черную куртку – больше я ей не дочь. Коричневая комната – без рембрандтова света – она устала жить со мной на дне того стакана  
я должна найти себе укрытие – гигантскую раковину – улечься в ее липкую слизь раздавить собой моллюска

я уже большая – раздавлю собой моллюска.

Мои ноги в растворе створок – голова в теле моллюска – голове тепло – ногам холодно – неполная еще пока что тьма но уже полное одиночество

Не с кем здесь разговаривать – некому тут жалиться...

Но я знаю много стихов

не наизусть

про пустоту – на ней жирные пятна

про плащ – его украла Лесбия у Катулла

про я вас любил чего же боле... (ЕМ. Июнь, 1997)

<sup>38</sup> Стихотворение 1974 г.

Тот – не по сердцу, тот не по уму,

В забвенье этот канул, как во тьму,

Лишь поняла, что верила жестоко.

Впервые – никого, и потому

Впервые в жизни я не одинока.

Брожу по дну, похожему на сад,

Из водорослей я вяжу наряд,

И свод волнистый подпирают плечи,

На них тычинки в лилиях горят,

Как в кружках на столе горели свечи.

О чём молиться бабушка могла,

Зачем крестилась, глядя в зеркала,

Как будто там бесовка отражалась?

В сырую землю бабушка ушла,

А я навек с землёю распрощалась.

В воде просторней, чем в земле сырой, –

Две лилии мерцают над волной,

И мне легко их подпирать плечами

И весело существовать одной

Подводными зеркальными ночами.

Это ведь тоже не дневник, а заклинание, уговаривание себя и м.б., воображаемого собеседника: в истинном одиночестве мы не одиноки. Не думай, что я в этой тетради хочу сделать критический экскурс по своему стихописанию. Нет, вру, пожалуй, и это мне здесь надо, чтобы не прах с ног отряхнуть, а хотя бы пепел с сигареты. А вот так, как ты закрыть крепко глаза, чтобы видеть чудесные цветочные пятна, я уже не способна. Мне это страшно. В 33 года я это уже видела, но в галлюцинациях, в этой больнице, где ты едва узнала свою мать. Галлюцинация (уж лучше посох и сума) и тюрьма, чем эта не четвертая реальность? Я ведь не понимала, что это глюки, а думала, как меня пытаются и убивают направленными на меня разноцветными резкими пятнами. И я радуюсь тому, что ты зажмуриваешься и видишь эту красоту – значит, здорова душевно. Я же себе подобного эксперимента позволить не могу, имея остаток холодуумия.

Леночка, пишу тебе уже 4 часа кряду. И мечтаю о компьютере. Здесь же пишу без раздумий и правки. Вот вернусь в город, авось и куплю чудную игрушку. На ней быстрее получится, чем пером по линейке. А м.б., она меня, эта игрушка, застопорит своим великолепьем. Все-таки привыкла я к жизни аскетичной, отручной, безфаксовой, безинтересной. Порой с дуру кажется, что техника визуальная послужит мне подъемным краном и вытащит меня из ямбической ямы, из круглого клише. Ты вспоминаешь свою бабушку: «Человек предполагает, а Бог разлагает». А я при мечте вылезти из ямы, вспоминаю, как как моя армянская баба Соня во время войны, голода, вздыхала: «Мечты, мечты, где наши сладости!»

«Сладостями» в Баку называли все выдаваемое на пайку: сахар или «подушечки» (такие были самые скромные конфеты). Пожалуй, эти подушечки и ты помнишь: повидло в простейшей мuke – под карамель. Ведь и после войны жили не жирно. Сейчас и м.б., до завтра прервусь. Что-нибудь перекушу, коли о сладостях зашла речь. Я по-прежнему на строгой диете – аскеза. Яна мне привезла вчера вместе с подарками от тебя – творог, яблоки, простоквашу. Вот сейчас и попирую.

Целую мама.

Всё то же 17.6.1997

Дорогая моя девочка! Поела и за сигарету, и за перо. Оказалось, что искурила за письмом без одной сигареты – пачку. Жуть. А я и не заметила, что всё время в левой ручка-перо, в правой – сигарета. Прежде, когда я тебе писала письма гармошкой в длину семь метров, я врала, что мне некуда время девать, избыток – вот и строчу тебе обо всем, а скорее, что не попадая. Тогда у нас был с тобой роман, связанный с твоим романом «Смех на руинах», который мне и по эту минуту очень нравится. И судьба «Смеха на руинах», как всякий смех, пока горька. Но роман есть. Не буду тебя внедрять в клише «Рукописи не горят». Многое сгорело и в Терезине, где ты душевно-мысленно, да и физически (архивы-съемки и т.п.) обретаешься.

А сейчас ты мне предложила не «Смех на руинах», а стеклянные осколки от руин. И мне к этим осколкам кроваво прикасаться: «Осколки гигантских сосудов некогда вмещавших в себя то, что я называю смыслом».

Ей-богу, говорю я тебе и себе, надо жить легкомысленней, жить данным мгновеньем, если даже от на время утраченного смысла одни осколки. Да и грядущим жить опасно – многое можно проморгать, ожидая лучшего. Третьего дня записала строки, но стихотворение так и не дописалось, м.б., вернусь к нему, как только испишу эту тетрадку, пока не звучит во мне ничего из-за осколков.

Оно началось всерьез, а прервалось на почти частушечной шутке: Первое четверостишие сохранию. Но тебе и шутку перепишу.

Я так долго живу, что уже понимаю ворон  
Мне орущих сейчас, что я уйму грядущих времен  
За спиною оставила. Правы, – я, дурья башка,  
Из былого себе не оставила и посошка,  
Чтоб чертить по гряде облаков и по горной гряде,  
По листу, по песку, по огню, по стеклу и воде:

Что должно произрасти – произрастет,  
Что должно произойти – произойдет,  
Будет имя на слуху,  
будет шуба на меху,  
а иначе – ни ху-ху,  
Ни ху-ху<sup>39</sup>.

<sup>39</sup> Неопубликованное.

Видишь, как одновременно мы думаем с тобой об одном и том же, да совсем по-разному. Я сожалею, что для «умной» жизни себе посощка не оставила, а ты острый осколок подбрасываешь. И где ты его надыбала? Надо же – на страницах ты уложила столько осколочной жизни, так виртуозно и так порочно по андеграудескому замыслу. Правда из 17 стр. ты уделила моим стихам 7 страниц. Вроде бы мне письмо, а нет! Хотя обращаешься ко мне и во многих местах, я себя нахожу, прямо или косвенно, на 7 стр. – прямо и косвенно – для читателей. Такая петрушка, я даже догадываюсь, что этот текст далеко не у одной меня ныне находится<sup>40</sup>. Нет, нет, никакого недовольства с моей стороны! То, что я себя угадываю, естественно, а вот другой меня увидит только в прямых обращениях. И в начале встроеной в текст сказки «жила – была одна сударыня» – мой гротескный портрет, и «спасите-помогите»! И капризная, правда, не потливая, ибо весь пот давно у меня в слезы ушел. Ах, как хочет эта сударыня, чтобы её пожалели! Хотя жалость ищет в плотском избавлении от жира и жары. А всё же – от жира. А я воплю в ответ: Не до жиру, быть бы живу, но мне, бесстыднице с самого детства, с детства ущербного, хотелось, чтобы меня жалели и сейчас, в конце жизни, того же хочется. Почему же, если я жалею других, не пожалеть меня?<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Мама ошибалась. Это было письмо, адресованное ей одной.

<sup>41</sup> Эта сказка ровно никакого отношения к маме не имела. Я просто записала историю, которую сочиняла вслух для своего приятеля-чеха, изначально по-чешски.

Когда меня ласкают я могу сочинять сказки  
не стихи

задайте мне любой предмет в прозрачном весеннем лесу – где сквозь беременные стволы  
в истоме ожидания

молчат набухающие цветистой зеленью земные пригорки

или у реки с опрокинутым в нее отражением домиков с черепичными крышами окнами и  
тюлевыми занавесками и даже женщиной сидящей у зеркала вверх ногами –

избитую головокружительную чистоту мне не задавайте.

Это клише, мне прошу задавать предметы – веер, страус, катушка....

Отраженный мир покоен – а от камня брошенного в речной каток – каток? Каток – это зима  
Брейгеля, не годится. Речная гладь? От камня брошенного расплывутся по воде круги и исчезнет мир зазеркалья, где зазеркалье – клише

человек в поисках смысла – при этом человек может быть везде – на море и на суше – смысл  
при этом будет нигде. И не потому что он не виден, потому что его нет.

или он вне-положен

или он внутрь-упрятан

ясно одно – он не там где мы

или мы не там где он

Здесь мы напарываемся на острия осколков.

Осколков гигантских стеклянных сосудов некогда вмещавших в себя то что я называю смыслом. Другие называют это чучу, мучу, или как-нибудь еще.

А жалею ли я других – вот вопрос. Или это тоже фикция? Скорее всего.

...«Стрекоза прилетела – перед носом села – посидела – да и улетела»<sup>42</sup>. Таким прилетом и улетом мне представляется твоё пребывание этой зимой в Москве.

А я так хотела подольше тебя видеть. Ещё мечтала тебе стихи за 96-ой год почитать (вот такой эгоизм после того, что ты

---

#### Веер

Слово на берегу реки – ползет букашка по зеленой сабле травы – с чего вдруг веер – а почему бы и нет – не задавать же то, что окрест – пароходик, он плывет важно и долго – в голубом подгузнике с веселым разноцветным флажком курит трубку выдувает в голубое небо темно-серые колечки...

#### Веер так веер

Жила-была одна сударыня. Пышнотелая и потливая. Поэтому капризная. Знай себе кричит – ах, я умру, ах, как мне жарко, спасите-помогите! Слуги ее неустале (чешск) обмахивали всем, что под руку попадет. Биржевыми новостями, нижним бельем, страусиными перьями, а она знай, вопит, ах, мне жарко, ах как мне жарко.

Ехал однажды мимо заречный купец. Услышал он крик и поспешил к дому. И видит, сидит сударыня на крыльце и плачет, ах, умру я умру от несносительного (чешск. сударыня не была чешской, это сказка про веер была на чешском языке, с ошибками) хорка, жары, по-нашему.

Сударыня, – обратился к ней заречный купец; я ваш жар разом погашу, если будет мне на это ваше позволение! Позволяю, позволяю, только погасите!

Но с одним условием.

Сударыня согласилась на условие.

Повелел заречный купец своему слуге сгрузить корзины с товаром прямо в спальню к сударыне. Всю ночь погашал он сударынин жар искусными ласками, доставая из своих корзин веера самых замысловатых расцветок и обмахивая сударыню повсюду веерами японскими и китайскими парагвайскими а главный веер с острова Бали у них был для обоюдного щекотания. Избавил заречный купец сударыню от нестерпимого жара. А что же наутро, как быт днем, как стерпеть вечер в жаре и комарилье?

Решила сударыня за добрую цену скупить у заречного купца весь товар оптом. Сказано – сделано. Уехал купец, стала она себя обмахивать – еще пуще употела – призвала слуг – никакого проку! Стала сударыня тосковать, сошла с лица и с фигуры. Пароходик случайный заплывет, она к трапу – никого, или кто-то, но не он, купец ее заречный.

Купец же меж тем прокутил все сударынины деньги, пошел с шапкой по миру. Да кто ему подаст? Решил он попытать счастья у сударыни, год до нее добирался (кутил-то он не в заречье: за морями-океянами), так что зря ждала она его у причала, он явился пешком, гол сокол, с пустою котомкою. Ну и радости было, ну и радости! Купец заречный признал в усохшей сударыне ту, которую избавлял от жара, а она в замурзаном обтрепаном мужичонке узнала своего заречного избавителя. Сыграли они свадьбу, и родились у них веера – столько вееров нарожала сударыня, что если поставить их в ряд – это как от Карлштейна до Праги, во всю длину лесной королевской дороги.

Стали они жить поживать, добра наживать, пока не пришел и им срок, как каждой вещи и делу на земле. Осталась от них веерная фабрика. Каждый, кто случайно забредет в эту глушь, развевет руками, помилуйте, везде люди – в зонтах и шляпах, а эти – ну сплошь в веерах!

<sup>42</sup> ...Стрекоза прилетела – перед носом села – посидела – да и улетела

А теперь наставь лицом на солнце и крепко зажмурь глаза. Со всей силы. Сначала чернота. Вдруг в ней желтый сполох. Поймал? Теперь не зажмуривайся, но держи глаза закрытыми, – должны появиться ярчайшие цвета они имеют границы – изумрудная зелень – элипс – рядом ярко-красная капля. Видишь? Не видишь?! (ЕМ. Июль, 1997)

пережила). И что подделаешь с жуткой матерью (это осколок в себя, а не в тебя), когда она считает, что лучше дочери никто в стихах не разбирается.

Доченька, вообще о чем бы я не думала, чтобы я ни писала, ни делала, главное, о чем бы не размышляла – ты всегда присутствуешь как фон жизни. Но как фон может быть одновременно и внутри существа? Этого я не могу объяснить. М.б., ты, как знающая глубоко искусство, как-то обоснуешь это. Не забудь просьбу – обоснуй. Есть ли фон только то, на что накладывают краску, или он может сам быть составляющей.

Неизвестно, сколько ручек изведу, вот уже одна закончилась. Семен очень твоему подарку – ручке – обрадовался – только потерял, и вот, пожалуйста, подарок. Поначалу я не знала, что она ему предназначена – люблю от тебя ручки и тетради получать. Настоящее бедуинское колечко – на мизинце в аккурат. Спасибо! Крем подошел, но, оказывается, и здесь имеется. Это я никогда в магазине не имеюсь, не потому что не продаюсь, а потому что не дойду. Вот и ещё остаток ручки изошёл, пишу той, черной, которой писала стихи, и какую для них же берегла. Попрошу Яну, чтобы сделала мне подарок ко дню рождения, она собирается приехать, или ручку с черным стержнем или пару стержней.

День рождения разводить не собираюсь. Но, видимо, что-то сделать придется. Наталья Иванова приходила, принесла мне «Знамя» № 6, открывающееся моими стихами, твою посылку (письма там не было) и посулила, что 24-го поздравит меня гонораром. Так что неожиданно-негаданно, а кто-то заявится. Более-менее постоянно приходящий ко мне народ 24-го я упредила – не справляю.

Да и день какой – 24 июня. В этот день родилась не только я, мелкая стихотворица, но и великая Ахматова. И если мой эгоцентризм так же мелок, как моё стихотворство, (кроме того, я о себе, в основном, говорю, а всё делаю для других), – то в великих – всё велико. Если бы ты прочла её записные книжки – неслыханный эгоцентрик даже в тех случаях, когда словесно печется о других, в первую голову в виду имеет свои интересы. Так – о Гумилеве, главное – доказать, что кроме неё, он и никаких других женщин не любил. Нет, эту книгу надо достать и прочесть тебе. Крайне интересный характер, редкий по эгоцентризму – да ещё при такой тяжелой жизни! Но волнует её – слава – вначале и та, что возродилась в довольно преклонные лета

– просто удивительно, как подобный эгоцентризм пропустил сквозь себя всю подлунную и подсолнечную. Главное – подлунную. Ахматова с детства лунатиком была. А что меня особенно поразило, так это то, что записные книжки явно были предназначены для посторонних глаз, иначе бы она так тщательно не зашифровала свою последнюю любовную привязанность, проще – связь. Неужели Ахматова, строя свой образ, смотря на себя чужими глазами, всё же не видела себя со стороны, свой всеобъемлющий эгоцентризм. Можно предположить, что я отношусь к Ахматовой без обожания, говоря о её характере. Отнюдь, нет. Так уж устроена моя голова – мозг фиксирует, а душа только обожает. Так я отношусь и к тебе, а кроме тебя ко всем поэтам, которых люблю. Я об этом написала, нет, не совсем об этом, на этой неделе стишок, вот он.

\* \* \*

Быт мой вовсе не молью трачен,  
А древесно-райским червем.  
Каждый вечер, – а час назначен –  
Подхожу в закутке своем

Как лунатик, я к полкам книжным,  
Где любимые все стоят, –  
Стекла при канделябре недвижимом,  
Как при полной луне блещут,

Наугад рукою неспешной  
Извлекаю кого-нибудь,  
чтоб пройти и святой и грешный  
Здесьний путь и тамошний путь.

А сегодня сию я с Фетом  
И не смею ни быть, ни сметь...  
Я умру от любви к поэтам –  
Это чудная будет смерть<sup>43</sup>.

Да, вот так с книгой в руках и исчезнуть, даже ничего не осознав от восторга. Но это – для праведника. Не для меня. Неужели Самойлов – праведник? Ведь он умер мгновенно за

<sup>43</sup> Опубликовано в книге «Ветер покоя».

кулисами, кажется, на вечере, посвященном Пушкину. А м.б., не Пушкину. Забыла – на чьем. Пушкин сразу пришел на ум, ибо Самойлов делал себя Пушкиным в миниатюре. Про него ехидничали: наш Пушкин.

Легкость слога Самойлов изумительно усвоил, был изыщен, порой воздушен. Но не всякой легкости доступна глубина и всеохватность. Его, Самойлова, начинают забывать, если уже не забыли. Жаль мне его, да и что говорить – и себя жаль в этом смысле. Что-то, а писал он лучше меня.

Леночка, завтра похороны Булата. А умер он в Париже 12-го, в день Независимости, о которой он так мечтал и так в последнее время горевал, – дескать – иллюзия. Я была в какой-то мере внутренне подготовлена к его уходу в лучший мир. Мы перезванивались, я знала от Александра Недоступа, что у него один только участок легкого дышит – остальное поражено тяжелой эмфиземой. Ещё 2 года, а то и 2 с половиной тому к его смерти меня «готовила» его Оля. Зачем некоторым женам так нужно вдовство? Запомнился её телефонный звонок мне: «Инна, Булат стоит на краю смерти, а я его никак не могу уговорить креститься». Я была потрясена: «Оля, Господь с Вами, зачем Булата уговаривать делать то, чего он делать не хочет? Это же интимнейшая вещь, гораздо более интимная, чем Ваши с ним отношения. У Булата Бог в душе, разве Вам этого мало? Да и если он так плох, а Вы настаиваете на крещении, он же Ваши мысли о своей смерти читает» – я целую отповедь ей по телефону прочла. В последний раз Окуджава звонил мне недели за две до своего отъезда, говорил, что собирается в Германию – концерт – подзаработать, а потом – в Париж – отдохнуть, побродить, – встретимся в Переделкине. Тут я начала его увещавать: лучше бы не ехать в Германию и в Париж, а сразу в Переделкино. Ведь только в начале апреля разрешили на улицу выходить, да и в свет. Ну, конечно, не настойчиво советовала я, мы с ним уж не такие близкие друзья, чтобы мне настаивать. Но, видно, так суждено – ушел Булат в день Независимости, подтвердил полное совпадение жизни со смертью. Вот его мне, как Самойлова, не жаль. Его песни, как мне кажется, не пропадут. У него какой-то народный талант. А себя, т.е. нас без него – жаль. Какое трудное у Булата было детство – отца расстреляли, мать репрессировали, потом она вернулась, помню, я была в гостях у него, мать невысокая армянка приготовила долму. Булат, обращаясь к нам, восхищался, а нас было: Вознесенский

с переводчицей с польского (первая ласточка перевода), да я. Булат восхищался: «Ну, какова долма!» – а слышалось: какая чудная у меня мама! Ну, да, детство было тяжелое, но тяжелое общей тяжестью для многих. Не индивидуальная тяжесть, как, например, у тебя. Вот и разные осколки острые – оттуда. А ведь 40 лет даже с половиной, как мы с Булатом познакомились и подружились. Помнишь, когда я почти сожгла руку в Баку от взрыва газа в голландской печи? Помнишь, как я бегала, уже перевязанная, по комнате и орала: «Зачем вы Ваньку-то Морозова» и др. песни. С одной стороны мне было слишком больно, чтобы не кричать, и я придумала петь во весь голос Окуджаву, чтобы тебя своим ором не пугать. С другой стороны – его песни приносили успокоение. Вот и сейчас я его слышу и слушаю – что-то таинственное есть в наиточнейшем совпадении слов, музыки и голоса Булата. Высоцкий иногда меня пронзал, но, нет – такого совпадения никогда в нем я не находила. Видимо, совпадение и есть успокоение, искусство, даже самое трагическое, утешает. Окуджава не трагичен, но он и не драма, из которой выхода я не вижу. Постмодернизм и вытекающие из него прочие темы что-то едва сдвигают в искусстве, но Исхода из него нет. Исход дает только трагедия или чудесное совпадение Жизни и Смерти.

13-го я узнала, что Булат умер, а вот поверить, хоть и была подготовлена, трудно. У меня даже четырехчасовой сердечный приступ разыгрался – полнейшая мерцалка при приблизительно 200 ударах в минуту. Вылезла с трудом, обошлось. А тут ещё НТВ наехало – ну я что-то говорила о Булате. Конечно, они взяли самое личное и не существенное в эфир, в телеэкран.

Телевидения надо бежать как огня. Что я и делаю. А тут врасплох застали. Да и можно ли в такой час отказаться? Но в добрый час бежать. Бежать камеры. В этом смысле ты мне очень нравишься. Запомнила: в «Космосе», в гостинице, где была твоя выставка, ты проигнорировала телекамеру 2х2. По мне это выглядело очень достойно. А теперь ты сама ходишь с камерой и двумя операторами, снимаешь ещё живых свидетелей Терезина или их родственников и друзей. Но тут твоё дело – правое. Впрочем, кто знает, какое дело – правое, а какое – нет. Чем дольше живешь, тем больше понимаешь – не существует ответов, только вопросы существуют. Всё нетерпимей становлюсь к безапелляционным заявлениям, утверждениям и т.п. Однако

нетерпимость – чем не безапелляционность? Вечер на исходе, я уже совершенно заболталась, а всё не могу ручку из рук выпустить.

Ты пишешь, что занимаешься католиками, протестантами, которые молились в гетто, в Терезине. Правильно ли я тебя поняла? А почему, уж коли ты занимаешься еврейской катастрофой, не интересоваться теми, кто, будучи евреями, приняли когда-то католичество и попали по расовой принадлежности в гетто? А если они в гетто каким-то образом приняли католичество, то это уж совсем интересно и заслуживает изучения. Но, возможно, я тебя неправильно поняла?

Курю последнюю сигарету. Потом, как привыкла, прочитаю наугад из Библии и отойду ко сну. Обидно мне всё же, что завтра не смогу проститься с Окуджавой. Это мое проклятое бессилие справиться с пространством. Но почему обидно? Ведь кто-нибудь когда-нибудь возьмет меня и отвезет на Ваганьковское, и я вне толпы положу на могилу четыре розы. Когда-нибудь... А ведь мы договаривались встретиться в июне, в Переделкине, Булат мне собирался подарить свою книгу, где есть у него стихотворение, обращенное ко мне и мне же посвященное. Не помню наизусть, но помню, написано трехстопным ямбом, в котором я последнее время увязаю.

Да, я не договорила тебе о времени, якобы избыточном, в какое я тебе пишу письма. Это – ерунда. Избыточного времени ни у кого не бывает, да? И у меня тоже. А избыток сердца бывает? Думаю, что да. «И слово на моих устах / от перизбытка сердца»<sup>44</sup>. Так же и письмо. Время же хорошо убивать, чтобы в упор его не видеть, иногда картишками. Так, когда здесь была Лена Суриц, я её научила одной веселой игре, названия – не знаю. И мы с ней дулись по два, три часа в день. Отдыхали от окружающего нас времени. Помнишь, я тебе писала, что, убивая время на английский, придумала поговорку по-английски:

*A time cills me, but I cill time.*

Так вот я под этим заголовком и стишок чиркнула, правда, Суриц исчезла, а молодой господин появился в стихах с выигранными в карты розами. А я в жизни на деньги, и то условные, играла только однажды, здесь же, в Переделкине в конце 60-х в компании Бахнова, Ахмадулиной и тогдашнего её мужа Мамлина, и ещё кого-то забыла. Играли в двадцать одно, без

<sup>44</sup> Триптих дороги, 1991, опубликован в «Одиноким даром».

отыгрыша. Первыми мы с Ахмадулиной вылетали из пары. Но это уже другая история... (...) Утречком я тебе перепишу стишок. Беру Библию в руки. Я себя приучила за этим чтением не курить. Спокойной ночи, моя деточка. Целую мама.

18.6.1997

Доброе утро, моя ласточка!

Как вчера обещала, переписываю тебе стишок.

A time kills me, but I kill time.

У времени гемоглобин  
Упал. Лейкоцитоз.  
Приносит юный господин  
Мой выигрыш – пять роз.

И вновь за картами сидим.  
Нам честная игра  
Даёт забвенье, как иным  
С наркотиком игла.

Туз – на туза и масть – на масть...  
А жизнь ясным-ясна, –  
Ворует чернь (она же – власть),  
Пустым пуста казна.

«Воруют» – русская беда  
И нищеты разгул.  
Об этом вон ещё когда  
И Карамзин взгрустнул.

Что за стихи без всяких тайн,  
Без спрятанных причин?  
The time kills me, but I kill time.  
Ваш ход, мой господин!<sup>45</sup>

Знаешь ли ты, откуда появился Карамзин? Когда он был в Париже и его спросили, ну как в России, Карамзин ответил: «воруют». Видимо, историк тот, кто видит наперед. Действительно, идет такой неслыханный грабеж, густо приправленный

<sup>45</sup> Опубликовано в журнале «Новый Мир» 1998, № 2.

заказными убийствами на уровне мафий и бытовыми на уровне алкоголичной нищеты, что никакими словами не передать. Когда в России было лучше – трудно сказать, но худшему предела нет, это почти как в искусстве – лучшему есть какой-то предел, а вот худшему – предела нет.

Прав ли был Бродский, когда в стихах к римскому другу советовал ему жить в провинции? Я об этом всё чаще задумываюсь в связи с твоей переменной среды обитания. Здесь Михаил Козаков. Он мне дал почитать свою книгу, которую писал, живя в Тель-Авиве, в основном. В неплохой книге, не претендующей на художественность, воспоминания о детстве, о культурном окружении, в каком он воспитывался (Эйхенбаум, Зощенко и др.), о жизни его в театре, о побудительных причинах отъезда в Израиль. Немалое место в книге занимает его рассказ о жизни театра, искусства в Израиле. Много в жизни Израиля у него напутано и даже переврано. Но одно, как мне думается – безусловно: провинция. И тут-то моя остронососкольная мысль о тебе, о твоей литературной судьбе. Надо сказать, что два моих приезда в Израиль, хотя первый – моя болезнь, а второй – твой послеоперационный период, все-таки дали мне ощущение: на дивной Святой Земле – литературная провинция.

Ощущение провинциальности искусства сильно въелось в мою подкорку, да и в корку. Вот и ты пишешь «не с кем поговорить». А ведь ты человек общественно-общительный. Как так получилось, что исчезла какая бы то ни было литературная среда? Ведь были у тебя друзья-ценители от Рыбакова до Маканина и др. Недавно меня посетил Казбек (жил в д.т.). Он пришел, заранее договорившись через Семена со мной. Вспоминал тебя. Оказывается, учился с тобой в литинституте и благодарно тебя запомнил, ты приохотила его к чтению, например Манна, к истинной литературе. Вот когда ты ещё была образована.

Возьмем пример по максимуму – Бродский. Он ушел из 8-го класса, будучи уже самообразованным. Только сильный талант в атмосфере писательского официального невежества обретает редкую культурную компанию, всё шел вглубь и ввысь. Но уж так судьба распорядилась по словам Ахматовой: «Советская власть уже сделала Рыжему биографию». Выехал он в Америку в ореоле сверхзаслуженной славы. Пустоте биографию даже Советская власть не сделает. Вот Бродский и советовал римскому другу жить в провинции. Пастернак писал «Быть

знаменитым некрасиво». Такую строку мог написать только очень знаменитый поэт. И жить в провинции – так же может советовать поэт, находящийся в центре славы. Иных примеров для размышления и брать не следует. (...) Поэтому я и апеллирую к имени Бродского, чтобы подойти к прозе Довлатова. Вот писатель! Ему, чтобы быть новым и знаменитым, не понадобился авангард. Довлатов эмигрировал уже в абсолютно зрелом возрасте и творчестве. Без славы вдогон. И вот, чтобы стать новым, «другим» и знаменитым, ему, бедняге, понадобилось умереть. Сейчас его читают все, все издают. Россия, став политической провинцией, осталась, как ни странно, вернее ещё кое-как остается, – одной из великих держав Искусства. Авангард кое-что привнес, уже сходит здесь на нет. Правда, резко изменилась среда и общение внутри-и-меж-литературные. Если раньше многое решала советская власть в развитии подвально-подпольной литературы, то теперь утверждению ценностей способствует тусовка, образованная внутри Москвы и Питера и выезжающая в мировое пространство, – в мировую тусовку. Ты, уехав в Иерусалим, выпала из уже намечающейся элитарной тусовки. Этим, хотя это мелко выглядит, и объясняю я судьбу «Смеха на руинах». И ты растерялась и, как мне кажется, самой себе не отдавая отчета, бросилась в стремнину свержавангарда. А меж тем в «Смехе на руинах» авангард присутствовал ровно в той доле, какой определял твой талант, а не растерянность перед не эхом. Если бы ты жила тут, ты бы написала «Смех на руинах», правда, роман был бы несколько иным, т.е. в нем были бы м.б., иные города и реалии. Но суть дара – оставалась бы той же, твоей. Ты – не я. И не стала бы жить на отшибе. Тусовалась бы, как тусуются далеко не дурные писатели – новый способ общения и выхода за рубеж России. Как во всякой среде, и в тусовках есть пена и накипь, но ведь есть же и чистое пиво, и чистый кипяток. А крупных писателей всегда мало. Но те, что есть – в тусовке, а тех, кто в ней не состоит, узнают, как Довлатова, посмертно. Оглядишься вокруг и в себя загляни беззлобно.

Передо мной твой текст – якобы письмо. Талантливо все его осколки, острый наблюдательный ракурс, почти изощренное владение словом. Но в цельную мозаику в уме моем отдельные блестящие и прозрачные части не сходятся. М.б., это есть такая новая литература, какую я в уме не могу гармонизировать? М.б., даже очень м.б., но ведь я смотрю со своей

колокольни, и с этой колокольни мне видится, что тебе надобно вернуться к себе же – к «Фазану» и к «Смеху на руинах». Если бы я не понимала, какой огромный дар тебе отпущен, я бы не бралась исписывать толстую тетрадь, хотя в ней о тебе как бы совсем будет мало.

Я бы писала, как мне и заказано издательством, автобиографические записки, а тебе ответила бы коротким письмом, полным восхищения твоим текстом, ибо есть чем восхищаться. Возможно, я именно так и должна была бы поступить, учитывая твой душевный непокой, вполне понятный, раздраж. Но разве я посмела бы говорить, зная цену твоему таланту, на языке чучу-мучу? Чучу-мучу – и сразу передо мной возникает чукча. Да, я есть та самая чукча, сердцем чует, а сказать не чувствует. Не зря в Гамбурге Шмидт пошутил, говоря со мной анекдотом про чукчу. Потом спохватился и давай извиняться. Я же напротив «чукчу» культивировала, живя с Семеном у них в доме последние 4 дня<sup>46</sup>. Сама себя называла чукчей, и книгу свою так Ирина и Вольфу написала – ваша чукча. И, естественно, они уже не думали, что я могу обидеться невинной шутке. Так Ахмадулина, выступая на моей второй презентации, много и возвышено говоря о моих стихах, заметила: особенно мне нравится в Инне Львовне как в человеке то, что она умеет посмеяться над собой. Что да, то да. Жаль, что это качество – смеяться над собой, – глубоко не проявилось в стихах, не стало их сутью, а так – под видом юродки (чукчи) кое-где промелькнуло поверх ритмических волн. Теперь я думаю, что ритмические волны, насыщенные электричеством – и есть поэзия. То есть, это только что чукче в голову взбрело. Электричество даёт разряды молний. Этих

<sup>46</sup> О Шмидте и его жене Ирине мама тепло вспоминает в «Хвастунье»: «Вот и с Липкиным мне не было страшно в уютном гостевом полуподвале профессора славистики Вольфа Шмита. Он и его жена Ирина нас пригласили к себе на четыре дня в Гамбург из Зигена, где мы отдыхали, после липкинской – немецкой – пушкинской премии, гуляя под каштанами, стреляющими в нас плодами. Пригласили, чтобы помочь Семену Израилевичу быстро заказать слуховой аппаратик. До чего же нам было хорошо в их небольшом двухэтажном доме, в их приветливой интеллигентной семье. С каким удовольствием я читала сборник статей Вольфа, в основном о «Гробовщике» Пушкина, но помню, что и о Битове была статья. Я читала, пока Вольф бывал на службе в университете, а Сёма на прогулке, и радостно-подробно высказывала Шмиту свое мнение. Радостно, поскольку о «Гробовщике», например, статья – блестящая. И потому еще радостно, что по прочтении полдня помню. Видимо, Шмиту приходилось по душе и разуму мои рассуждения, а не просто комплиментарный восторг. Он потом мне в Москву присылал еще не изданные труды о пословицах и поговорках в творчестве Пушкина, также – работу о «Пиковой даме». Я отвечала подробно и не медля, чтобы ничего не упустить. Конечно же, теперь забыла, но осталось послевкусие – Вольф Шмит – настоящий пушкинист, ничуть не хуже наших – хороших, и даже в некоторых работах – лучше».

разрядов сколь угодно в твоём тексте-письме, но вот ритмические волны имеют разнонаправленность и сшибаются лбами.

Даже твоя мама-чукча вдруг была не обойдена тусовкой. Имею в виду премии «Арион», «Дружба», – последнюю тусовку ты видела. Надо же, вроде я всегда была, как будто меня не было, и такая ерунда как трех и четырехмиллионные премии вдруг произвели впечатление – даже «Из первых уст» вышло.

Казалось бы, вот тут мне за тусовку и зацепиться. Мне и Белла по телефону говорила на мои заявления, что выступать прекращу и телекамеру отвращу; что мне теперь ни выступлений, ни TV не избежать. И было после моих презентаций: выступление на вечере Ходасевича в переполненном большом зале ЦДЛ. Там, если честно, твоя чукча единственная, кто сделал краткий, но дельный анализ поэзии Ходасевича, а не общие слова. Это говорят и ходасевечеведы. Ещё выступала на первом вечере, посвященном выходу «Записок об Ахматовой» Чуковской. Но когда пришел момент мне выступать в том же ЦДЛ (вечер «Третьей волны»), я вдруг всему этому конец положила. Семен поехал, а я осталась дома. Между прочим, замечу: вечер Ходасевича показал, что интерес к истинной поэзии возрождается, к истинной прозе – также. И ещё: ты уже набрала такой опыт блистательных обломков, что пора, используя этот опыт, взяться за единое крупное полотно. Взяться – да. Но где взять на это время? Спрашиваю я себя, как и ты меня спросила бы.

*Составление, предисловие и публикация Елены Макаровой*

## ЭТО ТОЖЕ ОДНА ИЗ СВОБОД<sup>47</sup>

Самуил Аронович Лурье

1942 – 2015

---

Дина Гусейнова

### ЗАЧЕМ – СЕЙЧАС: В ПОИСКАХ С. ГЕДРОЙЦА

7 августа 2015 года в Калифорнии умер Самуил Лурье. Умер, а хочется не верить, не верится... Слушателям его лекций на летних курсах Сахаровского университета Самуил Аронович казался переводчиком-путеводителем по тёмным дворам, не побоюсь этой фразы, самой русской души. Так мы и жили себе, подросшие подростки, от лета до лета, пока не оказалось, что почти все его вердикты сбылись.

С дистанции в многие тысячи километров вообще трудно поверить в смерть. Лайкнешь на фейсбуке – ещё перепостят. Тем более что не так давно С.А. сам пару раз провожал меня в поездки очень странного характера. В феврале 2012 зима была очень холодная и красивая. В этот день в Петербурге была демонстрация, а меня на Невском ждал автобус, который отправлялся в Чудово (Радищев там бывал проездом), где Европейский университет проводил зимнюю школу по политической философии. Народные массы с флагами шли Петербургу, фотографии 1905 года вдруг как-то ожили, хотя именно эти отложившиеся в памяти картинки напоминали о том, что революции как раз не было. На демонстрации С.А. тогда уже не ходил – не по состоянию своего здоровья, а по состоянию здоровья демонстраций. За несколько дней до этого он, правда, выступал в главном зале Филармонии.

В некоторых некрологах меня задели две фразы. Одна – правдива благодаря неправде.

«В Петербурге умер писатель и критик Самуил Лурье». Умер ведь не в Петербурге и не по петербургскому времени. С другой стороны, какая-то тяжёлая суть в этой фразе есть, ведь именно в Петербург и о Петербурге писатель и критик написал

---

<sup>47</sup> Из письма С.А. Лурье И.Машинской. 9 декабря 2014.

последнее горькое письмо Герману Грефу. Сняв с себя облик писателя и критика, оставил нам всем последний вердикт. Тем не менее хочется думать, что именно в Петербурге писатель и критик Самуил Лурье жив.

Другая часто повторяющаяся фраза в кратких биографиях Самуила Лурье – лжива своей педантичной точностью. Звучит она примерно так: «В последнее время под псевдонимом Гедройц писал короткие рецензии в журнале “Звезда”».

Псевдоним, рецензии, последнее время – всё это передаёт и одновременно искажает суть Гедройца и его деятельности. Вот что пишет Гедройц в одной из своих заметок про Андрея Дмитриевича Сахарова:

В Горьком к А.Д. иногда подпускали какого-нибудь агрессивного резонёра, зачем – сейчас увидите. Вот вам конспект диспута:

«Когда я копал яму под дубок, ко мне подошёл полумолодой человек в военной форме, не понял, какой специаль[ности]. На мой вопрос, где работает, он, засмущавшись, сказал – в части, в произв[одственном] отделе. Он был слегка выпивши (а может, не слегка). Он хотел со мной поговорить по душам. Его вопросы – чего я добиваюсь? Его тезисы – 1) Не надо с...ть против ветра. 2) Не надо идти на поводу у жены. 3) Русский Иван проливал кровь, он должен быть главным в мире. Я сказал – добиваюсь – 1) чтобы оружие (он говорил об оружии) не было использовано для нападения или шантажа; 2) чтобы хорошие люди не сидели по тюрьмам (его реплика: “...с ними, пусть сидят”)...»

Собственно, вся история сводится к этому диалогу. Последнюю фразу исполняет многомиллионный хор в сопровождении оркестра.

С. Гедройц

Слова Гедройца, который появился в начале 2000-х, звучали отголоском лекций, на которых я присутствовала на летних школах Сахаровского университета в конце 1990-х. Названный в честь правозащитника, летний университет всегда начинался с того, что директор, поэт Виолетта Иверни, вешала портрет Сахарова в лекционном зале, с тем чтобы он улыбался всем присутствующим, как бы переключаясь с лектором. Глядя на публику с точки зрения А.Д., они видели там людей из совершенно разных

миров и всех возрастных категорий: диссидентов-эмигрантов всех волн наряду с живущими в сегодняшней России людьми, представителей вооружённых сил НАТО, евреев, переживших Холокост, немцев, отслуживших в вермахте и полюбивших русскую культуру будучи в плену, иностранцев, которые пытались изучить русский язык, детей эмигрантов, которые пытались его не забыть. Эльвира Амосова, жена С.А., тоже преподаватель Сахаровского, настраивала этой пёстрой компании язык. Оба они казались засланными к нам из другого мира, которого не было ни в сегодняшней России, ни в безвременной эмигрантской «загранице». Разговором они превращали эту кучу людей, бывших экзистенциальных врагов или просто чуждых друг другу по душе, в некое сообщество своих переживаний. По следам этих встреч С.А. Гедройц, как мне кажется, мыслил чекиста в беседе с Сахаровым не только потому, что пересказывал его воспоминания: пока он их разглядывал, они тоже на него смотрели.

Тогда на Невском мне удалось вкратце уточнить несколько вещей про Гедройца, но их бесконечно мало. Разговор прерывался, под ногами одновременно лужи и гололёд. Как всегда, то, что говорил С.А., очень трудно было запомнить, потому что это плохо суммируется. Запоминался всегда скорее эффект его речи и присутствия. То, что мне хотелось знать, касалось не столько техники работы с текстом, сколько психологии именно этого псевдонима. Неужели то, что говорил Гедройц, не мог таким же образом сказать и Лурье?

Для меня тогда стало открытием, что Гедройц – отнюдь не псевдоним. Это фамилия его матери, то есть он сам, Самуил Аронович, по материнской линии. Иногда пишут, что Гедройц – его аллоним. Но мне кажется, что и это неуместно – материнская фамилия представляется мне скорее аналогом отчества, нежели каким-то двойником или альтер эго.

Впоследствии я узнала, что он сам публично и подробно рассказывал о матери и особенно о бабушке, но, очевидно, до многих, включая меня, эти высказывания не доносились.

«Моя мать, наоборот, родилась в день Февральской революции в городе Гельсингфорсе», – говорил Самуил Аронович в одном интервью на «Эхе».

Мать Самуила Ароновича – Елена Гедройц, из польского княжеского рода. Его бабушку, княжну Гедройц, певицу, сослали в 1937 году, заставив признаться, что она польская шпионка. Мать исключили из университета, считая её то ли дочерью

польской шпионки, из бывших, то ли еврейкой. Когда бабушку выпустили во время так называемой бериевской оттепели, она уже не могла быть певицей, но давала частные уроки пения. Под бабушкиным фортепиано, где С.А. проводил много времени, «Декамерон» Боккаччо стоял рядом с «Тихим Доном» Шолохова.

Чекист-резонёр и Андрей Дмитриевич в «лубочном» тексте Гедройца такие же соседи по кавычкам, как «Тихий Дон» с «Декамероном» на полке бабушки.

В тексте Гедройца, который публично впервые прозвучал, как казалось, после окончания Холодной войны, хор и оркестр упоминаются не в пользу и даже не вопреки. У него самого нет голоса, он – камертон.

Нарушая ожидания, Гедройц никогда не занимался морализаторством, он не был собственно рецензентом. Он выкладывал вердикт без надежды и, в общем, даже без финального суждения. Этот жанр нравился ему, как мне кажется, не столько своей правдивостью, сколько неизбежностью. На самом деле он немного гордился тем, что его мир был хуже, чем тот, в который он приезжал на лето. Он не то что не в силах был его покинуть, он был к нему причастен волей какой-то судьбы. Своеобразное высокомерие его, с долей самоиронии, происходило не от аристократичности рода Гедройцев. Просто в этом чужом, лучшем мире солнце было слишком яркое, и всё казалось немного банальным и не требующим трактовки.

В сентябре 2014 года Самуил Аронович с Эльвирой Николаевной провожали меня на поезд, который отправлялся от станции Калифорния до станции Сан-Франциско. По дороге на вокзал мы пересекали улицы Пало-Альто, как шахматное поле, и трудно было говорить. В сумке у меня была последняя книжка Самуила Лурье – «Изломанный аршин». «Увидимся уже в Петербурге», – сказала мне Эльвира Николаевна. Самуил Аронович промолчал и пожал мне руку. Калифорнийское солнце показалось тогда очевидно нелепым, а их удаляющиеся под металлический звонок «калтрейна» фигуры смотрелись как постмодернистский трафаретный коллаж.

Филармония давно опустела. Сахаровский университет прервал, а может быть, и прекратил своё существование. Многомиллионный хор молчит, как когда-то в Ленинграде умолкла после ссылки петербургская певица – княжна Гедройц. Но камертон остался с нами.

Зачем? Сейчас.



# ПОРТРЕТЫ

Россия, Англия, США

Ирина Нинова  
(1958 – 1994)



*17 сентября 2014 года исполнилось 20 лет со дня смерти петербургской переводчицы Ирины Ниновой (1958-1994). О ней рассказывает ее близкая подруга.*

**Мария Карп**

**ПАМЯТИ ИРИНЫ НИНОВОЙ**

«А кто она по национальности?» – спросил меня как-то один Иришин поклонник. Я честно ответила: наполовину русская, на четверть еврейка, на четверть болгарка. «Да? – изумленно протянул он, – а я думал француженка...» Разговор происходил в 1987 году, и «француженка» звучало почти как «инопланетянка».

Ириша, и в самом деле, казалась отчасти обительницей другой цивилизации. Помимо внешности это выразилось в особенной незаурядной манере говорить, в которой замечательно сочетались слова из самых разных рядов – от

просторечных до научных, отчего вся речь окрашивалась тонкой иронией. В начале восьмидесятых, проходя мимо пригородного деревянного магазинчика, мы увидели, что к одному его прилавку на улице стоит очередь часа на полтора, а к другому – минут на двадцать: в первом давали творог и сметану, во втором – только творог. «А, – заметила Ириша, читавшая много научной лингвистической, почти философской литературы, – значит, сметана является центром аттракции».

Позднее она рассказывала мне, как один ее знакомый почему-то удивился тому, что она употребила слово «паллиатив». «А я как раз очень люблю слово “паллиатив”, – недоумевала она. – Ведь все – паллиатив».

В этом не было позы или пижонства, просто она постоянно пыталась осмыслить жизнь, несовершенство которой для ее романтического сознания было невыносимым. В семидесятые, когда люди, знакомые нам с детства, стали стремительно исчезать, Ириша вывела формулу, сохранившую свою актуальность на годы: «Все или умирают, или уезжают».

Закрытый мир, в котором прошли наше детство и юность, внезапно распахнулся для нее в 22 года, когда она на несколько месяцев поехала с университетской группой в Англию. Помню, как мы, невыезжавшие, закидывали ее по возвращении вопросами, а она отвечала медленно, как будто с запинкой, стараясь не поддаваться уже ожидаемым в вопросах стереотипам. «Ну а вот наши старушки в платочках, какие они там?» – спросили ее. «А там они такие, как у нас библиотекарши», – ответила Ириша, точно и не без иронии описав «прилично» одетых и причесанных обыкновенных пожилых англичанок.

Острота взгляда, чувство юмора и собственная упрямая оригинальность объясняют и выбор произведений, которые она переводила. Она начала с ранней пьесы Ионеско «Король умирает» (1962). Театр абсурда с трагикомическими поворотами, с противопоставлением казенно-высокопарной и обыденной речи, с постоянной иронией – был для Ириши совершенно естественной стихией. Филологическая одаренность и грамотность позволяли ей переводить как будто без особого труда, но неудовлетворенность достигнутым и упорство заставляли переделывать текст до бесконечности.

Это особенно проявилось в главной ее работе – переводе «Автобиографии Алисы Б. Токлас» Гертруды Стайн,

опубликованном в сокращенном виде в питерском журнале «Нева» в 1993 году, а полностью – посмертно (Санкт-Петербург, Инапресс, 2000). Незаурядность оригинала как нельзя лучше подходила характеру переводчицы.

Книга Гертруды Стайн написана от лица ее компаньонки Алисы Токлас, о Гертруде Стайн там говорится в третьем лице, но на самом деле это, конечно, автобиография самой Гертруды Стайн, данная через автобиографию подруги. Уже в этом – игра, но еще больше игры в том, что, как будто рассказывая о жизни Стайн в Париже и о ее дружбе чуть не со всеми знаменитыми художниками и писателями двадцатого века, книга почти все время дразнит читателя, распаляя и не удовлетворяя его воображение.

Кое-что о художниках и писателях из нее узнать, может быть, и можно, но главный ее предмет, как и в других книгах Стайн, – великие скрытые возможности английского языка, позволяющие извлекать дополнительное содержание из обыкновенных слов и оборотов. Этому научился у нее Хемингуэй, сумевший к тому же превратить ее эксперименты с языком в книги, читаемые тысячами людей. Стайн это казалось профанацией искусства на потребу публике. Она оставалась в своей лаборатории, и, может быть, только «Автобиография Алисы Б. Токлас» – единственная небрежная и ироничная попытка сделать шаг навстречу читателю. Как передать такую прозу на другом языке? Ириша попыталась это сделать, точно представляя себе сложность задачи.

В статье, опубликованной в книге вместе с переводом, она писала: «...созвучность ее творчества исканиям русской литературы первых десятилетий двадцатого века – несомненна. В самом общем смысле это созвучность творческих интенций – стремления явить новый образ мира в новом слове, обнажая формальные возможности языкового материала, конструктивные особенности, присущие языку, на котором пишется стихотворение, рассказ или роман, – чем, в частности, объясняются различия в результатах, поскольку особенности языка – это особенности мировосприятия». Дальше она сравнивает «богатые аналитические возможности английского, где построение фразы создается по преимуществу порядком слов, а развитая многозначность слова преодолевается в основном синтаксисом» с возможностями русского: «богатой русской флексией», использовавшейся

футуристами; способностью русского синтаксиса к эллипсу, взятую на вооружение Цветаевой; желанием «вернуть именам вещей изначальный, прямой, полновесный смысл», свойственным акмеистам, и тенденцией «к странно и неправильно поставленному слову», вызывающей ассоциации с Платоновым и Добычиным.

«Гертруду Стайн, – заключает переводчица, – можно было бы назвать поэтом синтаксиса, потому что ее проза держится на точности синтаксического, а значит, интонационного рисунка».

«Я родилась в Калифорнии, в Сан-Франциско. Поэтому я всегда предпочитала жить в умеренном климате, но на европейском и даже на американском континенте очень трудно найти умеренный климат и в нем жить». Так открывается автобиография, и сразу по-русски, как и по-английски, мы сталкиваемся не только с отсутствием запятой (Гертруда Стайн ненавидела запятые, и переводчице, отстаивавшей свое право обходиться без них и по-русски, пришлось выдерживать большие баталии при публикации в журнале), но и удивительным тоном, который Самуил Лурье, написавший послесловие к книге, назвал серьезностью «почти наивной».

Не знаю, как в Гертруде Стайн или даже в Алисе Токлас, но в Ирише утонченность, даже изысканность, действительно, всегда сочеталась с простодушием. Став взрослой, она ненавидела абсурд советской повседневности, с трудом переносила рутину, глубоко чувствовала разочарования, но оставалась открыта радостям жизни и дружбы. Она, невзирая ни на что, надеялась, что сумеет найти подходящий для себя «климат и в нем жить».

Последнюю открытку я получила от нее из Милана, куда, уже тяжело больная, она ездила в центр по лечению меланом. Там ей сделали переливание крови (больше ничего уже сделать не могли), и вдруг ненадолго почувствовав себя получше, она была потрясена бьющей через край энергией летнего итальянского города.

Когда Ириша умерла, не дожив до тридцати шести лет, я часто представляла себе, как она, сидя в привычной позе где-нибудь на кровати, вдруг узнает о собственной смерти и, вздрогнув, говорит фразу, которую говорила довольно часто: «Слушай, какой ужас».

ИЗ «ПОСЛЕСЛОВИЯ САМУИЛА ЛУРЬЕ К  
“АВТОБИОГРАФИИ АЛИСЫ Б. ТОКЛАС” ГЕРТРУДЫ  
СТАЙН» В ПЕРЕВОДЕ ИРИНЫ НИНОВОЙ<sup>48</sup>

<...> Собственно, ничего определенно дурного Хемингуэй о Гертруде Стайн не сказал – и даже признал за нею и ум, и кое-какие творческие достижения, но вместе с тем намекнул, а точнее – пытался внушить читателям, что все это не такого крупного калибра, чтобы прощать столь странной особе личные слабости.

Так что, говоря строго, до появления на русском языке «Автобиографии Алисы Б. Токлас» Гертруда Стайн была для нас – для большинства из нас – не просто призрак: это была оклеветанная тень.

И удивляет не только храбрость переводчицы Ирины Ниновой, еще неопытной десять лет назад, взявшейся на свой страх и риск за бесконечно трудную работу, – поражает ее прощательность, какой-то особенный историко-культурный такт: из сочинений Гертруды Стайн она выбрала ту самую – быть может, единственную – книгу, опубликование которой разом уничтожает все предубеждения, потому что и метод Гертруды Стайн, и ее личность тут предстают во всей обаятельной силе.

<...> Было бы не совсем верно полагать, будто Ирина Нинова перевела эту прозу с английского на русский.

Она переводила с одного несуществующего языка на другой – небывалый. Само собой, необходимо требовался особенный синтаксический рисунок, тщательно процеженный словарь, и мастерство, и вдохновение... Вытачивая бесчисленные подробности, до изнеможения уточняя нюансы, Ирина, кажется, не успела заметить, что добилась несравненно большего, чем самое полное сходство копии с оригиналом: создала образ новой интонации, прежде неизвестной, отныне незабываемой.

Один Бог знает, как ей это удалось. Все пишущие мечтают о таком, иные же целую жизнь бьются тщетно. Правда, у Ирины не было времени ждать, но разве она догадывалась об этом?

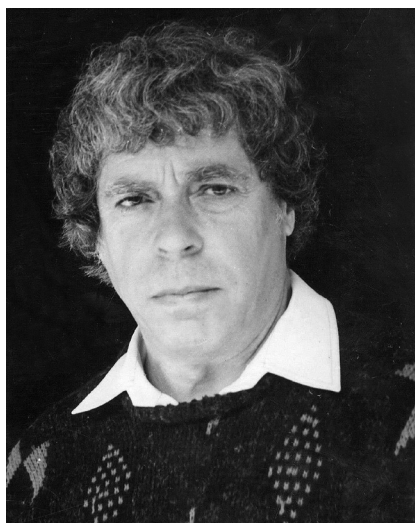
<sup>48</sup> Самуил Лурье. Гертруда Стайн больше не призрак. В кн.: Гертруда Стайн. «Автобиография Алисы Б. Токлас». Перевод с англ. Ирины Ниновой. ИНАПРЕСС. Санкт-Петербург, 2000.

<...> С завершением своего труда Ирина Нинова выросла в искусственного, опытного переводчика, одного из самых многообещающих молодых талантов петербургской переводческой школы Эльги Львовны Линецкой, может быть, лучшей творческой школы в нашей стране. И сколько бы ни появилось еще переводов неповторимой американской писательницы, связавшей свою судьбу с Парижем XX века, поколения читателей будут отождествлять искусство Гертруды Стайн и ее облик с мелодикой первого русского издания.

Гертруда Стайн больше не призрак. Она стала голосом, ясным и глубоким, исполненным тончайшего веселья и серьезности почти наивной. Этот голос ей подарила молодая задумчивая женщина – Ирина Александровна Нинова. Подарила и ушла навсегда, насовсем, против воли увлекаемая безжалостной судьбой.

Часть ее жизни, несправедливо краткой, осталась в книге Гертруды Стайн. Потому что текст – как любовь: непрерывно дрящееся настоящее. Потому что роза это роза это роза это роза...

Рудольф Ольшевский  
(1938 – 2003)



**Станислав Рассадин**

**ОЖИДАЕТСЯ ЖИЗНЬ**

*О книге Рудольфа Ольшевского «Полночный звонарь»*

«Читайте Златовратского. Я его лично знаю, это порядочный человек» – давным-давно юмористически запомнилась рекомендация из автобиографической трилогии Горького, данная кем-то юному Алексею Пешкову. А между тем есть-таки опасность (и соблазн) именно к этому свести предисловие к той или иной книге: дескать, автор мне лично дорог и мил, замечателен – помимо им сочиненного тем-то и тем-то. Стало быть, рекомендую!

Рудольф Ольшевский, *Рудик* был для меня как раз одним из самых милых и дорогих; был вообще одним из лучших людей, которых мне посчастливилось знать, и разлука с ним (та, первая, когда он пока всего лишь уехал – правда, далеко-далеко и, главное, навсегда) оказалась тем более драматичной, что,

помимо прочего, явилась приметой общего крушения нашей прежней жизни, разрыва прежних связей. Тем не менее (или тем более) удержусь от мемуарности; надеюсь, что книгу будут читать и люди, лично с Ольшевским не знакомые, и я сам хотел бы быть п р о с т о читателем, постигающим поэта по тому, что он написал.

К тому же в книге немало такого, что и для меня, хорошо знающего стихи давние, открылось вновь.

...Начав читать рукопись, еще не зная, к каким выводам приду, зацепился за строчки в стихотворении «Разбитые зеркала»:

И мама, будто облако, легка,  
И тяжела, как облако весною,  
Дождем, летящим мимо, или мною,  
И слушает живот ее рука.

А в следующем стихотворении:  
В белых одеждах родители ходят по саду,  
Нас еще нет, только в них есть предчувствие нас.

Забегая вперед: будь моя воля, так бы и назвал эту книгу: «Предчувствие». Пуще того, по названию одного из стихотворений: «Ожидается жизнь». Да, эту, увы, посмертную.

В самом деле:

Потом поймем, что мир не навсегда,  
Узнаем после, что судьба конечна.  
Ну а пока – шаланда и вода,  
И все, что на земле и в небе, – вечно.

Положим, это стихи о юности, разрешающей не предвидеть ничего дурного, включая саму смерть. Однако:

Ко мне, я не знаю, откуда,  
Чем старше я, тем голубей,  
Приходит предчувствие чуда  
Стучащим птенцом в скорлупе.

И это уже черта не возраста, а характера.

Ольшевский (как трудно мне называть покойного друга по фамилии!) на всю жизнь, кишиневскую и бостонскую,

оставался одесситом. Даже не в смысле весьма ему свойственной живописности восприятия мира, хотя недаром Одесса родила Олешу, Катаева, Бабеля, а не, скажем, Платонова, – нет, главное то, что город детства, легендарный своей праздничностью, словно бы и провоцировал «предчувствие чуда». Вплоть до надежды чудо поторопить.

«Не открывай глаза, Кларка! Не открывай, потому что начнется судьба. Скудная работа в цирке с риском для жизни каждый день. Со ста граммами для смелости перед полетом под куполом. ...Послушай, Клара, скрути в обратную сторону сальто и фляк на узкой дорожке времени. Давайте все попятимся назад и вернемся в те годы, когда судьба еще не начиналась». (Из книги рассказов Ольшевского «Поговорим за Одессу».)

Подобное, кажется, больше пристало не прозе, а поэзии, имеющей право пренебрегать правилами сугубой реальности, – зато в стихах, напротив, желание «попятиться» зафиксировано на уровне, достижимом для каждого из нас. Тем, впрочем, и выразительнее:

Тускнеющего света вдохновенье,  
Предсумрачного часа красота.  
Мне жалко, что вот-вот через мгновенье  
В природе передвинутся цвета.

И яркая, и праздничная сила  
Утратится, исчезнут чудеса...

Те самые, в предчувствии которых продолжается жизнь!

И станет все таким, как раньше было:  
Водою – воды, небом – небеса.

(«Вода» – и «воды»: ощущаете разницу?)

Не только по склонности к ассоциациям вспоминаю прозу Евгения Шварца, запись монолога его маленькой дочки:

«Папа, все, что я делаю, – это только один раз. – Как так? – А больше этого никогда не будет. Вот провела я рукой. А если опять проведу – это будет второй раз. И мы с тобой никогда больше не будем сидеть. Потому что это будет завтра, а сегодня больше никогда не будет?»

У ребенка это – миг взросления, тем и значительный. «Растущее человеческое сознание», говорит Шварц. У взрослого поэта, чье сознание созрело, – это миг... Наоборот, детскости? Возвращения в детство?

Так да не так. «Детскость» – похвала слишком затрепанная, чтобы поэты, которым она адресуется, чувствовали себя польщенными. (Не говоря, конечно, об исключениях: «Он награжден каким-то вечным детством» – Ахматова о Пастернаке.) В данном случае можем смело говорить о своей – своей! – философии.

Да, «остановись, мгновенье». Но какое именно мгновение хочется остановить – или сожалеть, что оно неостановимо?

...Человек, задержавшийся у Рубикона,  
Чтоб охладить пересохшие губы в воде, –

таким и именно в этот миг захочет поэт вспомнить Юлия Цезаря (а не то, что вспоминают привычно, отчего и возникло ходовое выражение «перейти Рубикон»). И повторится в поэме «Встреча с бездной»: «Зачем пятидесятилетний Цезарь задумался у роковой реки?»

А с другой стороны, еще один персонаж «античных» стихов, Одиссей, *незадержавшийся* в славном прошлом, где Троя, Елена, полная жизнь воина, то есть, в сущности, не совершивший невозможного, будет чуть ли не с презрительным сожалением, до очевидности жестоко представлен как тот, кто себя потерял, кто всего лишь «старец, возвратившийся в Итаку». Так что ж, не возвращаться, что ли?

Проще простого истолковать эти стихи как горькое сожаление об уходящем времени (и разве не так?), о неизбежной старости, к которой ты заранее относишься неприязненно, – если бы... Если бы – что?

Повременим с ответом, ибо у поэта непростые отношения с временем. С возрастом.

Неудивительно, что поздние стихи Рудольфа Ольшевского жестче «молодых». Приходится то и дело, не в силах ни перепрыгнуть, ни подчас даже переплыть ее, медлить у «роковой реки» – ведь у каждого бывают свои Рубиконы. Не выходит останавливать мгновения счастья – дают себя знать новые и новые разрывы с безмятежным существованием.

Сердце сжимается, как тем паче сжималось у поэта-отца, переживающего эмиграцию сына (отцовский отъезд «туда» куда не замыслился):

В пересохшей глотке привкус ржавый.  
Телеобыск. Страшно оттого,  
Что в замочной скважине державы  
Виден череп сына моего.

Или – ощущение, при счастливом характере Рудика (все ж позволяю себе разок интонацию личного воспоминания) долгое время его не посещавшее... Ну, посещавшее не постоянно. Ощущение национальной отторженности:

Вырой возле отцовского дома колодезь,  
Но прольется когда золотая струя,  
Не твоя это будет вода, инородец,  
Можешь пить ее, только она не твоя.

Определив некогда как «странное наказание» – странное, непонятное, не подлежащее нормальному объяснению, – за что-то ниспосланую Богом утрату понимания и взаимопонимания («открыть калитку, постучаться в дом, позвать жену и не понять ответа... Как называлась изгородь вчера? Какое имя дерево имело?»), в дальнейшем приходится встречать «возраст беды», одиночества, когда «можно забывать постепенно слова», «Забываю предметов названья, будто я в этом мире один».

Почти в точности так же, как другой одессит, Олеша, неисчислимо богатый и щедрый на «названья», сравнения, метафоры, в рассказе «Лиомпа» изобразил оскудение мира, которое наступает с «возрастом беды»: «...Как велик и разнообразен мир вещей и как мало их осталось в его власти». А ведь для поэта вещьность мира и есть богатство «названий». «...Он знал: смерть по дороге к нему уничтожает вещи».

Нет и не будет уже ребяческой веры в чудо бессмертия, приходится даже обращаться к вселенной, словно каясь в грехе: «...Прости из детства выкрикнутый шепот ребенка: «Никогда я не умру!». Но вот на уровне нового возраста, нового опыта трагедии и трагизма (что не одно и то же: перед трагедией, прежде всего трагедией конечности жизни, равны все, но ощутить трагизм как возможность осознать трагедию, даже увидеть в ней обнаженный смысл существования,

это дано не каждому) возникает совсем не то, что в молодости составляло основу радости бытия:

Пока я видеть это небо буду,  
И в море плавать, и топтать траву,  
Не перестану удивляться чуду –  
Случайной тайне той, что я живу.

Впрочем, здесь, скажем полупшутя, – но не более, чем «полу», – словно ставятся чуду условия, при которых поэт согласен считать его чудом: «в море плавать... топтать траву...». Простительные претензии плоти. И совсем другое дело – вот это:

Благодарю судьбу за сотворенье  
Из ничего – из ветра и огня,  
Из вечности незрячей на мгновенье,  
На зрячее мгновение меня.

Кому, какой случайности обязан  
За все, за то, что каплею одной  
Плеснувший через край вселенной разум  
Упал с небес и оказался мной.

И – вот, может быть, самое главное приобретение поэзии Рудольфа Ольшевского с ее , повторю, своеобразным трагизмом – осознание, что бытие, разумеется, не бессмертно, но... Хотя почему нет? А ежели как бессмертие, так сказать, в обратном движении – но уже без фантастических просьб скрутить в обратную сторону сальто?

А что – хорошо, одиноко, светло.  
В душе не разорвана нить постоянства,  
И видно, как время уходит в пространство,  
В следы за спиной моей, в слово, в число.

И нет уже времени – есть времена.  
И я, убежавший из крепости пленник,  
Не только живущих сейчас современник,  
А приговорен за побег этот на –

Остывшее солнце, слепящую даль,  
Пустынную землю неведомой эры.  
И море, и медленны весла галеры,  
И не умещается в сердце печаль.

И эта судьба совмещается с той,  
Которой еще не подвел я итога,  
Где мама жила, где орех у порога,  
Где приняло нас бытие на постой.

То есть:

Даже если когда-нибудь смерть суждена...

Отметим упорство – все-таки – нерасставания с детской надеждой, что бы мы там ни говорили: «даже если когда-нибудь», тройная защита, привет от многократно осмеянного: «если кто-то кое-где у нас порой...» Все равно:

...Замечательно то, что мы в прошлом бессмертны.

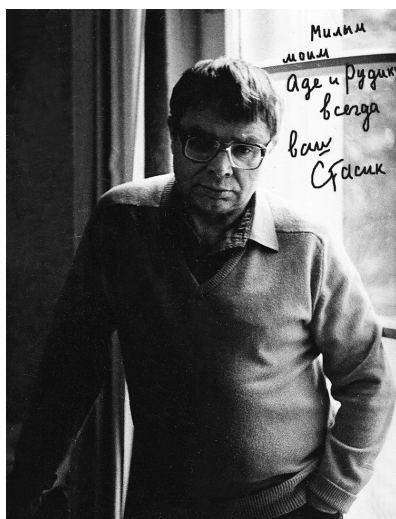
И еще лапидарнее (поэма «Гипнотизер»): «Мы бессмертны в прошедшем».

Лукавое утешение (самоутешение?)

Нет, хоть не исключу этого вовсе. Еще раз скажу: тут философия, которую не назовешь презрительно доморощенной. Любительской. Слишком очевидна благодарная открытость радостям мира, напряжена духовная жизнь, серьезна попытка понять меру случайности и разумности самого факта существования.

...Должен признаться, что уже много лет назад я, дружа с замечательным прозаиком, человеком много старше меня, который панически боялся приближающейся кончины, специально для него придумал такое утешение: дескать, вот Вы, И.М., уже прожили намного больше того, чем, по видимому, проживу я, – и какая это удача! Дата рождения – сущая условность, важна продолжительность, не говоря о наполненности, того отрезка времени, который Вам удалось отхватить, – «нет уже времени, есть времена...» Конечно, этих строк Ольшевского я, по незнанию их, не цитировал, но утверждал нечто подобное, радуясь, что – действует!

Пока не понял, что, утешая, нечаянно сказал чистую правду. Распространяющуюся, в частности, и на меня самого.



Ст. Рассадин

Рудольф Ольшевский эту правду выразил не по нечаянности, не для красного словца, он ее взлелеял и выстрадал, а процесс ее постижения и открытия есть как раз то, что делает поэзию – поэзией. (Которая всегда процесс, а не набор самых красивых метафор и умных мыслей.)

Кажется, чуть ранее я сгоряча сказал: мол, трагизм, в отличие от трагедии, доступен не каждому. Собственно, так и есть – с одной существенной оговоркой. Дело настоящей поэзии состоит в том, что она, не кичась своей обособленной элитарностью, делает достоянием именно всякого то, что сама чувствует, создает, открывает. Разумеется, всякого из тех, в свою очередь избранных, кто способен подобное воспринять. И та ясность сознания жизни, смерти, бессмертия, которую обретал и обрел Рудольф Ольшевский, мой Рудик, для меня – *высокий инстинкт нравственного самосохранения*, который необходим человеку (каждому!), чтобы быть человеком. Выше бери: человечеству, чтобы не оскотиниться.

Допускаю, что в иной ситуации я вычитал бы в книге нечто иное: она многомысленна. Возможно, вытянуть то, что я вытянул, подтолкнуло меня заново испытанное чувство потери, обостренное встречей с «душой в заветной лире». Хотя урок – простите немодное слово, – данный поэтом, который радостно

жил, предчувствуя, торопя добро, многое утратил и из сочетания предчувствий и утрат создал действительно философию – еще одно неуважаемое ныне слово – жизнеутверждения, этот урок в нашем безрадостном мире кажется мне бесценным.

Напоследок, простите, о своем, частном, может быть, и необязательном.

В одном из «американских» стихотворений, исполненном ностальгии, вспоминаются друзья, ушедшие или оставленные. Например:

Чтоб на кухне в полшаге от славы  
Пили пасынки СССР.  
И звучала струна Окуджавы,  
И смеялся Фазиль Искандер.

Чтобы был у работы украден  
Зимний вечер. От пушкинских строк  
Друг сердечный мой, Стасик Рассадин,  
Чтоб всплакнул, удержаться не смог.

Рудик, я и всплакнул. Спасибо.

2008, Москва

Фото Рудольфа Ольшевского и портрет  
работы Леонида Балаклава.



**Рудольф Ольшевский**

**Переселение**

Не по степи, не по реке,  
Не табором, не вплавь, не вброд –  
Переселяется народ  
На край земли в товарняке.

Что там исчезнувший шумер?  
Что даки? Все это при нас  
Произошло в недобрый час  
Здесь, на земле, в СССР.

Я жил, когда случилось так –  
В решетчатый проем окна  
Из тьмы смотрели племена,  
Вколоченные в товарняк.

На птиц, терявших высоту,  
Которые из прошлых лет  
Летели за составом вслед  
И замерзали на лету.

На мертвецов иных веков,  
Которых воскресил провал.  
Они ступали между шпал,  
Чтоб лечь у новых очагов.

Везли народ. Наверняка,  
Обратный не заказан рейс.  
А вслед бежали струи рельс –  
Два, сталью ставших, родника.

И матом говорил солдат,  
И с паром выдыхался крик,  
И в шепот уходил язык,  
И лязгал у ноги приклад.

А я уже читал стихи,  
Ходил со школой на парад,  
Не ведая, что виноват,  
Что в этом и мои грехи.

Везли народ в товарняке.  
Стелился дым, холодным став.  
Был с высоты похож состав  
На трубку в скрюченной руке.

### Подручные

И не удастся спрятаться затворникам,  
И не сбежать, и не сойти с ума.  
В глазке огромна рядом с пьяным дворником  
Застегнутая в кожаное тьма.

Шаги в парадном. Холод в позвоночнике.  
Не подберешь надежного замка.  
Опричники, сверхсрочники, заочники.  
От их звонка полшага до курка.

Начальникам дневным не подчиненные,  
Они до обвинительных речей

Вождей производили в заключенные  
При свете электрических свечей.

Одной метлой – солдаты и рабочие,  
Врачи и сочинители стихов.  
Подручные вершили полномочия  
От полночи до первых петухов.

А на свету, как связанные путами,  
Поспав, они отгуливали день.  
И сделавшись на время лилипутами,  
Влезали в щель, где постоянно тень.

Пережидали карлики с наганами,  
Которых властью наделяла мгла,  
Пока вокруг дневными великанами  
Ночные пересмотрятся дела.

Но вот один шепнет другому на ухо:  
«Пора, брат, время нашего поста».  
И вырастая, застегнется наглухо  
Идущая на дело темнота.

Заочники, сверхсрочники, опричники,  
От сих гостей не соберешь костей.  
Они сегодня дачники, клубничники,  
Читатели «Московских новостей».

Они сажают нынче лук с морковкою,  
Судачат о погоде, о плодах.  
И в сапогах с тяжелой подковкою  
На пригородных ездят поездах.

Но летней ночью под луною матовой,  
Когда в саду густеет запах роз,  
Они ведут меж грядок тень Ахматовой  
Под старую рябину на допрос.

### Умер Сахаров

Это тоже было, как голосование –  
Облегченья тайный вздох и боли вздох.  
Умер Сахаров. Продолжим заседание.  
Встанем траурно в проеме двух эпох.

Помолчим одну минуту по обычаю  
И затеем бесконечный разговор.  
Торопливое его косноязычие  
Красноречью прочих больше не в укор.

Мы и раньше не стыдились неумелости  
Говорить с ним, и свистело оттого  
Большинство из секторов трусливой смелости  
Возле робкого отчаянья его.

И звучало поименное мычание,  
Хотя все и знали, что ни говори,  
Как в период всесоюзного молчания  
Затыкали ему глотку главари.

Мы и раньше не венчали его славою.  
Разве можно на трибуне высших сфер,  
Так картавя, разговаривать с державою,  
У которой государственное ЭР?

Будто пойманный прожекторами, в мареве  
К микрофону он бочком, почти бегом  
Семенил, чтоб не догнали, не ударили  
Через гула поименного погром.

Умер Сахаров. Свеча по месту жительства.  
Слава богу, что не газовый огонь.  
И пустует место посреди правительства,  
Где щеку держала с вывертом ладонь.

Постоим перед закрытыми воротами,  
За которыми придется быть и нам.  
Пустоту заполнит время патриотами.  
Это знаем мы по прежним временам.

Мы-то помним, как упасть не дали волосу  
С головы его. Упала голова.  
Голосуем. Соберет венки по голосу  
Безголосого голосящая Москва.

Мы-то помним, мы-то слышали по радио,  
Как выпрашивала пять минут рука.  
Христа ради. Отказали. Демократия.  
Пять не подали. Теперь его – века.

Возвеличили. Порочили. Морочили.  
Не трибун он, а пророк и чародей.  
Вся Россия встала в траурную очередь,  
Отказавшись от других очередей.

### Иностранец

*Семену Липкину*

По чужбинам рассеяно древнее племя.  
У чужих очагов уцелеть повезло.  
Виноградное семечко, сладкое семя  
Стало горьким и в стылой земле проросло.

По каким плоскогорьям оно прикатилось,  
Приглушенное эхо библейской души?  
Иудейская ветвь. Чья жестокая милость  
Сохранила ее в местечковой глуши?

Ни хозяева этих пределов, ни гости.  
Корни где-то, а листья зеленые тут.  
Виноградная косточка. Белые кости  
Грамотеев, философов, сельских зануд.

Иностранцы, народ из иных поколений.  
Из пророков в торговцы, в ткачи, в скорняки.  
Через тысячи лет только камни и тени,  
И пустых европейских широт сквозняки.

И вина, что чужой, что божественным знаком,  
Ошалелым сознанием мрак осветя,  
Не явился испанцем, германцем, поляком,  
Россиянином на маскарад бытия.

Вырой возле отцовского дома колодец,  
Но прольется когда золотая струя,  
Не твоя это будет вода, инородец,  
Можешь пить ее, только она не твоя.

Это эхо судьбы. Ни обиды, ни злости,  
Это ноют в земле посредине зимы  
На чужбине родной виноградные кости.  
Слышу голос, за мною летящий из тьмы:

«Не твоя это родина с вешней капелью,  
С деревянной церквушкой и тенью коня.  
Не твое это дерево над колыбелью,  
Хоть его во дворе посадила родня.

Ты здесь вырос. Ты выбрал жену и дорогу.  
Но не думай, что держишь синицу в руке.  
Ты ругаешься, и обращаешься к богу,  
И во сне говоришь на чужом языке».

Виноградное семечко, сладкое семя.  
Вот откуда оно. Жаром дышат поля.  
И за каждой оградой – древнее время.  
И красна, как в России рябина, земля.

Вифлеем – ослепительно, празднично, сухо.  
Галилея – как колокол ожил в тиши.  
Имена здесь открыты для русского слуха.  
Каждый звук обнажен для еврейской души.

Эти лица сошедших с икон богородиц.  
Эти камни – остывшие слитки огня.  
Значит, я не для всякой земли инородец,  
Оказалось, что родина есть у меня.

Пусть она для меня не родная, иная,  
Пусть не ведаю я своих предков имен,  
Но стоит моя память у склона Синая,  
В стороне от людей, вне пространств и времен.

Оказалось, что горсточка глины под солнцем  
И отара в загоне, и в поле стерня  
Есть не только у чукчей, чечни и чухонцев,  
Оказалось, что есть это и у меня.

### Народ

Я не люблю любой народ.  
В любом народе дремлет сброд.  
Позволь – и тьма со дна всплывет.  
Народ не общество, а род.  
Он с первобытным гневом слит.  
Он верен злу своих обид.  
Он мстит за то, что сир и сер.  
Слепой инстинкт забытых эр  
Его выводит на тропу.  
И льется кровь, дразня толпу.  
Игрой становится беда –  
Сегодня «будем бить жида»,  
А завтра «русских жги-пали,  
У, надоели москали».  
Цыгане, татарва, чечня.  
В любом народе нет меня.  
Я не хочу таких удач,  
Чтоб их со мной делил палач.  
То, видно, про меня слова –  
Иван, не помнящий родства.  
Ни кумовства, ни сватовства,  
Ни пиршества, ни воровства.  
Я помню Моцарта, а он  
Был не народом сотворен.  
Ну разве Сахаров народ?  
Народ – тысячелетний гнет.

Прекрасен человек, пока  
Он не толпа, он не века,  
Он не табун, он не косяк,  
Он не инстинкт, таящий мрак.  
Я существую в мире сам,  
Я на крови не строил храм.  
Я – инородец всех людей.  
Не эллин и не иудей.  
Смотрю, как падает звезда  
Из ниоткуда в никуда.

### Страх

В каждом районе  
Жил свой сумасшедший  
После войны.  
Не знаю, почему,  
Мальчишки находили в них забаву.  
Жил и на нашей улице дурак.  
Наш сумасшедший был неинтересный.  
Он грустный был.  
Нам с ним не повезло.  
Вначале мы им все-таки гордились,  
И бегали вприпрыжку,  
И кричали:  
«Ура! Давай! А ну-ка, тру-ля-ля!»  
Какой ни есть,  
А наш – умалишенный.

Но вскоре надоело –  
Он молчал.  
Да и вообще, когда бы не походка,  
А двигался он,  
Как автомобиль,  
В котором засорился карбюратор –  
То медленно,  
А то почти бегом,  
И ритм обычно был непредсказуем,  
Так вот, когда бы не его походка,  
Попробуй догадайся, что он – псих.

– Мишигин, – говорила по-еврейски  
С акцентом украинским тетя Маня. –  
Чем жить, как он, –  
И в лоб себе стучала, –  
Так лучше уж, не дай бог, умереть.  
Мы разочаровались в нем.  
А позже  
Внезапно город заняла зима.  
Дождь, ливший утром,  
К вечеру замерз,  
И с неба до земли над тротуаром  
Повисли разноцветные сосульки,  
И отраженья скрылись подо льдом.  
И поскользнулся грустный сумасшедший:  
Ходить по гололеду непривычно –  
Упал и повредил голеностоп.  
Стесняясь,  
Я довел его до дома.  
Он стал со мной здороваться.  
Однажды,  
Впервые обнажив свою улыбку,  
Он мне сказал:  
– Поздравьте,  
Выпал зуб, –  
Он рот открыл и показал то место,  
Где весело свистела пустота, –  
Такое счастье, зуб проклятый выпал.  
И я его поздравил:  
– Поздравляю.  
Теперь свистит, когда вы говорите.  
А он махнул рукой:  
– Не в этом дело.  
Сейчас уже могу вам рассказать.  
Я был в плену, в концлагере, у немцев.  
Два года.  
Что вы скажете на это?  
А впрочем, ничего не говорите.  
Я, чистый грек, –  
Хотите документы? –  
Я, русский грек,  
Похожий на еврея, у немцев жил,  
В одном щелчке от смерти.

Они меня не тронули.  
Смотрите,  
Я жив,  
Хотя имею длинный нос, –  
Он медленно провел по носу пальцем. –  
Они меня оставили.  
И даже,  
Когда стреляло в зубе у меня,  
Их доктор мне поставил пломбу.  
Странно?  
Я тоже удивлялся,  
Но потом  
Додумался –  
Идет эксперимент,  
Наверное какое-то открытие  
Потребуется живые организмы.  
Не кролики под опытом,  
А я,  
Тянулись дни,  
И, привыкая к страху,  
Я ждал развязки.  
Но меня не звали.  
И только год спустя мне стало ясно:  
Уже давно идет эксперимент.  
И я ношу во рту совсем не пломбу,  
В мой зуб вложили радиотранслятор.  
Прибор, передающий ток из мозга,  
И только я подумаю о чем-то,  
Как там уже известны мои мысли,  
А может, их читают и у нас.  
И стал я рассуждать себе про птичек,  
Про звезды –  
Про бессмысленные вещи.  
Вы говорить боитесь иногда,  
А я боялся думать.  
Постоянно.  
Потом, когда закончилась война,  
Я выучил все лозунги с плакатов,  
Как будто митинг у меня внутри  
Идет,  
И мне нельзя сойти с трибуны.

– Товарищи!  
Долой космополитов!  
Долой апологетов лженауки!  
Долой стихи, фамилии не помню!  
Какую-то там оперу – долой!

Все, что писалось в утренней газете,  
Я наизусть заучивал,  
И думал  
Газетной строчкой –  
Пусть услышат там,  
Пусть *там* оценят.  
Чтоб не усомниться,  
Я вверх смотрел  
Или глядел под ноги,  
А если что в глаза само бросалось,  
Я говорил себе,  
Не вслух, конечно:  
– Как хорошо, что привезли продукты,  
И доблестному руководству треста,  
Живущему в одном со мной подъезде,  
Несут их.  
Это я вам для примера.  
Страшней всего на свете были сны.  
Ну, мало ли что может нам присниться,  
Когда душа осталась без контроля.  
Потом попробуй докажи,  
Что это –  
Тень бытия.  
Что ты не разделяешь  
Какие-то видения ночные.  
И я кричал, еще не пробудившись:  
– Я не виновен!  
Это подсознание.  
Сознательность другая у меня.  
Простите!  
Я за сны не отвечаю!  
И просыпался,  
Напевая марши.  
И чистил зуб,  
Чтобы слышнее было,  
Как марши голос внутренний поет.

Жил-был на белом свете  
Сумасшедший.  
Счастливый,  
С черной дыркой вместо зуба,  
Который мне печально улыбался  
И говорил загадочно при встрече:  
– О, если бы вы только догадались,  
О чем я позволяю себе думать.  
Свобода мыслей – это все же вещь!

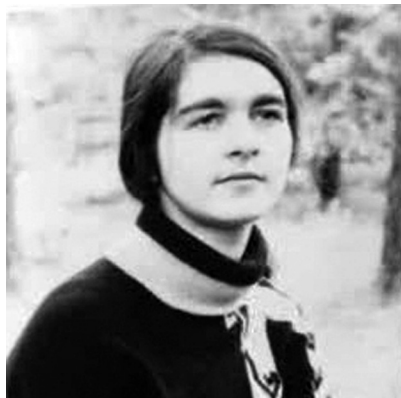
**Две строфы стихотворения, начатого за день до ухода**

Глаз слабеет, хуже слышит ухо,  
Сердце бьется глухо, не спеша.  
Но над пропастью за скалы духа  
Все еще цепляется душа.

Облачком в вечернем небе таю.  
Не найдя ночлега у людей,  
Улетая, догоняю стаю  
Слившихся со тьмою лебедей...

*Публикация Вадима Ольшевского*

Анастасия Харитонова  
(1966 – 2003)



**Григорий Марговский**

АНАСТАСИЯ ХАРИТОНОВА

С Настей Харитоновой, моей первой женой, мы вместе учились на винокуровском семинаре. Отец ее, Роман Федорович, тоже в свое время окончил Литинститут. Простой деревенский парень из-под Воронежа, в свое время репрессированный, дорос до шестого заместителя Демичева: назначал директоров театров по всей стране. Из Минкульта его выжили, и он впрягся ответсеком в журнал «Театральная жизнь», а в последние годы вместе с Попцовым руководил ВГТРК. Зачем-то съездил в Багдад, в гости к Саддаму Хусейну (в это время в Израиле я стоял в очереди за противоголодом), через пару лет умер. Бывший мой тесть был близок с Ельциным – и тот, навещая понтифика в Риме, презентовал Иоанну-Павлу II книгу его стихов по-русски. Будучи полиглотом, Настя знала английский, итальянский, немецкий, латынь, чешский и польский: вот и стала первым переводчиком Папы Римского. Впоследствии ее наградили престижной итальянской поэтической премией. При жизни она выпустила двенадцать стихотворных сборников, но, от природы застенчивая и необщительная, целиком и полностью зависела от отца.

Жили мы плохо, с самого начала наш брак стал разваливаться. Но родилась дочь Марианна, надо было терпеть. Впрочем, через три с половиной года мы все равно расстались. «Ребенка ты больше не увидишь!» – категорично заявила Настя. И действительно, когда я звонил ей, еще в Москве или уже из Израиля, гневно бросала трубку. При внешней своей апатии и безответности она была наделена невероятно страстным темпераментом: вероятно, сказывалась одна восьмая греческой крови. Второй ее брак тоже потерпел фиаско: бывший «афганец» злоупотреблял алкоголем и обладал не самым мирным характером. Прошли годы, я переселился в Нью-Йорк. 7 декабря 2001 года внутри вдруг что-то екнуло. Я позвонил в Москву – и бывшая теща, Тамара Александровна, шепотом сообщила мне, что шесть дней назад Настя выбросилась из окна...

Таланту Насти мог бы позавидовать любой из сверстников. В стихах ее твердость духа сочеталась со строгостью формы. Во многом она следовала за Ахматовой (очень высоко ее ценила), при этом оставаясь домашней девочкой, в быту совершенно неприспособленной. Как и подобает истинному поэту, она ушла в 37 лет.



Втроем, с дочерью Марианной. Сентябрь 1988 г. Трубники.

Фото Р.Ф. Харитонов.

## Анастасия Харитонова

\* \* \*

Потеряла муха нежную сандалию.  
Что-то в прошлое скатилось.  
А в моей душе, наполненной печалью,  
Нечто чудное светилось.  
Погляди – за окнами морока:  
Флаги, фуги, нищие сонаты.  
Ну побудь еще со мной немного.  
Ну куда ты, бедная, куда ты...

\* \* \*

Я слышу цокот легких каблучков.  
Июньский ливень освежил Москву.  
И женщин в облаке дождевиков  
Я вижу то ль во сне, то ль наяву.  
В подъезды забегает детвора,  
Подобно стае вымокших котят.  
Так город умывается с утра,  
И тротуары серебром блестят.  
И продавщицы белоснежных роз  
Их под клеенку прячут поскорей.  
Я полюбила город летних гроз –  
Орех волшебный в серой коже.

\* \* \*

На сырой, непротопленной даче,  
Где рябина стучит в окно,  
Жизнь является чуть иначе –  
Вдохновенно, таинственно, зряче,  
Как Рембрандтово полотно.  
Скоро синие сумерки лягут,  
И в волнение ищу ответ:  
Что же, сядут или не сядут  
Три пришельца за поздний обед?

Обрывайся, кровавое время,  
И не мучь мое сердце, не мучь!  
И над этими, и над теми,  
Над страною, над нами всеми –  
Золотистый небесный луч.

\* \* \*

Он письма разбирал и думал о своем,  
А мир глядел в замерзшее окошко  
Нахохлившимся, жалким воробьем.  
Еще слеза, еще совсем немножко,  
Мы докопаемся до смысла и уйдем.  
Барашковые святки озорные  
И женщины, метелью повитые, –  
Все это только многолюдный дом,  
Не помнящий о первенце больном.  
В коляске северной летят глухие ночи,  
Рука ныряет в жаркие меха.  
Всех малых правд острее и короче  
Отточенное перышко стиха.  
Эй, эй, седок, не знаешь, кто там правит,  
Кто там подковы ледяные гнет  
И сумасбродно, с хрипотцой поет:  
«Что любящее сердце проклянет,  
То одинокая душа прославит»?

\* \* \*

Никуда ты уже не уедешь.  
В лихорадке трепещущий весь,  
Отгремевшего века последыш,  
Ты, конечно, останешься здесь.  
Никогда не бывал ты досужим.  
От лирической черной сохи,  
Под своим одеялом верблюжьим  
Ты и нынче слагаешь стихи.  
Перламутровый отблеск заката  
Озаряет кусок потолка.  
Ну ответь: разве жизнь виновата,  
Что послушно идет к сорока?..

\* \* \*

В тазу – клубника. В крынке – молоко.  
А у меня сегодня – день рожденья.  
И радует смешное заблужденье,  
Что до черты последней далеко.  
Куда там далеко, когда она  
Сама уже мне под ноги ложится.  
Забыты книги, пресен вкус вина,  
И хочется лишь, если ночь без сна,  
Пуховыми подушками разжиться.  
Все я томлюсь, все плачу не о том.  
А время незаметно утекает.  
Закат горит в окне полуслепом,  
И ласточка беспечная мелькает,  
Лучи крылом срезая, как серпом.

\* \* \*

На черемухе повисла пена,  
Закрывая ствол ее корявый.  
Долетает музыка Шопена  
С милою фальшивинкой картавой.  
Зеркало, мой облик принимая,  
Отразит его чуть-чуть иначе.  
Все же хорошо в начале мая  
Сочинять стихи и жить на даче.  
Может быть, не так уж много смысла  
В том, что с нами было или стало...  
Но в окне черемуха повисла  
И уже все этим оправдала.

\* \* \*

Пруды да известь монастырских башен –  
Любимые, заветные места.  
Лишь голос ветра так сегодня страшен,  
Как будто вся земля давно пуста.  
Уйти бы прочь с котомкою, с клюкою...  
Но, проведив душевную зарю,  
Я на себя в беспомощном покое  
Уже с другого берега смотрю.  
О жизнь, ответь мне, что же ты такое?

### Поэт

Помедли стих! я говорить хочу  
На языке любивших и любимых.  
И вот со словарем потерь учу  
Язык скорбей, скорбей неисцелимых.  
Как будто грела нежная рука,  
Как будто эти губы целовали...  
...На языке зеленого дубка,  
На языке немислимой печали...  
Шли по домам. Прощались. Письма жгли.  
Петух кричал Овидиевым утром.  
И разом все растаяли вдали  
В каком-то ветре, вихре, свете смутном.  
Мы без любовной шири – прах и тля.  
Но есть еще для нас леса и доли.  
Я знаю, как склоняется земля,  
Когда на ней спрягаются глаголы.  
Года не те, и голос уж не тот,  
И с каждым днем сильней подводит зреньё,  
Но все-таки растет, растет, растет  
И торжествует песнь благодаренья.  
И если я отважусь умереть,  
Певцу другому отдавая лиру,  
Моих трудов, исполненных на треть,  
На многие столетья хватит миру.

*Публикация Григория Марговского*

## Григорий Марговский

### Обморок

*Памяти Насти*

Вновь привидятся заморозки  
В этом дивном краю,  
Индевеют сезама ростки,  
И чудно муравью,  
Я безмолвие обморока

Пожинаю, как жмых,  
И ложится на лоб мой рука  
Той, что нету в живых...  
За любовь свою проклятую  
Я сполохом заснят –  
И признания впрок ли таю,  
Лишь года прояснят,  
А пока иллюзорности я  
Предаюсь, и зима,  
Свои стылые зерна стеля,  
Леденит закрома...  
Подари же мне, суженая,  
Золотой водоем,  
Чтоб, кроветками ужиная,  
Хохотали вдвоем,  
А под вечер на мыс поведи,  
Где луна как свеча,  
Чтобы чайки на исповеди  
Надрывались, крича!

### Реквием

*Памяти Анастасии Харитоновой*

#### 1.

Как библейский голубь из ковчега –  
Из тщеты существования ты  
Упорхнула в дальние скиты,  
Где в почете певческая нега,  
Где решившихся на крайний шаг  
Привечает ангельская челядь  
И садятся за полночь вечерять  
Те, кто в путь пустился натоцк.

#### 2.

По Москве гуляют холода  
В полушубках ведомства сыскного.  
Чем не государева обнова? –  
Ударяет в бубен коляда.

В подворотню возвратился ворон  
Из Эдгаровых щемящих строк.  
Ждет-пождет кандальников острог.  
Черной сотни говорок проворен.

## 3.

Ты жила напротив Литмузея,  
В историческом особняке.  
Я шагал по эркеру в тоске,  
На звезду летучую глаза.  
Свечки зажигая и постясь,  
Ты шептала что-то на латыни...  
Эта тяга к жречеству – поныне  
Моего безумья ипостась.

## 4.

Через двор – посольство США.  
Я в смятении отказу внемлю:  
Мол, не с теми я, кто бросил землю,  
От корней питается душа!..  
Горько мне, что столько плодоносил  
Дар мой от отчества вдали,  
Что не с теми я, кто горсть земли  
В светозарную могилу бросил.

## 5.

Все мы дышим воздухом одним –  
И чужой агонии прохлада  
Нас живит, и тихий лепет сада  
Жертвенной просодией храним.  
Созерцаю, выйдя на балкон,  
Сахарные клены Форест-Хиллса:  
То ли вещей замысел свершился,  
То ли так и было испокон?

## 6.

Убивающий себя поэт  
Вносит в мир поправку роковую –  
Дабы впредь оправу роговую  
Наводил усердной буквоед;

Умереть – желание умерить  
Керам огнедышащим посул  
Тех, кто жизнь свою перечеркнул,  
Приписав: зачеркнутому верить.

30 декабря 2003 г.

## Степан Гончаров (1952 – 2015)



Ирина Машинская

### ЭЛЕГИЯ СТЕПАНУ

Сегодня утром посыпались еще не желуди, но шапочки от желудей. Я знаю, что Степа это непременно отметил бы, долго курил бы, смотрел бы на них, слушал.

Эти дни мне было больно поднять голову на почти уже полную луну, звезды, на которые он любил смотреть – с удовольствием произнося имена тех немногих созвездий, что однажды выучил и знал назубок. Но он любил их все – и те, которые учить не собирался, потому что в каком-то смысле он их уже *знал* – ведь созвездия, да и сами имена светил – лишь условность, взгляд с одной стороны.

Больней всего мне сейчас смотреть на то, что он любил в этом мире – а любил он, вопреки тому, что могло показаться из его монологов и реплик, очень много: весь дикий мир, всю природу, весь тот неосвоенный, не дающийся еще человеку космос – но и природу одомашненную, городскую он так же любил и жалел – и все же все знающие его подтвердят:

джунгли африканские были ему милей джунглей городских. В последних он легко и с готовностью терялся, заранее сдавался, а в первых он бы выжил без воды и спичек – добыл бы и воду, и огонь.

Степа часто повторял слова своей матери, тоже своего рода романтика и мечтателя, что главная цель жизни – это *наглядеться на мир*. И при этом он не считал необходимым физическое перемещение по планете. Наблюдая за путешествием мураша на склоне у забора, на который выходила его стеклянная дверь, читая Анри Бомбара, Тура Хейердала и Акимущкина, рыбака на океане с дочерью в Канаде и Мейне или с друзьями на нью-йоркском озере и на Делавере – то есть, в общем-то, рядом, за забором, он путешествовал не меньше, чем если бы у него был паспорт – которого у него и не было. А рыбалка с четырехлетнего возраста, когда он в длинной белой рубашке, еще без штанов, но уже с удочкой стоял у протоки за кочетовским домом! Я никогда не могла понять, как можно так долго, так терпеливо стоять на месте – и не ринуться в воду или не пойти босиком по песку – а он мог так стоять часами, и каждая минута этого кажущегося *стояния* была наполненной и настоящей.

«То, что он не мог исчезнуть и что появление его не было случайностью, Макар понял только когда, обойдя полземли, решил остановиться и жить, как все нормальные люди. Но из этой его затеи ничего не получилось. Пашня, которую он засеял, ничего не уродила, дом, который он построил, сгорел во время грозы, и беспокойные ноги Макара вновь всколыхнули дорожную пыль.

И теперь, сидя в траве, он точно знал, что нет на земле уголка, где он не побывал. А сколько он знал и помнил! Временами ему казалось, что знаний этих хватило бы на сто человеческих жизней и еще бы осталось».<sup>49</sup>

До наших 18 лет был год, и было лето, когда я работала в ВИНТИ, а он в геологической партии в Сибири. Начальником партии был известный геолог Баранов. Почти каждый день в то лето я получала от Степки по письму. Некоторые из них сохранились. И каждое письмо могло стать рассказом.

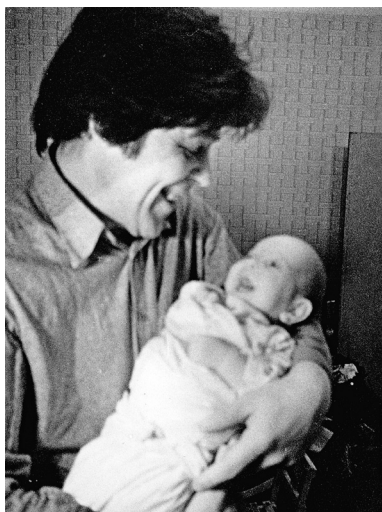
---

<sup>49</sup> Рассказ «На лугу».

Только рассказы и стихи он, как правило, не дописывал. А в письмах была и уверенность, и завершенность. Мне вообще кажется, что те поразительные и совершенно меня тогда разоружившие послания о сибирской природе – то есть о нем самом! – и есть лучшее им написанное и в столбик, и в строчку.

Мне запомнился несколько раз повторенный рассказ-воспоминание о том, как в одной из тех «барановских» экспедиций он карабкался с неизменной своей удочкой – вниз по течению Енисея и вверх по склону – и увлеченно тащил леску. Степа, всю жизнь необыкновенно ловкий, как Маугли, складный, атлетический, мог вскарабкаться куда угодно – на дерево, на скалу или – даже не совсем трезвым – на балкон московского пятого этажа. Но тогда он вдруг понял, что стоит на краю обрыва, с которого невозможно спуститься. В руках удочка. Внизу крутой склон и река. И пути вниз нет. Но в конце концов, цепляясь за выступы и растения, он соскользнул-таки и вышел к своим. И я думаю сейчас, что двадцать первого он просто не успел спуститься.

30 июля 2015  
Парамус, Нью-Джерси



**Степан Гончаров**

\* \* \*

Пароходик на Гудзоне,  
енисейская вода.  
Я кого-то проворонил  
навсегда.

Это кто здесь похоронен?  
– дай взгляну.  
Посторонний, посторонний  
я ему.

Даже той потусторонней  
жизни вне –  
посторонний, посторонний  
я и мне.

В этой вовсе не вороньей  
стороне  
– на Гудзоне, на Гудзоне  
будет мне.

1992

\* \* \*

Я знаю, что там, под Воронежем, так же нудят провода,  
и короткий день, и февральский заносчивый ветер.  
Как ангел, пройдешь, за собой не оставив следа,  
как будто тебя никогда не бывало на свете.

Как будто не мать, а беспечность тебя родила,  
заведомо зная, что негде тут будет прижиться.  
Пустынно и гулко, и белая кружит юла,  
и черствому снегу на черной земле не лежится.

1995

\* \* \*

Я знал, что будет ночь судьбы моей короче,  
я знал, что будет день – печальнейший из дней.  
Как все мои с тобой не прожитые ночи.  
– Да, я опять о ней, да, я всегда о ней.

Веди же за собой к Москве белее снега –  
ведь мы еще белей придуманной Москвы.  
Как гулко крепнет лед в предчувствии побега!  
Как замерла трава в предчувствии листы!

Скользи, моя душа, туда, где было больно,  
туда, где снег в глаза, туда, где смерть в глаза.  
Как воля горяча скользнувшему невольно!  
Как скользок этот миг, летя под полоза!

&lt;?&gt;

\* \* \*

А я любил поваленный забор,  
листву в траве, весь этот непорядок.  
Здесь кот мой шел мышей ловить во двор.  
Я глупо жил, но видел вечность рядом

во всей ее не вашей красоте,  
во всей ее заброшенности милой.

О чем жалеть, чего еще хотеть?  
Я ничего не взял у жизни силой

и дал ей быть такой, какая есть.

<?>



С.Г., И.М.

\* \* \*

Как я выплакал тебя  
у метро Кузьминки  
– серебристые свербят  
чернобелоснимки

туго в трубочки, пока  
не разгладишь имя.  
Плыли,плыли облака,  
ну и я за ними.

*Публикация Ирины Машинской*

## **Ирина Машинская**

### **ГРОМ В МАРТЕ**

*С. Гончарову*

А тут опять весна, воздух скрипит сырой,  
ветер такой в грудь, будто стучит: открой,  
слабая тень косит, вбок бежит,  
испаряется жизнь, плохо лежит.

Я стою под столом, надо мной стол,  
гром рассыпает, как ртуть, бильярд.  
Будто один остался мужик – во дворе столб  
посреди барахтающегося белья.

Вот из заплат атлант выгибается, вот колосс,  
вот над кормой летит парус с прорехами.  
Кто до свету рожден – до темноты подрос.  
Ехали мы с тобой, ехали и приехали.

Ах, как хотят жить, как хотят пить,  
но идут к реке в сапогах котят топить,  
где, угрожая, тебе говорят: мать,  
где нелегко жить, легко умирать,

в тех краях, где воздух трещит, как холст,  
где за холмом холм, на холме погост,  
где, как дыра с дырой, с тобой говорит март, –  
там поймешь, что никто не мертв.

Вот и хватит ваять – ветер, ты лепи.  
Нечего нам вещать, множить вещи.  
Ничего, ничего в груди, кроме любви,  
Тяжелеющей, отсвечивающей.

1999



# ВОСПОМИНАНИЯ

## Лиля Панн

### ЮЛИЙ

Перевертыши, отщепенцы, наследники Смердякова (вот и Достоевский пригодился)... – пыхтели газеты зимы 1966-го, и им вторил репродуктор на стене. Но ядовитую химию советской фразеологии пробивал освежающий сквознячок двух имён: Андрей Синявский и Юлий Даниэль. Первое имя мне было незнакомо, второе же... о, уже десятилетие, как память моя хранила это *весёлое имя: Ю л и й*. Так, без отчества, по обычной для старшеклассников фамильярности, меж собой звали мы нашего учителя литературы, Юлия Марковича Даниэля (1925 – 1988), и так в конце концов научилась я обращаться к нему по его просьбе, когда довелось видаться с ним несколько раз после освобождения его из тюрьмы. И только так – вослед образу из его тюремных стихов: *«Друзей имена, как жемчужины, / Как чётки перебирай»*<sup>50</sup> – захотела я назвать очерк о нём, написанный через пять лет после его смерти<sup>51</sup>.

Тогда я ещё не прочла огромное собрание писем Юлия Даниэля из заключения, с подробным комментарием его сына Александра<sup>52</sup>, а также появившиеся несколько позже воспоминания других близких и друзей<sup>53</sup>. Ещё более отдалившаяся от описанных мной событий, читала я теперь о человеке, которого видела большей частью за столом учителя в нашем десятом классе, читала и поражалась, что этот человек – в воспоминаниях самых разных людей при самых разных обстоятельствах его жизни, от первых послевоенных лет до первых перестроечных, – был узнаваем мною так, словно я была соглядатаем всего этого

<sup>50</sup> Юлий Даниэль. Стихи из неволи. 1965 – 1970. – Амстердам: Фонд им. Герцена, 1971.

<sup>51</sup> Лиля Панн. «Юлий» – Нью-Йорк: Новое русское слово, 24 дек. 1993; Израиль, журнал «22», №92.

<sup>52</sup> Юлий Даниэль. «Я всё сбиваюсь на литературу...». Письма из заключения. Стихи. Составитель, автор вступительной статьи и комментария А.Ю. Даниэль. – М.: Общество «Мемориал», 2000.

<sup>53</sup> Уварова И.П. Даниэль и все-все-все. – СПб.: Изд. Ивана Лимбаха, 2014.

Раппопорт Н.Я. То ли был, то ли небыль. – СПб.: Изд. «Пушкинский фонд», 1998.

Воронель Н. Без прикрас. Воспоминания. – М: Захаров, 2003.

Глинка И.Г. Дальше – молчание. Автобиографическая проза о жизни долгой и счастливой. – М.: Модест Колеров, 2006.

Юрий Финкельштейн. «Вспоминайте меня...» // [http://samlib.ru/f/finkelshtejn\\_j\\_e/yulik-8doc.shtml](http://samlib.ru/f/finkelshtejn_j_e/yulik-8doc.shtml), 2004.

времени его жизни. Объясняю тем, что тридцатилетний Даниэль, сама беспечная молодость в благородном воплощении, был уже сформировавшейся личностью. Учитель литературы не-предумышленно дал нам (тем, кто хотел брать) некую формулу – своего рода платоновскую идею – своей личности, позже, в те или иные моменты, проявлявшейся в чудесном разнообразии красок, но всегда по этой формуле. Другими словами, он всегда и везде оставался самым собой, будь то жизнь или литература.

Какие-то причудливые резонансные явления в работе памяти (можно ли назвать работой это блаженное состояние?) при чтении и перечитывании всего написанного им и о нём – чтении всего *даниэлевского текста* – нашли себе выражение в новой редакции моего очерка со старым названием, предназначенным теперь ещё и передать мою радость узнавания *Юлия* в опалённом трудной славой Ю.М. Даниэле.



Юлий Даниэль – учитель. Из архива Лили Панн.  
Фотография ранее не публиковалась.

\* \* \*

О Даниэле-учителе опубликовано до обидного мало. Есть важные полстраницы в интервью, единственном им данном для печати, за полгода до смерти, вошедшем в наиболее полный сборник его произведений «Говорит Москва»<sup>54</sup>.

<sup>54</sup> Даниэль Ю.М. Говорит Москва: Проза, Поэзия. Переводы. – М.: Московский рабочий, 1991. С. 293-299.

«Нравилась ли вам ваша работа и каким, вам кажется, вы были учителем?» – «Да, пожалуй, нравилась, но учителем я был, мне кажется, не блестящим, а такие, знаю, уже были».

Вы и были, Юлий Маркович. Чему совсем не противоречит ваше поведение за стенами класса, кое не удивило бы нас, если б знали тогда: «С начальством не ладил, мог встать и сказать, что я думаю о районном отделе народного образования и о тех, кто приходил к нам учить нас, как учить, сам в этом ничего не понимая. Но работа моя тогдашняя – это был и способ зарабатывать на жизнь и быть законопослушным гражданином. Как ко мне относились ученики? Мне кажется, что любили. Я к ним всегда относился с симпатией, и они, по-моему, отвечали мне тем же».

Мне тоже так кажется.

Ирина Павловна Уварова, вторая жена Даниэля, участвуя в том же интервью, сообщает подробность, вызвавшую у меня не то ревность, не то зависть к ученикам до нас, до того, как Юлий пришёл преподавать в школу №313 в Сверчковом переулке, в двух шагах от дома на углу Армянского и Маросейки, где он тогда жил. «У него в школе была забавная кличка “ДЮМ – друг детей”: Даниэль Юлий Маркович, а друг детей – потому, что, если надо было провинившегося выставить за дверь, он говорил невозмутимо спокойным голосом: “Друг мой, выйдите вон из класса!” Это “друг мой” так и осталось до сих пор его любимым обращением». Обращение помню, но шутливая кличка “ДЮМ – друг детей”, увы, творение учеников другого класса, мы были в массе сероваты, вряд ли способны на изящный юмор. Да и не помню я, чтобы Юлий находил необходимым кого-то выставить за дверь. Какое там! У него на уроках мы вели себя на твёрдую пятёрку, причём без всякого напряжения, нам было просто интересно. Такое случалось и на других уроках – особенно физики, в десятом классе страшно интересной, да ещё физичка Екатерина, кажется, Васильевна, несокрушимо строгая и при этом склонная к юмору рода *deadpan*, законы природы преподносила как личные дары, но, как ни загорались мы от откровений точных наук, за смыслом жизни обращались к неточной литературе. Так получалось само собой на уроках Юлия.

Однажды Юлий, ближе к концу учебного года, велел нам сходу написать сочинение на вольную тему: «Мой любимый вид искусства». Я решила написать о литературе, минуту посомневавшись, является ли литература искусством. Уточнить у Юлия,

уже погрузившегося уютно в какую-то книгу за учительским столом? Да нет, зачем его отрывать, ведь знаю, что именно на искусство в литературе он прежде всего обращает наше внимание. Как он говорил о драматургии Горького, о том, что только «На дне» – литературное достижение среди бесконечных пьес великого пролетарского писателя? К немалому нашему (моему то бишь) удивлению, учитель, словно на сцене, стал изображать, как Алексей Максимович, гася папиросу в пепельнице, давя и давя окурок, горестно вздыхает и приговаривает: «А пьесы-то я писать не умею, ах, не умею я писать пьесы». Очень живо Юлий сыграл, недаром хотел стать актёром, поступал в театральное училище. Эту сценку, заимствованную им, должно быть, из очередного издания «Горький в воспоминаниях современников», Юлий привёл для вдалбливания в наши головы соотношения *что и как* (в меня, помню, врезался ещё и пример внушающей уважение самокритики признанного писателя). В сочинении я писала об искусстве Чехова, самого любимого тогда моего прозаика, но в финале, сдаваясь соблазну выговориться до конца, переметнулась на «Овода» Войнич – тоже, мол, любимая литература, замечательное искусство, но в действительности может ли жизнь быть такой яркой, как у Овода? И напряжённо ждала отметки.

увидел через полтора десятка лет после того, как я окончила школу. Я не собираюсь сочинять, то есть придумывать то, чего не было, но отдаю себе отчёт в том, что если не тема, то память у меня вольная: память я выпускаю на волю, где она поведёт себя, знаю, наилучшим – в отношении *что и как* – образом. Мне также на руку, что школьное сочинение, припоминается, должно вначале предъявить план, это неплохо: план дисциплинирует; отступления в далёкие от темы сферы, к чему так влечёт мемуариста, не поощряются. По плану сочинение состоит из введения, основного содержания и заключения. Введением считаю всё вышесказанное, заключением не могут не быть «Цыганки» Даниэля, остаётся перечислить пункты основной части, то есть даниэлевского сюжета в моей жизни. Вот он, план:

- 1) Учитель словесности.
- 2) Треугольная комната на Маросейке.
- 3) Последний звонок и прочие последние вещи.
- 4) «Говорит Москва».
- 5) Читает Москва.
- 6) Встречи в Калуге.
- 7) «Вольной воли заповедные пути...»

\* \* \*

Новый учитель словесности вошёл в наш десятый «В» первого сентября так стремительно, что аж клёши взлетели. Вышедший из моды покрой тёмно-синего костюма, который он проносил круглый год, был ему прощён даже главным стилистой класса, замороженным, как и все мы, этим «новеньким». Молодой, интересный мужчина, просто красавец из кино, да ещё фамилия красивая: Даниэль. Француз? – вот и лицо, и манеры словно сошли с экрана «Ударника», где недавно состоялся первый фестиваль французских фильмов. Живые французы, однако, в нашей округе не водились, приходилось обходиться евреями.

Звучный, глубокий баритон, произносящий русское, но странное: «Быть может, всё в жизни лишь средство / Для яркопечущих стихов, / И ты с беспечального детства / Ищи сочетания слов».

Так учитель начал свой рассказ о символизме, не торопясь приступить к изучению с нами статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература», открывавшей в те баснословные года курс русской литературы XX века. От этого важного документа (да, важного для понимания соцреализма, с которым предстояла неминуемая встреча) деваться нам было некуда, но новый учитель не спешил.

У нас было несколько неплохих преподавателей, колоритных фигур, я вспоминаю о них с умилением, но между ними и нами стояла поколенческая или какая-то иная стена, которую не только было бы неуместно преодолевать, но почему-то и не хотелось. Теперь в ходу такие категории, как аура, поле – не зная этих слов, с Юлием мы оказались в правильном поле. Или, пользуясь знаменитой фразой его друга Андрея Синявского о *стилистических разногласиях с советской властью*, я бы сказала, что с другими преподавателями у нас были стилистические разногласия, а вот с Юлием не было. Впервые у нас на уроках великий и могучий, правдивый и свободный русский язык звучал не только в цитатах из классиков, но и в собственных словах учителя. Для него он был истинно *млечный*. Человек был учителем, но учил как дышал. А дыхание лёгкое. Держался с учениками просто, без всякой позы – сама естественность. Притом в покоряющем сочетании с природным артистизмом. Человек был добροжелателен (позже я поняла, что просто добр), но и остёр и ироничен. Такой учительский стиль нам пришёлся по вкусу.

На уроках литературы стало захватывающе интересно. А проходили соцреализм. (Я беру это понятие в номинальном значении – как художественный метод советской литературы, не вдаваясь в те изысканные игры с соцреализмом, что уже начал Синявский в статье «Что такое социалистический реализм» (1957), самобытностью толкования потрясшей интеллигенцию не меньше властей.) Но как проходил его Юлий? Проходил, так сказать, от противного: произведения советской литературы по программе сталкивал лоб в лоб с шедеврами, сосланными советской властью в архив. Стихотворение Брюсова «Поэту» – не шедевр, но обнажает пружины течения, которым русская литература должна гордиться, а не стыдиться, чему наставляла школьная программа. Сосланные шедевры не могли не доставаться нам в весьма умеренных дозах, но эти огоньки пробивали туман, напущенный программой на путь писателя.

Поздний Маяковский получал у Юлия микрофон только после «Облака в штанах» и других хороших и ранних творений. Вот Юлий объясняет нам на пальцах футуристическую «Ночь» («Багровый и белый отброшен и скомкан») – полную абракадабру для нас в то время. В дело у него пошла и французская живопись, выходившая тогда из запасников российских музеев. Муть слов у меня на глазах преображалась в яркую ясность – подобно химической реакции или превращению одного вида энергии в другой в опытах Екатерины, да, вспомнила, Васильевны.

Громыхая Маяковским, Юлий становился на него похожим внешне, по крайней мере в моём видении – похожим на тот графический портрет работы Юрия Могилевского, что позже стал знаменитой эмблемой московского драматического театра Маяковского. Ну, это уже проделки моей памяти, портрет я увидела только через несколько лет на выставке и очаровалась *двойным портретом* настолько, что разыскала художника (не без хлопот) и приобрела линогравюру. Как-то Юлий признался, что в актёры его не взяли. За один голос надо было б взять, думала я, слушая, как он читал стихи. Внешность его была переменчива, у многих незаурядных людей так: *ряд волшебных изменений* – то кинокасаец, то в лице его уже проглядывает портрет, причудливо нарисованный Андреем Синявским в автобиографическом романе «Спокойной ночи»: «...свисающая по-собачьи, премудрая, большая морда, в тяжёлых складках». Но всегда живое его лицо пленяло лёгкой, умной самоиронией

и чем-то ещё, что ничем иным, как излучением света души, не назовёшь. Свет из того же источника окрашивал и голос. Потому что душа его была открыта, распахнута. Более гармонично открытого человека, чем Юлий, мне, кажется, не довелось встретить.

Здесь я должна вернуться к его интервью 1989-го и дать ему возразить мне. На вопрос корреспондента, был ли он откровенен с учениками, он отвечает: «Нет, здесь всё было гораздо сложнее. Я был наглухо отъединён от своих учеников непроницаемым барьером». – «Сами воздвигли его?» – «Частично он так воздвигся в государстве вообще, человек от человека, учитель от ученика. Частично я уже услышал этот самый начальственный предупреждающий “свисток”. Я не видел возможности говорить своим ученикам всё, что думал тогда о происходящем. Об этом писал свои рассказы, хотя знал, что напечатать их не удастся».

Открытость и откровенность – не синонимы, так что, говоря о гармонично открытом человеке, я и стараюсь передать своё впечатление от его редкого свойства быть открытым, независимо, откровенен он или нет. Душа его была открыта нам как в школьной повседневности, так и в уходе от быта в литературу.

Мы хвастались перед приятелями из соседней школы, что проходим *другую* литературу: не только «Двенадцать», но и лирику Блока («О доблести, о подвигах, о славе», смею уверить, читал Юлий лучше, чем входившие в моду декламаторы Блока и Есенина, – может, поскольку читал не на сцене, а в школьном классе), не только «Поднятую целину», но и «Тихий Дон», что говорим о Достоевском, который в предыдущем году, в курсе литературы XIX века, почти не упоминался. Мы (я) привирали слегка: *другую* литературу мы не проходили, но из книг, в которых писатель «ошибался», Юлий составлял для нас этаким негласный список для внеклассного чтения.

\* \* \*

Нам крупно повезло: грянул XX съезд, и за разоблачением «культа личности» последовал демонтаж культа соцреализма. С воодушевлением пользуясь обстановкой, Юлий реже прибегал к эзоповому языку в преподавании советской литературы. Думаю, что не только о нашем духовном развитии он заботился, самому работать стало приятно; легко ли ему было валандаться с соцреализмом денно и нощно? Впрочем, нощно,

как выяснилось лет через десять, он – Николай Аржак – работал над другим реализмом.

Доклад Хрущёва на XX съезде читался во всех советских учреждениях, включая жэки и химчистки. В нашей школе эта честь выпала Юлию. Мы не удивились выбору начальства: в округе не просматривалось (не прослушивалось) лучшей дикции, столь существенной для двухчасового чтения текста, крайне непривычного для советских ушей. Нас, разумеется, в учительскую на хрущёвский доклад не пригласили. Следующее выступление Юлия на публике, но уже не от власти, а от себя – последнее слово приговорённого – состоялось через десять лет в суде (14 февраля 1966).

В своей мемуарно-эссеистической книге «Свободная охота»<sup>55</sup> (к сожалению, не дописанной) Юлий вспоминает: «Мне поручили читать этот доклад. Я стал читать. Это было очень трудно. Я всё-таки принудил себя не оглядываться на дверь в самых пикантных местах, но заставить себя не понижать голос я не сумел. Это было сильнее меня. Мне был 31 год, и лет двадцать я прожил под барабанную дробь казённого восторга, а уж проговаривать вслух какие-то вещи “против” я просто не умел».

Никогда не забуду, с каким ошеломлённым лицом Юлий вошёл в класс после чтения в учительской. Он пришёл вести урок по расписанию, но сел не за стол, а за свободную парту, и мы, увидев в этом приглашение обсудить доклад Хрущёва, окружили его. Из учителя, как из рога изобилия, посыпались доказательства того, что некоторые уже слышали от родителей или сами подозревали: Сталин – не отец всех народов, он не отец никакому народу, он – губитель многих народов (камыков сослал за Полярный круг, а чеченцев, горцев, отправил в Среднюю Азию разводить хлопок и т.д.). «Жить стало лучше, жить стало веселее», – с ухмылкой повторял Юлий, имея в виду разоблачение преступлений сталинизма. На сей раз праздник был на нашей улице. Тогда и прояснилось, чей это праздник: тех, кто открыто радовался, и в нашем классе их было не меньше половины.

Наш вольнолюбивый учитель хорошо вписывался в пейзаж времени. Прошло десятилетие, и он не хуже вписался в совсем другой пейзаж – суд, тюрьма, лагерь строгого режима

<sup>55</sup> Юлий Даниэль. Свободная охота. – М.: ОГИ, 2009.

в Мордовии. Но был такой не слишком затянувшийся период, когда «оттепель», надеялись, перейдёт в весну. (Не надеялись прозорливые люди вроде Андрея Синявского, давшего путёвку в жизнь подпольному писателю Абраму Терцу в разгар оттепели.)

\* \* \*

В воздухе с пониженным содержанием духа Иосифа Виссарионовича мы осмелели и напросились к Юлию в гости – чтобы говорить совсем свободно. Мы – это только двое учеников (они и имеются в виду чаще всего, когда я пишу «мы»); кроме меня, ещё Игорь Фараджев, ныне крупный учёный в области компьютерной математики, а тогда – классический тип гения-антиотличника. Это про него сказано: «И жить торопится, и чувствовать спешит» – с Юлием одного поля ягода – если иметь в виду темперамент, а диаметрально противоположные профессиональные интересы – математика vs. литература – сказались существенно на жизненных стратегиях. Мы жили в соседних переулках, неподалёку от дома на углу Армянского и Маросейки, старинного красивого здания с лепкой, где под крышей Юлий с семьёй (мать, жена и пятилетний сын) занимал полторы комнаты в большой коммунальной квартире. Полкомнаты – это закуток в 3 кв. м., забавной треугольной формы выгородка из общей, проходной. В треугольной помещались только кушетка и книжный стеллаж. Здесь учитель принимал нас с Игорем. Мы все сидели в ряд на кушетке, почти упираясь носами в книги на стене. Трое в треугольной комнате, а я ещё и на седьмом небе. Наконец-то у меня появился свой взрослый знакомый. И какой! Не совсем, честно сказать, знакомый – школьный учитель, но ведёт себя как свой в доску...

Здесь, в закутке, должно быть, были написаны те самые крамольные повести «Говорит Москва» и «Искушение», рассказы «Руки», «Человек из Минапа». Знали ли мы, что он пишет? Да, переводы стихов, очень увлекается. А как-то он, смеясь, показал нам рукопись: она начинается с прямой речи на французском. Он не боялся, что мы подумаем о подражании известному чему и кому – только смеялся: такое создавалось взаимопонимание, без слов. Возможно, это был черновик исторической повести «Бегство», она была издана чуть ли не в день его ареста (12 сентября 1965). Книга пошла под нож, чудом сохранился сигнальный экземпляр, с которого повесть была перепечатана

в 1991 году в сборнике «Говорит Москва». О политике говорили совершенно открыто. Хрущёвская «оттепель» стояла в зените, но падением советской власти, которого хотелось по-детски *пряма сейчас*, не пахло. Политической борьбой за изменение режима, однако, Юлий заниматься не собирался и нам не советовал. «Вот Лариса говорит: “Политика – зачумлённая область”. Согласен, не дай бог быть затянутым ею: заболеешь». И ссылался на «Бесы». Меня настолько оттолкнуло название (годится ли для романа?), что эту грандиозную книгу я прочла последней у Достоевского (зато полюбила всерьёз и надолго).

Не политикой единой, есть ещё искусство. Юлий показывал нам альбомы живописи, изданные во Франции, те самые, что на чёрном рынке шли за бешеные деньги. Как они к нему попадали? Он был образцово беден. Столь неприхотливой мебели, да и той в обрез, я не видела нигде, кроме как у себя дома (всё было в войну отдано за еду), – вот почему я чувствовала себя в своей тарелке у него под крышей. Да ещё мать Юлия, Минна Павловна, была той же породы, что и моя бабушка: не уютная старушка, как у моих подруг, умевшая прикрыть нищенский быт салфеточками-ришелье, а старуха-интеллигент, в домашнем трапезе читавшая с утра до ночи. Роскошные альбомы попадали к Юлию через друзей, может быть, и от Синявского, а к нему от знаменитой француженки Элен Замойской-Пельтье – той самой, что вошла в историю, передавая рукописи Абрама Терца и Николая Аржака в зарубежные издательства. Мы с Игорем, разумеется, не остались бы равнодушными, узнай мы об опасных связях Юлия, но тогда мы дивились только живописи, столь непохожей на русскую, почему-то обещавшей какие-то необыкновенные, упоительные, взрослые переживания. Французский импрессионизм был новостью не слабее других в ряду *breaking news* дня.

Перелистывая вместе с нами альбом Ренуара, Юлий задержался на портрете Жанны Самари (том, что в музее на Волхонке): «На Лиду похожа». Что он, издевается, что ли? Игорь хмыкнул: «Ну уж. Глаза другие». – «Всё равно что-то есть. Выражение лица, может быть». И подбавил жару: «Тоже рыжая». Но одобрительно, не так, как дразнили мальчишки во дворе. С тайным клеймом «Самари» я взлетела над глупым детством – такое было настроение. В школе на следующий день я надумала усилить гипотезу Юлия, весь урок держа голову так, чтоб она освещалась солнцем, падавшим из окна на парту, и

две косицы, заколотые в корзиночку, казались бы ещё рыжее. Время от времени я определённо ловила на себе внимательный взгляд учителя, а когда проходила мимо его стола на перемену, слышала: «Ты грелась на солнышке ну просто как кошка... рыжая» – тут я смеялась: неужели он раскусил меня, понял, что я упиваюсь освобождением от проклятой рыжей доли? Я и сейчас вижу эту понимающую ухмылку учителя. И с радостью узнаю его в невымышленном рассказе Людмилы Улицкой «Девочки и мальчики»: «Друг мой, давно ушедший, мужественный и легкомысленный солдат последней большой волны, знаток поэзии и поэт, школьный учитель, для всех старший и каждому равный, лагерник, любимец женщин и собак, обнаружил, кажется, первым, что в классической русской литературе все книги о детстве – мальчиковые. О детстве девичьем почти ничего нет».

Друзья вспоминают молодого Юлия как весельчака, душу дружеской компании, беспечного гуляку. Жил он, что называется, бурно. А как иначе в тридцать лет, в Москве и в «оттепель»? Чего я не могу понять, так это как он находил время для наших с Игорем посещений. Пусть их было два-три и обчёлся, зато длились они... Мы сидели и сидели с ним в ряд на кушетке, видимо не умея встать и разойтись по домам, а он не хотел смутить нас намёком, что пора бы. Однажды он не выдержал. Помню, в проходной комнате уже укладывались спать, но пока Юлий с комическим видом не принёс из передней наши пальто и без слов протянул их нам, мы так и сидели. Помню, Лариса, жена Юлия, иногда заглядывавшая в закуток, – тоненькая, гибкая, быстроногая, с независимым взглядом горячих чёрных глаз – вошла за мужем, бледная, утомлённая, сердитая – вроде бы не на нас, а на мужа: «Что ты делаешь? Зачем ты их гонишь?» Галантно подавая мне пальто, Юлий невозмутимо проговорил: «Им завтра в школу, спать пора». Понурившись, молча шли мы с Игорем по пустынному переулку, и пальто на мне горело от пережитого позора. Стыд захватил и следующий день; после урока Юлий спросил меня: «Что-нибудь случилось? Или был скучный урок? В первый раз вижу у тебя такое лицо – отсутствующее». А вот его лицо – удивлённое: так, очевидно, он привык к всегда распахнутому на него лицу «рыжей».

Скучным урок быть не мог, разве что это был урок не литературы, а русского языка. А как он преподавал этот предмет, не помню совсем. Что мы тут изучали в десятом классе? Память сохранила только спокойное, чуть отрешённое лицо

Юлия, пока на доске кто-то разбирает особо сложное сложно-подчинённое предложение. Не работал ли он втихаря над сложно-подчинёнными своей прозы, наверняка сочиняемой в голове в эти минуты расслабления? Могло ли ему помешать тихое монотонное бормотание у доски? Ритмичное постукивание мела? Или подростки, сдувающие друг у друга домашние задания к следующему уроку? Юлий явно распустил класс. Спасибо, Юлий Маркович, за эти штрихи, без которых создаваемый мною образ учителя получился бы слишком уж положительным. К слову, Юлий был не хуже других земной и грешный человек, но уверенность моя питается материалом его прозы и стихов; общение же с ним в качестве ученицы не предоставило отрицательного материала. Двоечники и троечники любили его за ноль высокомерия, а, может, и на них действовал шарм Юлия; так или иначе, на его уроках и литературы, и русского было тихо, все сидели на своих местах. (А на некоторых уроках вытворялось нечто несусветное. Счастливая, неповторимая пора детства достигает в моих глазах кульминации в такой вот картинке: урок логики, все в полный голос говорят друг с другом, в то время как пожилой учитель отпускает в ор, должно быть, что-то логичное; наш первый спортсмен, гимнаст, двоечник Пеньков, стоит на руках на парте, сначала перпендикуляром, а к концу урока вопросительным знаком; Пеньков, где ты?)

\* \* \*

Да, Юлия любили, и любовь выплеснулась стихийно на церемонии последнего звонка. Накануне пришли из родительского комитета и собрали по 10 коп. с носа на букет цветов нашему классному руководителю – старичку лет пятидесяти Леониду Ивановичу, преподававшему химию. И вот все классы выстроены в актовом зале, учителя на сцене, произносятся речи, затем вручаются цветы. Сердце замерло в ожидании трели последнего звонка. Красивый ритуал, не поиздеваешься. Вот от нашего класса выходит староста, долговязый красавец-стиляга Валерка Фастовский, направляется с букетом через весь зал по сверкающему паркету к сцене. И тут мы, не сговариваясь, шипим: «Юлию цветы, Юлию!» И он, долго не раздумывая, искривляет траекторию, вручает букет Юлию, что-то мурлычит, а рядом с ошарашенным лицом стоит старичок химик. Не успел Юлий отреагировать, как положение спасает чья-то мама: выбегает из толпы гостей, выхватывает букет из рук Юлия и бросает

химику, который не плошает, цветы подхватывает. Не разберёшь, что написано на лице Юлия: недоумение, неловкость – всё одно, нам невыносимо видеть его в нелепом положении. Игорь вопит: «Бежим за цветами!» Последний звонок я так никогда и не услышала.

Под приличным майским дождём, который, разумеется, тут как тут, несёмся как угорелые от Сверчкова через Чистопрудный бульвар к метро и там покупаем букет, по средствам. Промокшие и довольные, через пятнадцать минут мы в зале. Звонок, увы, отзвенел, но народ ещё не разошёлся. Финал церемонии: Игорь в окружении взбудораженного класса вручает нищенский букет Юлию, говорит что-то прочувственное, у того на лице невозмутимое спокойствие, а в стороне с грустным лицом и злосчастным букетом стоит Леонид Иванович...

\* \* \*

В старших классах я вела дневник, лениво, но с чувством. Этот материал из не подлежащих вывозу в эмиграцию (1976) я сожгла и все записи забыла. Все, кроме тех страниц, которые ещё в 1970-м вырвала из тетради, чтобы подарить их Юлию, когда встретилась с ним в Калуге, где он поселился после выхода из заключения. В тех записях я «анализировала» природу своего отношения к учителю литературы: уважаю ли его, преклоняюсь, а вдруг влюбилась и т.д. Пришла к выводу, что нет, не влюбилась. Конечно, люблю, но *любовью не женщины, а просто человека*. Я надеялась, что в калужской ссылке это свидетельство любви ученицы к нему как учителю будет ему приятно, да и просто развлечёт. В самом деле, Юлия рассмешила дотошность самоанализа: *«Странно, почему-то за самого Юлия я, при всей моей любви к нему, жизнь отдавать бы не стала, а вот за его сына, маленького, смешного Саньку, отдала бы с восторгом!»* (В советском детстве, отрочестве, юности вопрос отдавания жизни за великое дело был важным. И я воображала обстоятельства, при которых надо было бы отдать жизнь за Саньку, который умилял меня безмерно в проходной комнате на Маросейке. А за самого Юлия действительно – будущее показало – жизнь не отдала. Об этом ниже.) В конце учебного года, перечисляя все случившиеся за отчётный период хорошие вещи: разоблачение Сталина, первая поездка в Ленинград, лекция о теории относительности в Политехническом музее, фильм «Плата за страх» (в Юлии, казалось мне, есть что-то от Ива Монтана), приятельство с Игорем, новогодний вечер,

на котором впервые мальчик, одноклассник, объяснился мне в любви (а то, что после канонических трёх слов он сразу же заявил, что жить после тридцати не стоит и, как Есенин, он закончит самоубийством, так это ещё интереснее<sup>56</sup>) – я заключала огромными буквами: *ГЛАВНЫЙ ИТОГ ЭТОГО ГОДА – БЫЛ ЮЛИЙ*.

Отдавая ему эти странички в Калуге и пытаясь объяснить роль, которую он сыграл в моей жизни, я сравнила его... с Ленинградом. Прекрасный город и прекрасный человек несли для подростка, ещё не знавшего, как ему казалось, настоящей жизни, весть о грядущем счастье этой жизни. Город выводил в пространство красоты мира, наполняя лёгкие на всю жизнь воздухом этого пространства. Нечто подобное совершал и человек, приучая меня к воздуху гармоничных человеческих отношений, даря – необходимую, да, – уверенность в завтрашнем дне, уверенность в существовании родственных душ, встреч с ними, любви.

\* \* \*

После так и не услышанного последнего звонка предстояло сдать выпускные экзамены. Не велика хитрость, но... моя переполненность радостью жизни (удесятерённая отменой экзамена по истории СССР, превратившейся в фантом после разоблачений культа личности) чуть не обернулась для меня катастрофой местного значения. И спас меня, конечно, Юлий.

Письменный экзамен по литературе и русскому прошёл в нашем классе лихо. Кто-то накануне узнал темы сочинений, все были оповещены, пришли подготовленные, со шпорами. Но шпаргалки особенно и не понадобились, Юлий разрешил пользоваться первоисточниками для извлечения цитат. Только они и были мне нужны, я выбрала тему о Некрасове – «Я лиру посвятил народу своему», и цитата в названии вдохновила меня на плодотворную дебютную идею: обозначить абсолютно все пункты плана, включая введение и заключение, цитатами из некрасовских стихов. Скажем, раздел под названием «Доля ты русская, долюшка женская» говорил у меня, само собой, о положении женщины в крепостной России. И т.п.

Можно было ходить по классу, разговаривать, задавать вопросы учителю (и одноклассникам). Скоро в класс вошли

<sup>56</sup> Застрелился он, Коля Бородулин, в двадцать.

представители родительского комитета, поили чаем с лимоном и калорийными булочками. Свобода, однако, сыграла со мной злую шутку: я потеряла чувство времени. Ходила по классу, заговаривала с приятелями, перелистывала Некрасова, и только когда положенные шесть часов начали таять на глазах, я принялась писать. Сочинение было у меня в голове, но мне физически не хватало времени его записать. В мгновение ока праздник превратился в дурной сон: все сдали свою писанину и ушли, в опустевшем классе я строчу изо всех сил, ужасаясь, что завалила экзамен на аттестат зрелости (а уж о медали надо забыть), Юлий, стоя надо мной с кishой сочинений и недовольной миной, белым голосом отвечает на бесстыдно выкрикиваемые вопросы о неожиданно забытых правилах правописания. Шесть часов истекли, в класс периодически всовывается голова секретарши, стонущей, что ждать больше ну никак невозможно: завуч запечатывает сейф с сочинениями, но Юлий держит оборону... Многое бы я отдала сейчас, однако, чтобы снова быть в том классе с Юлием и писать *то* сочинение, а не *это*...

Не знаю, может, в состоянии аффекта я как-то особенно удачно раскрыла тему «Я лиру посвятил народу своему». Пятёрку мне поставили-таки, хотя на столь торжественной бумаге несущийся, как на пожар, почерк не мог не выглядеть в глазах сотрудников районного отдела народного образования вызывающим.

А на устном экзамене по литературе Юлий если не спас меня, то преподнёс приятнейший сюрприз. Когда перед началом экзамена он спросил меня о моём настроении и я поведала ему о заветной мечте выгадать билет с вопросом «Мировое значение русской литературы», то неожиданно была проинформирована, что мечта моя обитает на краю стола слева и, чтобы ухватить её, надо только первой идти отвечать.

Юлий, забавно смотрящийся в окружении тёток из РОНО, их поначалу деланное, а потом искреннее внимание к тому, о чём я говорю с таким воодушевлением (всё больше о значении внепрограммного Достоевского), их одобрительные, в конце концов, кивки, июньское солнце, заливающее классную комнату и *мировое значение русской литературы*, весело выходящий из класса Юлий со словами ко мне: «Спасибо, вернула с процентами» – это идут последние кадры фильма моей памяти, точнее его первой серии. Что ещё осталось? Долой косы – выпускной вечер – Юлий, целующий руку моей матери, когда я

их знакомлю. И – Красная площадь. Пройдёт пять лет, и здесь, перед мавзолеем, в День открытых убийств, завершится *«ослепительный сюжет* повести “Говорит Москва”» (Варлам Шаламов, «Письмо старому другу»<sup>57</sup>). А пока Москва говорит нам слова надежды.

Юлий одобряет моё решение не идти в гуманитарный вуз (зачем отравлять себе существование, подводя марксистско-ленинскую базу под всё на свете?) и подкрепляет дополнительным аргументом: «Правильно, иди в науку. Знаешь, я всю жизнь чувствую свою неполноценность из-за того, что так мало знаю об устройстве мира, в котором живу. Среди моих друзей есть учёные, и я им завидую. А твоя любимая литература никуда от тебя не денется».

Когда светает в конце июня? Даже если в начале пятого, неужели мы проторчали на Красной площади часов шесть? Прежде чем я увижу Юлия через четырнадцать лет почти наголо остриженным после тюрьмы, греющимся на солнышке перед входом в гостиницу в Калуге, я вижу его на Москворецком мосту балансирующим на одной ноге напротив Игоря и старающимся ударом ладони о ладонь противника сбить того с равновесия. Как называется эта игра?

\* \* \*

Детство обитает на другой планете – так в целях краткости объясню, почему, переступив порог школы, я потеряла связь с моим учителем. В начале 1966 года мне позвонил Игорь (которого я изредка видела в ЭНИМСе, куда он привёл меня трудиться на благо компьютерной цивилизации): «Слышала? Наш Юлий! Я собираюсь написать письмо протеста против ареста». Я жила вне диссидентского круга, советскую власть, которая эволюционировала в разногласиях с моими представлениями о справедливости, пылко презирала, но в своём презрении была сама по себе. Письма протеста писали и подписывали известные люди, а какой вес имело моё имя? Предлагать его для протеста мне представлялось нескромным, чтобы не сказать нелепым. Главное же, боялась последствий, жила одна, от получки до получки, без профессиональных связей, потерять работу значило пустить жизнь под откос. А мысль о моей одинокой матери,

<sup>57</sup> Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля. – М.: «Книга», 1989, С. 516-525.

видевшей в жизни мало счастья, просто приводила в ступор. Словом, жизнь за Юлия я не была готова отдать – в полном соответствии с тем, что писала в школьном дневнике!

Во время судебного процесса, не слабее страха за отщепенцев – что с ними сделают? – было удивление: надо же, из всей страны только двое такое откаблучили – опубликовали за границей книги запретной тематики; куда там Солженицыну: он пишет о прошлом, а эти о жгучей современности – и из этих двоих один – мой учитель литературы! С другой стороны, нечему удивиться, «что-нибудь такое» (как поёт в наши дни несравненный Лёня Фёдоров) обязательно должно было случиться с Юлием. «И тайно жаждал опалиться» – позже признавался он в «Стихах из неволи». Чему не противоречило моё детское интуитивное понимание этой натуры. Короче, с Юлием случилось то, что должно было случиться.

Я прочла литературу, посаженную на скамью подсудимых. Писатель Абрам Терц показался мне несравненно изощрённее Николая Аржака. И всё же «Говорит Москва», «Искушение» трогали меня больше, чем «Суд идёт» или «Пхенц»: видно, для фантастического реализма Терца я ещё не созрела. Это правда, что мой учитель литературы на уроках в вечном споре *что* и *как* ставил ударение на *как*, но в атмосфере замерзавшей оттепели стилистические разногласия с властью, проступавшие в прозе Терца, волновали меня меньше, чем *что* Говорит Москва. Москва (моя) правду говорит, раньше я такого не слышала. И подумала, грешным делом, с облегчением: пронесло Юлия, пять лет не так уж много за такой убийственный портрет системы, «системки», как он поговаривал в давние годы на Маросейке.

А «Искушение» захватило меня необычной, как мне тогда казалось, сюжетной коллизией: на невинного человека свои же возводят обвинение в доносительстве. Борис Шрагин в статье «Искушение Юлия Даниэля»<sup>58</sup> писал об уникальной честности и смелости писателя-экзистенциалиста, первым заговорившего об ответственности самого человека за «системку». При перечитывании «Искушения», после всех перестроек, гласностей, путчей и прочих разных путинных, повесть трогает первозданностью душевного состояния, знакомого абсолютно всем: я взглянул окрест меня, и душа моя уязвлена стала от осознания, что несвобода не окрест, а... внутри меня. Даниэль первым это

<sup>58</sup> Журнал «Синтаксис», №16, Париж, 1986.

публично признал, и настолько это было непривычно, что и самые чуткие из шестидесятников пропустили мимо ушей, а ссылки на художественную слабость повести были бы несправедливы. «Искушение» – литература не великая, но настоящая, и сейчас она читается как универсальная драма вины, раскаяния, искушения. Самой мне выпало прийти к пониманию её универсальности не только через книгу, но и через судьбу автора. Уроки литературы для меня продолжились.

\* \* \*

13 сентября 1970 года враждебные голоса объявили, что накануне Юлий Даниэль был освобождён после пятилетнего заключения и доставлен своими друзьями в Калугу, где временно поселился в одной из гостиниц города.

В научно-исследовательском институте, где я тогда работала, в это же самое время объявили, что в ближайший уикенд состоится туристическая поездка в Калугу с целью посещения дома-музея Циолковского и последующего сбора грибов где-нибудь по дороге. Ехать или не ехать – такого вопроса для меня не было. Но как я его разыщу? Как узнаю, в какой гостинице он остановился?

Почему судьба иногда бывает не в меру щедра? Ну, обошла бы я несколько гостиниц Калуги, вряд ли их много – так нет же, ещё от стоянки машин, куда выгрузил нас институтский автобус, вижу человека, сидящего рядом со входом в предназначенную нам гостиницу, и, ещё не узнавая его, знаю: он.

Сидит, как будто сидит так с незапамятных времён, как будто сросся с этим богом забытым местом. По-тюремному стриженный и такой невиданно худой, что только в Индии мне потом встретятся подобной худобы люди. Голубоватая ковбочка с короткими рукавами (теплень на улице), желтоватое лицо, невозмутимый взгляд. Покой и воля это называется, да, Юлий Маркович? И мне предстоит нарушить этот покой... Он вздрогнул, нахмурился в усилиях вспомнить особу, вполне готовую к тому, чтобы быть не вспомненной. «Здравствуйте, Юлий Маркович! Вы меня, конечно, не помните, я у вас училась в 313-ой школе. Лида Перельман». Таки не вспомнил: «Кажется, у нас две девочки учились с такой фамилией, в девятом и десятом классах». – «Да, в девятом – моя сестра, двоюродная. А я – та, что с Игорем Фараджевым ходила к вам в гости на Маросейку». – «Фараджев! Ну, его я помню. А теперь и вас вспомнил, Лида».

Повезло мне ещё и в том, что наш автобус-экспресс, отправившийся ни свет ни заря, привёз меня в Калугу раньше других гостей – гостей, в отличие от меня, званных, но не столь мобильных, так что мне удалось поговорить с ним сколько-то.

Чтобы убедить Юлия, что мой интерес к нему не празден, я тут же вручила вырванные из школьного дневника странички с записями о нём. Тешу себя мыслью, что много позже мои записи (Александр Даниэль сообщил мне после того, как мой очерк о его отце «Юлий» был опубликован в 1993 году, что эти листки хранятся в архиве Ю.М. Даниэля) хоть сколько-нибудь помогли учителю правильно (!) ответить на вопрос корреспондента о том, как к нему относились ученики: «Мне кажется, что любили»...

Голос, один из самых прекрасных, слышанных мной за всю жизнь, совершенно не изменился и, главное, звучит живо, весело, смеётся. Рассказывает, как освободили ровно через пять лет со дня ареста, день в день, как подъехали друзья на двух машинах к Владимирской тюрьме, где он провёл свой последний год, как поили коньяком по дороге в Калугу. Почему он выбрал Калугу для послелагерной ссылки? – Когда-то, окончив Московский областной педагогический институт, он учительствовал в Калужской области и о Калуге сохранил самые приятные воспоминания. «Посмотрите Калугу как следует, она того стоит». Здесь он второй день, номер в гостинице у него отличный (мы разговариваем уже в номере), но он почти всё время снаружи, благо погода роскошная.Guestы у него пока не было, но сегодня суббота, и люди смогут выбраться к нему.

Дверь широко распахивается, и очень решительно входит милостивая женщина в светло-сером костюме строгого покроя, с пышным пучком каштановых волос на затылке. Она застывает посреди комнаты, произносит небрежно: «Привет!», смеётся и вдруг бросает в рот оказавшуюся у неё в руке шоколадку. Смех сквозь шоколад. «Машенька!» Сама Марья Синявская пожаловала. Я ухажу знакомиться с Калугой.

Этого хочу, кстати, уже года два. В путеводителе по Калужской области, которым мы с мужем как-то пользовались в байдарочном походе по одной из здешних рек, Калуга (тогда нам не удалось в ней задержаться) была названа «городом будущего», но не из-за какого-то особого урбанизма, а ровно наоборот: город, мол, пребывает в объятиях природы. Преувеличение, оказалось, простительное.

С одной стороны город плавно переходит в чисто поле и далее в обширный сосновый бор. Большинство улиц замыкается видом либо на Оку, либо на бор, либо на поле. Я говорю о старой Калуге – есть ещё, конечно, и современный индустриальный район, но старый город существует сам по себе. Неповторимое своеобразие придаёт Калуге длинный глубокий овраг с крутыми заросшими склонами, перерезающий самый центр этого классического среднероссийского губернского города XIX века. Надеюсь, что этот пленительный городской пейзаж сохранился (боюсь проверить, бывая в России: а вдруг нет? – тогда усилится тоска, ведь и Юлия давно нет – одно утешение тогда, что его-то пленительная личность сохранилась до конца).

Стояло классическое бабье лето, я бродила по городу, вдоль Оки, дошла до бора, углубилась в него, вернулась в город, утопавший в осенней листве и закатном солнце. Никогда я не была так счастлива. Единственный раз в своей жизни я ощущала вкус свободы, как если бы она была чем-то материальным, вроде этой золотой Калуги. Она, свобода, и не была абстрактной категорией, свободой вообще. Это была свобода Юлии. Именно тогда я поняла, что счастье можно испытывать только за другого: про себя же всегда знаешь нечто, что коробит «пейзаж души».

Я вернулась в гостиницу к вечеру, мой номер, совместный с кем-то из нашей тургруппы, находился этажом выше Юлии. Я рискнула постучаться к нему. Теперь в гостях у него была Катя Великанова, молодая жена Сани, сына. Она явно была взволнована встречей с таким свёком, хотя и познакомилась с ним днём раньше у ворот Владимирского централа. Он был по-прежнему бодр и весел. Мы засыпали его вопросами о лагерной жизни.

Оказывается, он был несказанно удивлён, увидев в лагере немало людей, сидевших за инакомыслие (само слово впервые я услышала от него в тот вечер), он и не подозревал, что инакомыслие столь распространено при советском режиме. Да, люди попадались интереснейшие, скучно не было. (*Люди, годы, жизнь* Юлия Даниэля в заключении запечатлены им в семидесяти пяти письмах<sup>59</sup> живо и подробно – за вычетом описаний страданий тела.)

<sup>59</sup> Юлий Даниэль. «Я всё сбиваюсь на литературу...». Письма из заключения. Стихи. Составитель, автор вступительной статьи и комментария А.Ю. Даниэль. – М.: Общество «Мемориал», 2000.

Нерешительно я спросила его об одном эпизоде, который в своё время довёл уровень моей ненависти к Софье Властьевне действительно до «зоологического» (как обычно характеризовала чувства диссидентов к себе советская власть и ошибалась редко) – понятно почему: эзков пытали комарами мордовских болот, именно пытали, так как не разрешали пользоваться защитным кремом даже на работах. Об этом я услышала по Би-би-си, о том, что его избили и отправили в карцер, когда он отказался отдать крем «Тайга» (выручавший нас, вольных, в байдарочных походах по северным рекам). Неужели это правда? Он коротко подтвердил факт и отметил, что вообще «сидел беспокойно», в карцер попадал не раз и не два, а в последний год заработал Владимирский централ. При этом он поспешил подчеркнуть, что нынешний лагерь и сталинский – это небо и земля. Не точнее ли сравнить с разными кругами ада, Юлий Маркович? (Сравнение пришло мне в голову значительно позже, когда я прочла подробное описание комариного эпизода в «Свободной охоте»<sup>60</sup>.)

Я не стала засиживаться: ему было о чём говорить с Катей. Наутро наша группа, с которой я воссоединилась во взаимном безразличии к тому, как прошёл день накануне у каждой стороны (никто не засёк мою встречу с Даниэлем), отправилась по грибы. Лучше нет занятия, в какой бы степени блаженства ты ни пребывал.

\* \* \*

Примерно через месяц Юлий (он попросил меня преодолеть застенчивость и не обращаться к нему по имени-отчеству: мы не в школе) позвонил мне и пригласил в гости. Он встретил меня на перроне, отвёл в ту же гостиницу, где его встретили как своего (он прожил там несколько дней), так что номер я получила по благу. По уютным калужским улочкам мы отправились в его новое жильё. Завод, куда он устроился в патентное бюро на должность инженера-переводчика, чтобы это ни значило, выделил ему маленькую комнату в квартире с одной семьёй соседей. Разумеется – при его-то характере – он с ними ладил.

Он несколько изменился, уже не имел такого «тюремного» вида, да и от послетюремной эйфории вполне оправился. К сожалению.

<sup>60</sup> Юлий Даниэль. Свободная охота. – М.: ОГИ, 2009.

Сразу сказал, что прочёл вручённые мной ему в прошлый раз страницы из дневника. Тронут. Мы посмеялись над кульминационной фразой: *«Странно, почему-то за самого Юлия я, при всей моей любви к нему, жизнь отдавать бы не стала, а вот за его сына, маленького, смешного Саньку, отдала бы с восторгом!»* – и поговорили о том, правильно ли я сделала, при всей своей любви к литературе выбрав не гуманитарный вуз, а технический. Помнит ли он, как одобрил это моё решение на выпускном вечере, прямо перед Кремлём? Он неопределённо улыбнулся. В любом случае получилось, как он обещал мне: и литература осталась со мной, и наука мне не чужая. Может быть, потому, что моя специальность – радиосвязь и радиовещание, Юлий стал сравнивать литературу с системой «передатчик-приёмник»: передатчику нет смысла излучать волны, если нет приёмника, и даже он знает, что приёмник устроен сложнее передатчика. Своеобразный комплимент писателя читателю.

Разговор о том о сём (помню его сетования, что он пропустил массу новинок современной литературы – неисправимый русский интеллигент: испытал жизнь до дна, а ему всё мало – подавай книжку!), разговор наш в какой-то момент стал тяготеть к одной определённой теме. Со временем выяснилось, что интересовалась она его чрезвычайно.

Упомянула я, что, читая в самиздате «Мои показания» Анатолия Марченко, ужасно обрадовалась, прочитав, как Марченко встретил Даниэля в лагере, какое сильное впечатление Юлий произвёл и какое благое влияние оказал на него. Неожиданно Юлий нахмурился и попросил меня поточнее вспомнить, как именно выразился Марченко, в чём состояло это влияние. Читала я давно, точнее вспомнить не смогла, а про себя подумала, что дошедшие до меня в своё время слухи о том, что Марченко, освободившись из лагеря осенью 1966-го, вошёл, по рекомендации Юлия, в круг его московских друзей, ступивших на путь диссидентства, эту достоверную информацию, возможно, я и имела в виду, когда говорила о «влиянии». Юлий всё мрачнел и повторял: «Вы не ошибаетесь? Вы правильно запомнили?» В любом случае получалось, что не так уж он доволен своим *влиятельным положением* в диссидентской среде на правах героя знаменитого политического дела. Но тогда я не знала, до какой степени.

И ещё запомнился один разговор – о сюжете его повести «Искушение». Сразу по прочтении в самиздате я засомневалась,

достоверна ли сюжетная коллизия: человек оклеветан не властями, а «своими», причём в самом позорном поступке – доносителестве (которого не совершал). Не верится, что в среде Синявского-Даниэля (а она явно отражена в повести) возможна была подобная бесовщина (тогда я и подумать не могла, что через несколько лет столкнусь с практикой навета в эмиграции и много позже в перестроечной России). Юлий только присвистнул в ответ на моё прекраснодушие и высказался в том духе, что мы, мол, очень нехорошие существа по своей природе. «Кто “мы”?» – «Мужчины». – «А женщины?» – «Они лучше». – «Как так может быть? Вы хотите сказать “мягче”?» – «Нет, просто лучше, в нашей с Андреем истории женщины проявили себя лучше мужчин». (Много позже я прочту в письмах Даниэля из заключения: «Сопливые девчонки вели себя много достойнее взрослых и опытных мужиков».<sup>61</sup>)

Надо было уйти от вечной и сомнительной темы, кто лучше – мужчины или женщины, и я спросила его, к слову, пересекался ли он с Синявским в заключении. Только один раз, власти очень старались не допустить этого. Но один раз недолгадели, и как-то получилось, что при перемещениях из одного места заключения в другое друзья-поделники встретились теперь по делу... бани! «Ну и обнялись мы с чувством, голенькие!» Вообще, о Синявском говорил он с нежностью и уважением, выдержала их дружба серьёзные испытания, неизбежные в столь авантюрной истории. «Любовь моя, гордость моя, король – Даниэль», – это Синявский, слов на ветер не бросающий («Спокойной ночи»). В королевстве Даниэля, как я его вижу, подданные для него тоже короли.

В какой-то момент Юлий обронил: «Андрей, думаю, доволен, что попал в тюрьму. Он аскет, и этот опыт ему важен. А я – нет, я совсем не аскет, я слишком люблю жизнь, и чрезмерные страдания не для меня». – «А как же известное утверждение, что страдания облагораживают?» – «Не меня. Страдания делают обыкновенного человека хуже, озлобляют». И он задержался на этой теме и даже вернулся к ней через день, когда провожал меня на поезд. Мне запомнилась убеждённость и настойчивость в его голосе, даже своеобразная просьба (честно сказать, не по адресу!): не стремитесь к страданиям, вы станете хуже. А вы, Юлий, что ж не озлобились (это и слепому видно)?

---

<sup>61</sup> с. 402.

(Разговор о страдании и озлоблении не мог не вспомниться, когда годы спустя я читала «Стихи из неволи». Свои страдания поэт не скрывал: на то и тюремные стихи, и со временем, может быть, самым сильным страданием для него, Юлия, становится именно опыт озлобления: «Господи, не дай мне озлобиться!», «Я устал огрызаться по-волчьи», «Кто нагнётся с живою водою / над убитой моей добротой?» и многое другое. Страдание как опыт если не озлобления, то утраты самого себя, страх измениться бесповоротно – хотя бы стать почётным «страдальцем» за правое дело – присутствует и в письмах из заключения: «Не выдумывайте меня! Не идеализируйте! Мне от этого плохо и страшно». Страшно.)

Прощаясь, он попросил меня передать два-три письма его адресатам в руки. Это оказалось не так-то просто. Видно, выход Даниэля на свободу создал атмосферу настороженности в некоторых семьях, и в незнакомом голосе по телефону подозревали не всегда желанного гонца от него. Труднее всего удалось пробиться к старинной знакомой Юлия – Татьяне Макаровой. Её мать, знаменитая поэтесса Маргарита Алигер, дежурила у телефона, казалось, день и ночь напролёт. Не помню, как преодолела я материнский заслон, но с Таней (названной в честь «Тани», героини поэмы Алигер о Зое Космодемьянской: «Стала ты под пыткой Татьяной, / онемела, замерла без слёз. / Босиком, в одной рубашке рваной, / Зою выгоняли на мороз...») мы встретились. Я передала письмо, объяснила, кто я, описала жизнь Юлия в Калуге и затем спросила, как понимать это странное его утверждение: женщины, мол, лучше мужчин. Не потому ли женщины вели себя «лучше» в деле Синявского-Даниэля, что им нечего по большому счёту терять, а мужчины рисковали своим положением в профессии, то есть делом всей жизни. «Нет, – категорически ответила Татьяна Макарова. – Женщины, привлечённые по делу Синявского-Даниэля, были, как правило, “люди творческих профессий”, им очень было чем рисковать. Юлий сказал то, что хотел сказать».

\* \* \*

Через пару недель Юлий снова позвал меня в Калугу. Шёл снег, Калуга была сказочна. Мы шли по заснеженным переулочкам, и Юлий говорил, что вот так пройти по свежему снегу – чуть ли не самая любимая вещь для него на свете, но... Помолчав, вдруг он добавил новым для меня тяжёлым тоном, что никакие

любимые вещи в жизни – и он перечислил без тени юмора кое-что из им любимого – не заставят его отречься от себя. «Нужно будет, снова сяду в тюрьму», – впечатление было, что это он говорит не мне, а то ли тем, кто снова собирается его засадить, то ли самому себе. Я поняла, что власть не оставляет его в покое, что-то мухлюет, как всегда. Не пристаёт ли, чтобы выступил с заявлением о раскаянии, о том, что лагерь его перевоспитал? Но он говорил о чём-то другом: «Вы не поверите, совершенно незнакомые люди пишут мне, что я достаточно отдохнул, пора действовать. Я, оказывается, их зная, теперь я не принадлежу себе, я – не частный человек, я – Даниэль. Настаивают, чтобы я с ними встретился. А я даже Солженицына ещё не видел». Получается, Юлий живёт на свободе под перекрёстным огнём. Но всё оказалось ещё сложнее.

Мы вошли в комнату, он снял шапку. Сейчас он выглядел совсем похожим на свой портрет пера Синявского в «Спокойной ночи»: «...свисающая по-собачьи, премудрая, большая морда, в тяжёлых складках». Складки на лице углубились. В комнате теперь был магнитофон, и он поставил подаренную ему запись песен на его стихи. Пел Константин Бабицкий, отбывавший в это самое время срок в лагерях Коми за участие в знаменитом протесте семерых на Красной площади против вторжения советских войск в Прагу в августе 1968 года. Я впервые услышала песню «Цыганки», текст которой раньше прочла в «Искуплении». Запись, однако, была неразборчива, и я попросила его напеть самому. Петь он не стал, но при вторичном прослушивании «переводил» мне, снижая чувство самоироничной интонацией. Песня пришлась мне по вкусу. Я, как и многие в России, слаба на цыганство, даже невысокого пошиба, просто цыганщину, а тут звучала тонкая поэзия.

Сварив кофе на плитке, которой он пользовался, чтобы реже сталкиваться с соседями на кухне (аромат был что надо, друзья привезли ему кофе из известного всей Москве магазина «Чай-управление» у Мясницких ворот, неподалёку от которых и он, и я родились: он – в Большом Харитоньевском, «у Харитонья в огороде», я – в Кривоколенном), Юлий приступил к разговору, ради которого вызвал на сей раз. Прочитанные им страницы из моего дневника, сказал он, привели его к мысли, что он может положиться на меня в одном деликатном деле. Он уверен, что я пойму его.

Только выйдя на свободу, говорил Юлий, увидел он воочию, какие последствия имело их с Синявским дело. Разумеется,

для общества их дело было во благо. Но как искорёжены отдельные судьбы, сколько страданий он невольно причинил многим людям! Вот Анатолий Марченко в результате того, что был направлен им, Юлием Даниэлем, в его московскую среду, получил ещё один срок. В лагере Юлий познакомился с Аликом Гинзбургом, лучше человека в жизни вообще не встречал (тут он указал мне на фотопортрет, висевший над тахтой, со словами: «Вы когда-нибудь видели лицо чудеснее?»), а ведь в лагерь Алик попал как составитель «Белой книги», представившей стенограмму легендарного судебного процесса писателей и прочие документы по этому делу. Он, Юлий, спустил лавину. Ну, ладно, пусть мужчины сами отвечают за себя, но вот он звонит матери Наташи Горбаневской, упрямой в психушку, а она, старушка-мать, плачет, просто плачет, не может (или не хочет?) разговаривать с ним. Лично он, Юлий, скорее всего, не сможет жить с сознанием этой страшной ответственности за всё случившееся, ничего не остаётся, как...

Слушая с нарастающим волнением его суд над собой, я вспомнила, как в первый мой визит, знакомя с женой Сани, он пошутил: «Они тут без надзора родителей все переженились! А как вам поступок моей жёнушки? Вышла на Красную площадь, и Санька остался без отца-без матери». Мне и тогда в самом словоупотреблении почудился странный какой-то привкус, а теперь несогласие с героизмом определённого свойства было очевидно.

Самобичеваниям он не предавался, говорил без надрыва, трезво. Он оставался самим собой, и опять я думала, что всего этого надо было от Юлия ожидать, что ведь не случайно он ухитрился подключить для нас Достоевского к курсу советской литературы и что, когда проблема «одной единственной слезинки ребёнка» стала иметь к нему непосредственное отношение, он и занялся ею как своим личным делом.

Передо мной сидел «призрак мой с запавшими щеками» (так он видел себя в своих тюремных стихах), а для меня он оставался всё тем же молодым учителем в залитом солнцем классе. Уроки, уже не литературы (впрочем, литературы тоже), продолжались. Для меня эта калужская комната становилась на своё место в ряд за московской школой, треугольной комнаткой на «седьмом небе», прозой Даниэля в самиздате, залом суда и – тюремной камерой, в которой философская проблема стала его личной бедой.

\* \* \*

*Дожди, дожди коснулись щёк,  
Грустя, деревья порыжели,  
И был открыт никчёмный счёт  
Моих побед и поражений.*

*Струилась осень. День за днём  
Линяла летняя палитра,  
А я вовсю играл с огнём  
И тайно жаждал опалиться.*

*Не потому, что я, шальной,  
Роптал перед глухой стеною –  
Я преступил закон иной,  
Я виноват иной виною.*

*И не за то, что я кричал,  
Меня, сойдясь, осудят судьи –  
За то, что на свою печаль,  
Как пластырь, клал чужие судьбы,*

*За то, что я, сойдя с ума,  
Не пощадил чужого сердца.  
А суд, законы и тюрьма –  
Всего лишь кнут, всего лишь средство*

*Возмездия за тайный грех,  
За то, что, убивая, – выжил...  
И вот зима. И страшен снег,  
Запятнанный каплей рыжей.*

Правда, стихотворение это я прочла много позже, когда сборник «Стихи из неволи» Юлия Даниэля попал ко мне в Америке, и только тогда я оценила, насколько глубоко он был ранен «иной виною» – не перед государственной машиной, конечно, а перед «чужим сердцем». И тогда мне стало понятно его наивное (в моих глазах) убеждение, что женщины лучше мужчин: они ведь живут больше сердцем, чем умом, и, стало быть, чувствуют чужие страдания непосредственнее: на их территории – в семье – через боль другого не переступают.

И только тогда в новом свете предстало передо мной «Искушение» – как *трагедия совести*. Что есть совесть? В категориях ума и сердца – их произведение. Вспомните, как для Виктора Вольского, жертвы навета, ложное обвинение «своих» в доноситељстве ведёт к борьбе не за свою честь, а за свою совесть: да, он не доносил, но он и не протестовал, когда сажали других при Сталине. Вспомните, как страстно бросается он в раскаяние, берёт на себя историческую вину (а не абсурдно ли это: мог ли один человек протестовать против сталинских расправ?) и – платит безумием за силу переживания.

Стихи продолжили подспудную тему повести-трагедии «Искушение», а вот теперь сюжет завершался в жизни. Помимо искусства слова, есть ещё искусство жизни, и талант Юлия-человека завораживает. Вот почему я пишу воспоминания. После его смерти можно и должно нарушить данное ему слово хранить в тайне наш разговор.

(«Я замечая, что в разных жизненных ситуациях спрашиваю себя: а как бы Даниэль отнёсся к этому?» – это пишет Самуил Лурье в статье «Письма заложникам»<sup>62</sup>, лучшей из всего написанного о письмах Даниэля из заключения. Его понимание этого человека и его судьбы настолько глубоко, что первой моей реакцией на текст Лурье была прямо-таки боль, что мне не привелось поговорить с ним о суде Юлия над собой (цепляюсь за предположение, что он мог в своё время прочесть мой первый очерк «Юлий» если не в газете «Новое русское слово», то в израильском журнале «22»). Когда Лурье цитирует из писем Даниэля, сравнивающего степени близости между людьми: «Ну, это как кивки друг другу с эскалаторов метро: “Привет!” – “Привет!” – и разъехались. Ни он, ни я не стали бы тратить пятак, чтобы тут же встретиться. А ведь есть же люди, чьего голоса ради я перемахнул бы с одной лестницы на другую, сшибая по пути светильники», то можно быть уверенным, что Лурье «перемахнул» бы к Даниэлю! Мне тяжело предчувствие, что о самом Самуиле Лурье, ушедшем от нас совсем недавно, никто не напишет столь же проникновенно, как он написал о Юлии.)

<sup>62</sup> Журнал «Звезда», 2001, №2 (статья написана под одним из псевдонимов С. Лурье – Рейн Карасты).

А в то время я не знала, что сказать в ответ на прозвучавшее слово: самоубийство. Уход из жизни, а не безумие выбрал мой учитель.

«Как же я смогу вам помочь?» – «О, очень просто. Вы не принадлежите к моему кругу, никто вас не знает, вы вне надзора, и вам не помешают сделать одно простое, но важное для меня дело: всего лишь передать в руки прощальные письма моим друзьям. Я позвоню, когда напишу их». – «Если. Лучше – если, чем когда».

Он не позвонил, к величайшей моей радости.

\* \* \*

После публикации первого варианта (1993) очерка «Юлий» Александр Даниэль писал мне: «...Могу подтвердить, что взгляд моего отца на проблему своей личной ответственности за судьбы людей был именно таким, каким Вы очертили в своих воспоминаниях. Впоследствии он научился смотреть на события более отстранённо, но в первое время после освобождения его эмоциональное восприятие того, что позднее называли диссидентством, было именно таким – напряжённо-трагическим. Я, разумеется, не знал (только догадывался) о той конкретике, о которой Вы пишете в своём очерке, но думаю, что подавленные эмоции той поры не последнюю роль сыграли и в его болезни, и в ранней смерти».

А когда через семь лет вышло наконец собрание писем Юлиа Даниэля из заключения, с подробным комментарием Александра Даниэля, я совсем не удивилась, прочтя в одном из писем: «Грустно всё это и тяжело; ребята меня дружно успокаивают, не дети, мол, все эти люди, знали, что делали, вы, мол, тут уже сбоку припёка, а я всё возвращаюсь к мысли, вернее, к вопросу: “Стоит ли то, что я сделал, чужих судеб?”»

Комментарий сына объясняет, уточняет: «Поводом для этих размышлений стали <...> известия о событиях на воле, где усиливались репрессии против участников правозащитного движения. <...> В дальнейшем Ю.Д. часто возвращался к этой теме. Он и раньше понимал, что “дело Синявского-Даниэля” стало катализатором определённых социально-политических процессов в стране. Однако теперь к его оценкам начинают примешиваться размышления

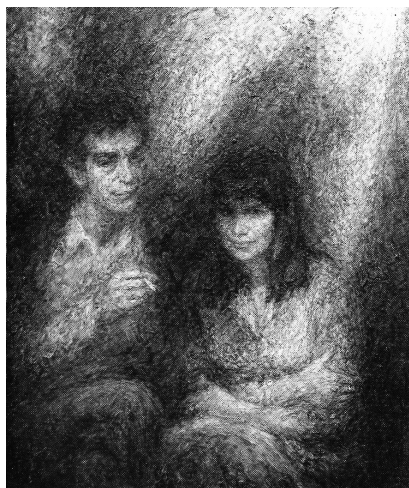
о собственной трагической, хотя и невольной причастности к исковерканным судьбам людей, решившихся (в определённом смысле – вслед за ним) противопоставить себя репрессивному механизму государства. Эти мысли не оставляли Ю.Д. и после освобождения».

Хотя план к моему «школьному сочинению» не предусматривает отступления от непосредственных воспоминаний, я предоставила пространное слово сыну Юлия. В письмах из лагеря и тюрьмы, более чем в остальном даниэлевском тексте, Юлий предстает таким, каким я запомнила его в «мирной жизни». А почему это так, объяснила прощательная, просто выстраданная вступительная статья Александра: «Сам того не осознавая, Юлий Даниэль нашёл то, чего искал: собственный жанр, в котором слово возвращается к своей первоначальной функции непосредственной коммуникации.

Разговорная интонация, свободный слог, нескованность сюжетом и композицией, необязательность, а иногда и приватность содержания – всё то, что обычно выводит текст за пределы литературы, – неожиданно заработали здесь в противоположном направлении. Естественность и свобода – качества, которые в высочайшей степени были свойственны Юлию Даниэлю-человеку и к которым всю жизнь стремился Юлий Даниэль-литератор, – торжествуют в его письмах как счастливый результат навязанного ему эпистолярного жанра. Ведь письма дают возможность литературно одарённому человеку наиболее адекватно выразить себя для других.

Чтобы жить естественной и свободной жизнью, Юлию Марковичу не нужно было прилагать никаких усилий – он таким родился. Чтобы достичь подобной свободы в прозе, ему достаточно было вовсе перестать быть писателем и превратиться в “отправителя”, человека, полностьюверяющего бумаге не литературный замысел, а самого себя»...

Точные, счастливо найденные слова. И я слышала их эхо в дарственной надписи Александра Даниэля на книге писем его отца, преобразовавшей своей тысячей (почти) страниц десять часов в самолёте на пути из Москвы в Нью-Йорк в полёт памяти над временем: *«Дорогой Лиле Панн (Лиде Перельман) от моего отца и немножко от меня. 14.06.01 – А.Д.»*



С женой, Ириной Уваровой. Портрет работы Биргера.

\* \* \*

Я позвонила Юлию в сентябре 1976-го. Хотелось попрощаться перед моим отъездом, как думалось, навсегда. Он жил уже года три в Москве со второй женой, Ириной Павловной Уваровой, художницей, сценографом, театроведом. (Позже, в Америке, я увидела их дивный двойной портрет работы художника Бориса Биргера. Не оригинал, конечно, а репродукцию в альбоме, незамедлительно мной заказанном.) В прощальный подарок предназначалась картина, купленная мной на знаменитой первой выставке художников-нонконформистов в Измайловском парке. Художник Ян Левенштейн создал оригинальную серию огромных горящих свечей, и мы с мужем купили несколько, дав им свои названия, в зависимости от образа свечи: свеча Бодлера, свеча Достоевского, свеча Пастернака. Юлию я несла под мышкой картонку, на которой светилось голубоватое, трепетное пламя – *Свеча Даниэля*.

«Мы найдём ей в нашем доме достойное место», – обрадовал меня мой учитель, представ на пороге квартиры, где всё было вверх дном. (*Свеча Даниэля* висела на стене, над дверным проёмом, когда в 1994 году пришла я познакомиться с Ириной Павловной.) В просторной квартире на «Соколе» шёл ремонт, внося созвучную ноту в моё состояние сдвинутости с места. О

переживаниях Юлия, свидетелем которых я оказалась шесть лет назад в Калуге, речь, само собой, не зашла. К разговорам среди диссидентов о политической пассивности Юлия Даниэля я прислушивалась с волнением, но не вступала в них. Через много лет я читала в том же предисловии Александра Даниэля к собранию писем отца: «В первые годы после освобождения некоторые ожидали от Юлия Даниэля, что он, герой самого известного политического процесса в новейшей советской истории, станет теперь активным общественным деятелем, включится в напряжённое противостояние диссидентов и властей. Он вежливо, но твёрдо отклонял всякого рода посягательства на свою независимость. К общественной активности других проявлял сдержанный интерес, не позволяя себе ни осуждать, ни одобрять её. Кажется, он испытывал к этой активности смешанное чувство симпатии и настороженности. Впрочем, он познакомился и подружился со многими из тех, чьи имена стали известны именно благодаря их диссидентской активности. Сам же Даниэль диссидентом не стал, и я хорошо помню, как одна дама из числа его друзей, отчаявшись втолковать ему, как изменились общественные оценки и общественное поведение за пять лет, которые он провёл в заключении, махнув рукой, сказала: “Ну что с тобой толковать – ты же человек эпохи до Синявского и Даниэля!”»

В тот день незадолго до моего отъезда мы говорили об эмиграции. Сам он эмигрировать никуда не собирался. Без всяких высоких слов объяснил, что знает про себя наверняка, что нигде, кроме России, жить не сможет – хотя бы потому, что очень любит своё дело поэта-переводчика – на русский язык, естественно, а где ещё он найдёт такую работу (не хобби, а именно каждодневную работу), пусть и печатают его в России под выданным псевдонимом: Ю. Петров (спасибо партии и правительству за букву Ю).

Да и вообще, никуда ехать ему *просто не хочется*. Но среди своих друзей, поспешил он одобрить меня, знает живущих в эмиграции полноценной, просто счастливой жизнью. Он достал какое-то письмо и прочёл вслух страницу, где автор, рассказывая о своей жизни в Израиле, писал о счастье открытым текстом. «Посмотрите, какие они довольные, – Юлий протянул мне пачку цветных фотографий. – Вот Воронели, а вот в Париже Синявские. Хотите, я дам вам их адреса?» Странно, что-то не то, мне в эту пёструю конкретность не хотелось.

Не хотелось носить эти яркие свитера, особенно не хотелось утопать в этих раздутых креслах. Неужели этот человек у камина – Андрей Синявский? Вот уж у кого *лица необыщее выражение*, но как ему не идёт этот полосатый свитерок... Н-да... Юлий с умилением смотрел на уехавших. Мне было невдомёк, что я испытала первый укол ностальгии, ещё не покинув свой дом.

По Москве тогда ходили слухи, что не так давно (1975) в парижской «Русской мысли» появился ответ Юлия Даниэля сподвижнику Солженицына – академику Игорю Шафаревичу, в своём интервью этой же газете утверждавшего, что эмигранты Третьей волны, уехавшие добровольно, «не могут внести никакого вклада в культуру». Я не читала ни интервью, ни ответа и поинтересовалась, правда ли это. Да, правда, Юлий нарушил свой негласный обет не публиковаться за границей – ради того, чтобы защитить достоинство современной эмиграции. Он не стал углубляться в подробности своего ответа, и только после его смерти, в сборнике его памяти «Говорит Москва»<sup>63</sup>, я прочла: *«Мы вскормлены одной культурой, люди, покидающие страну, будут жить за нас ТАМ, мы будем жить за них ЗДЕСЬ»*.

Прочти я ранее эти слова бездонного наполнения, скорее всего, не решилась бы объяснять причины своего отъезда полушутя. Не причины, а соблазны: ну как не поддаться соблазну послать Софью Власьевну куда подальше? А восторг пересечения границы – пусть в воздухе, но навсегда? И что же, отказаться от давно завещанного мне наследства – мировой культуры? Да один Рим, где предстояло пробыть несколько месяцев (по какому такому щучьему велению, по какому такому моему хотению?!), представлял соблазн, не преодолеваемый в корне... Но нужно ли было мне опасаться непонимания автора «Цыганок»?

*Сердце с долгом, сердце с домом разлучается,  
Сердце бедное у зависти в руках.  
Только гляну, как цыганки закачаются  
На высоких, сбитых набок каблуках.*

<sup>63</sup> Даниэль Ю.М. Говорит Москва: Проза, Поэзия. Переводы. – М.: Московский рабочий, 1991. С. 277-280.

*Вы откуда, вы откуда, птицы смуглые,  
Из какой же вы неведомой дали?  
И откуда вас кибитки, лодки утлые,  
До московских тротуаров донесли?*

*Отвечают мне цыганки, юбки пёстрые:  
«Вольной волей весь наш век мы держим путь.  
Если хочешь – мы твоими станем сёстрами,  
Только всё, что было-не было, забудь!»*

*Отвечаю я цыганкам: «Мне-то по сердцу  
Вольной воли заповедные пути.  
Но не кинуться, не двинуться, не броситься,  
Видно, крепко я привязан – не уйти!»*

*И плывут, идут, звенят и не кончаются  
Речи смутные, как небо в облаках.  
И идут, звеня, цыганки и качаются  
На высоких, сбитых набок каблуках.*

## Поэль Карп

### НА ХОРОШЕВСКОМ ШОССЕ

После войны в Третьяковской галерее висел одно время женский портрет Сарьяна, вырывающийся из окружающего. Интенсивный цвет, напряженность устремленной вперед фигуры и взор, полный не только скорбного ожидания неизбежного, но и жгучей правоты. Я и подумать не мог, что стихи Мандельштама «Мастерица виноватых взоров», незадолго перед тем меня околдовавшие, посвящены этой женщине. Поздней, познакомившись с ней, я оценил реализм поэта. Но знакомству предшествовала проницательность живописца.

Имя М. Петровых, указанное под портретом, я знал. Я не раз на него наткнулся, просматривая содержание переводных поэтических книг в поисках переводов, достойных внимания. После портрета я стал читать и ее переводы, как выяснилось не уступающие подписанным именами, на которых я привык останавливаться. Но прошло еще десять лет, сделавших меня из москвича ленинградцем, прежде чем я поднялся по деревянной лестнице в одинаковый с соседними двухэтажный дом у начала Хорошевского шоссе.

Теперь я уже и сам печатал переводы, а к Марии Сергеевне шел передать по просьбе общих ленинградских знакомых то ли книгу, то ли рукопись. Шел на пять минут, вежливости ради на пятнадцать, а просидел пять часов, дважды пил чай и даже читал стихи. Со второго послевоенного лета я читал их только близким знакомым, а ей – в первый же день. Сарьян ли подсказал, сам ли я различил правый взор, под которым нелепо играть в прятки? Но с тех пор, приезжая в Москву, я едва ли не всякий раз подымался во второй этаж по деревянной лестнице мимо квартиры поэта Адуева, жившего в первом.

Наше двадцатилетнее знакомство состояло из разговоров – домашних, на прогулке, в доме творчества. Если не считать похорон Ахматовой, я ни разу не видел Марию Сергеевну в публичном собрании. Разговоры бывали долгими, иногда напряженными, – истины не были непреложны, и мы сообща пытались в них разобраться. Пересказать давние разговоры

немыслимо. Время дышало антитезами: старое и новое, стабильность и перемены, традиции и новаторство, и все в таком роде. Объясниться помогала общая неприязнь к подобным формулам и общее несчастье видеть изнанку. Стихи, события и люди тогда возникали волнами, группами, потоками. В наших разговорах они разобщались и расчленялись. Даже в одном человеке обнаруживалось вроде бы несовместимое. Мир был не так прост, как хотелось. Простота была утешительной, но Мария Сергеевна не терпела утешений.

Банальными словами можно бы сказать, что у нее был твердый характер. Она тоже ценила в людях твердость, особо дорожила такими людьми и мысленно опиралась на их существование. Но слово «твердость» упрощает ее характер. Я бы скорее назвал это ее свойство – готовностью к реальности. Реальность могла кувыркаться как угодно. Мария Сергеевна от этого не менялась и своих устремлений и понятий не меняла. А между тем перемены реальности схватывала сразу.

Одна молодая девушка, с горечью и отчаяньем говорившая о женской доле, о заведомой обреченности на вторичность, неполноту и нужду в поддержке, отстаивая эту свою неверную, конечно, мысль, страстно бросила: «За всю жизнь я видела только одну женщину, которая человек. Это Мария Сергеевна Петровых». А ведь этим Мария Сергеевна выделялась и среди мужчин.

Здесь корень и значительности, и безвестности ее поэзии. Пишут, что она редко публиковалась от огромной взыскательности к себе. Это неправда. Огромность ее взыскательности к себе в полной мере выступала уже при одном-единственном читателе или слушателе, и даже если таким читателем оставалась только она сама. Для нее вообще не было различия между отношением к отдельному человеку и ко всему человечеству. Люди для нее существовали порознь, не растворяясь в организации или толпе. Поэтому ответственность не возрастала от тиража и не умахалась без него.

Говорят еще, что столь нутряную лирику трудно выносить на суд читателей. Я этого не думаю, стихотворение – не запись в дневнике, и уж наверняка это не относится к Марии Петровых. Ей не был страшен суд читателя, да и меньше всего ее занимала в общении с читателем судебная сторона. Пугали превратности промежутка между рукописью и типографским станком. Пугал даже не отбор по тем или иным внешним

соображениям, а угроза вторжения в стих, предложений «Замените слово!», «Уберите четверостишие!».

Когда печаталось «Дальнее дерево», она говорила: «Я спокойна. Я все, что хотела, отдала Левону. Он умеет с ними разговаривать». Она, конечно, не вполне была спокойна, но все-таки была свободна от ужаса перед редакторским вмешательством. О стихах она как-то сказала: «Дело редактора не редактировать, а брать или не брать. Это ведь не переводы, где всякий может прочесть оригинал или хотя бы подстрочник. А у стихов нет подстрочника!» Она не только хотела печататься – и, конечно, без раздумья печаталась бы, найдись хоть одно издательство, хоть один редактор, желающие ее печатать, – но и была убеждена в необходимости печататься.

Мы не раз об этом спорили. Я твердил, что важно писать, потом разберутся, а она резко возражала, уверяя, что разбираться в рукописях никто потом не станет и, чтобы стали, надо оставлять опознавательные знаки. «Надо оставлять опознавательные знаки!» – много раз повторяла она, убеждая меня снести стихи в какой-нибудь журнал. «Не возьмут? Скорее всего, не возьмут! Ну, и что с вами сделается? А захотят править – заберете. Вы на меня не смотрите, у меня просто сил нет». Она не печаталась потому, что у нее не было сил.

Когда крупный поэт умирает, не печатавшись при жизни, и по опознавательным знакам все же приходят к его литературному наследию, нередко недоумевают. В особенности если, как у Петровых, в стихах нет прямой полемики с эпохой. Несовместимость отсутствия публикаций, на пути которых не было очевидных препон, после кажется личной странностью. Такую странность, порой даже восторженно, приписывают и Марии Сергеевне. Между тем она была человеком без странностей. Она сознавала, что «печататься» означает «печатать себя», а вовсе не ставить свое имя под написанным или причесанным в угоду стандартному вкусу, к которому привык редактор. Не стоит, даже из лучших побуждений, сваливать теперь на поэта вину за то, что монополия стандартного вкуса отстраняла его от читателей, а у него не было сил пробиваться.

Пишут, тоже из лучших побуждений, что пробоиной в стене был перевод. Где-то я недавно прочел: «В переводе – не меньше, а может быть, даже больше, чем в собственных своих стихах, – выражала себя Мария Петровых». Сказано это было в подтверждение того, что перевод – подлинное искусство, а не

забава, не халтура. Но когда несомненную истину доказывают сомнительными доводами, она сама начинает выглядеть сомнительной. Почему непременно «даже больше»? Почему непременно «не меньше»? И какими приборами производится замер? Важно другое: для Марии Петровых перевод чужих стихов тоже был своего рода их сочинением, и перевод не удавался или она не была им довольна, если чужие стихи не становились своими, но своими – не значит идентичными собственным или заменяющими их.

Дважды мне случилось участвовать в сборниках, которые она редактировала. О поэме Адама Шогенцуква «Высокий огонь» мы почти не говорили – понимали ее одинаково. О поэме Туманяна «Падение крепости Тмук» спорили яростно. Кажется, только с названием она согласилась сразу, но и то с усмешкой предупредила: «Ничего у вас не получится. Я не трону, но в издательстве переправят». Так оно и вышло.

Меня поражало, что поэму всегда называли по-русски «Взятие крепости Тмук» или «Взятие Тмкаберда». «Взятие» стояло и в подстрочнике, в остальном на редкость добротном. Армянскую крепость взяли персы, а я писал по-русски, как армянин, и не мог написать «взятие». Русский поэт с одинаковой легкостью напишет «Взятие Берлина» и «Падение Берлина», если Берлин взяли русские войска, но у него не подымется рука написать о наполеоновском походе «Взятие Москвы». Какое же «взятие», когда ее взяли у нас? В рассказе о такой беде нет места равнодушно-му «взятию», в самом простом сообщении живет боль: мы отдали Москву, сдали, потеряли, Москва пала. Сказать «Взятие Москвы» мог только француз, и точно так же сказать по-русски «Взятие крепости Тмук» мог только перс или турок. Между тем на слове «взятие» в русских переводах

настаивали армяне, слово «падение» казалось им обидным. Так сталкивались разные национальные психологии, несоответствие которых затрудняет перевод не меньше, чем несоответствие языков.

Наши споры, даже если по видимости касались сугубо стиховных свойств, шли о психологии. В четвертой главке поэмы за каждым новым трехстишием с новой единой рифмой следовало повторяющееся двустишие. Марии Сергеевне мое двустишие не нравилось, и она предлагала нарастить строку, вместо трехстопного ямба дать четырехстопник, ямб или хорей, – тогда удалось бы расставить слова так же просторно, как в трехстишиях.

Я держался за то, что в подстрочнике был указан трехсложник. Мария Сергеевна толковывала мне, что нельзя быть рабом формы оригинала. Я вообще убежден, что форма не случайна, и всегда стараюсь сберечь, что могу, а тут я остро ощущал необходимость резкой перемены после напевных трехстиший. «Но в такой тесноте вы никогда не будете естественным!» – повторяла Мария Сергеевна.

На этом двустиишии все вдруг сошлось. Я отказывался от публикации своего перевода, Мария Сергеевна выражала готовность устраниться по болезни или перегруженности, предоставляя мне вступить в прямые отношения с издательством. Ее властная натура была до крайности раздражена моим упрямством. И вдруг меня осенило:

Но и над ним сильна  
Власть женщин, власть вина.

Я выкрикнул эти строки, не успев проговорить их про себя. Мария Сергеевна, словно не она только что твердила, что из моих затей ничего не выйдет, услышав подходящий вариант, тотчас произнесла: «Да, вы правы!», – и спор передвинулся на следующую позицию.

Она была старше меня на семнадцать лет, я почитал ее как очень немногих, но спорил с ней на равных, и это было возможно потому, что из поля ее зрения никогда не уходил предмет спора, она не заслоняла его собой, как часто делают спорящие, и правильность вашего довода, даже если он был направлен против нее, осознавала быстрее вас.

Споры о Туманяне не кончились согласованием текста. Сложив всю книгу вместе, уже в верстке, которой я не видел, она сама изменила несколько мест, и, обнаружив эти перемены в печати, я, конечно, кинулся к ней. Она ответила: «В книге не только «Крепость Тмук», а разные вещи в одной книге нельзя переводить наперекор друг другу. Будете издавать свой перевод отдельно, восстановите свой текст, а это общая книга». Я по сей день мечтаю издать свой перевод в прежнем, более резком виде. А тогда я сказал: «Вы думаете, что Туманян жил в Армении, а он жил в армянском квартале Тифлиса!» Она вдруг улыбнулась: «Теперь, наверное, уже все так думают!» – и с меня как-то сразу слетел гнев.

Здесь не место анализировать ее стихи и переводы, но даже всего лишь редактируя книгу, она ощущала ее своей.

Переводы не заменяли своих стихов, но позволяли размышлять о своем, как романисту его герои, ничего общего с ним вроде бы не имеющие, помогают разобраться в себе.

Ее переводческие пристрастия – Литва, Армения, славянские страны – определялись не просто случаем. Они были опытами размышлений о своей стране. Легко объяснить, почему об Армении она сказала: «Моя далекая, желанная. Моя земля обетованная». Но почему в том же стихотворении важнее всего «Родная дальняя гора»? Заметьте, «родная»! А слово вырывается не случайно. И не только потому, что Мария Сергеевна действительно любила Армению. Она любила в ней еще и самую любовь к родной земле.

Мне не приходилось встречать человека, о котором с такой полнотой смысла слов можно сказать: «Она любила русскую землю». Чувство привязанности к родной земле часто называют сыновним или дочерним. Оно часто таким и бывает: сыновья и дочери, естественно, гордятся успехами и авторитетом своих родителей, требуя порой за родительские заслуги и для себя преимуществ. Чувство Марии Сергеевны было другим, я назвал бы его скорее сестринским или даже материнским, ибо воистину любящая мать не столько радуется успехам своих детей, сколько терзается их страданиями. Может быть, именно поэтому любовь Марии Сергеевны к России была не просто чужда, но прямо противоположна всякой великодержавности. Великодержавность вызывала у нее разом и презрение, и бешенство – чувства, редко совмещающиеся.

Она ощущала национальные различия как различия не столько людей, сколько их культурных и душевных впечатлений. Рассказав что-то о поэте Самуиле Галкине, с которым дружила и которого переводила, она, в ответ на какое-то мое соображение, отрезала: «Вы этого не понимаете. Он был еврей». Когда я недоуменно заметил, что я тоже еврей, она пояснила: «Ему еще мешали быть еврейским поэтом, а вам уже мешают быть русским». – «Но ведь это и вам мешают», – возразил я. Она горько усмехнулась и неожиданно выдохнула: «И мне, покуда жива. Вот ведь Анне Андреевне, едва глаза закрыла, все вдруг друзьями стали. У меня не столько и не сразу, но тоже, должно быть, такие появятся».

Когда, съездив во Владимирскую область еще до того, как это стало модой, я рассказывал ей, что видел, как шел полем от Боголюбова к церкви Покрова на Нерли, о прудочке

перед церковью и о козе, привязанной по соседству, она, задумавшись, произнесла: «Знаете, я часто жалею, что наша страна такая громадная. Лучше бы все наши народы жили сами по себе. Ну, конечно, в дружбе, и в гости бы друг к другу ездили, и помогали бы друг другу, но жили бы по-своему, и чтобы была среди других небольшая отдельная страна – Россия. По-моему, была бы интересная страна». В другой раз она сказала: «Пока мы еще не брались всех учить, мы умели учиться, и Христа приняли, не проверяя анкеты его матери и учеников».

Я знал, что Мария Сергеевна – христианка, она знала, что я свободомыслящий, и мы никогда не задевали бытия божия. Но однажды в журнале «Нева» появилась реплика на мою статью о переводе поэзии. Обличение начиналось с того, что «для названия статьи – в полном соответствии с мистическими представлениями автора о литературе – избрано, как нарочно, слово из религиозного лексикона: «Преображение»». Меня поразному утешали, а Мария Сергеевна, прочитав реплику, сказала, без большой, впрочем, надежды: «Как я была бы рада за вас!»

Ей казалось, что свободомыслящему труднее жить по совести, чем верующему, слышащему в совести голос бога. Ей казалось, что совесть обретает в вере подспорье. Но она соглашалась, что и вера сама по себе не дает никаких гарантий. О проходившей мимо девушке, надевшей крест поверх платья, Мария Сергеевна как-то сказала: «Она хочет наладить с богом связь как с влиятельным лицом, которое потом по знакомству поможет, и наперед демонстрирует, какие у нее знакомства. А богу виден не крест на платье, а душа».

Более всего Мария Сергеевна дорожила чужими душами. В письме, отвечавшем на посланный ей перевод поэмы Гейне «Атта Троль», после кратких благожелательных слов о книге стояло: «О горе, обрушившемся на меня и на всех Толиных друзей, Вы, конечно, уже знаете. Это было, видимо, неотвратимо – жить вне России Толя не мог, за 5 лет не привык и никогда не смог бы привыкнуть. Может быть, не все это понимают, но Вы, я знаю, понимаете вполне, потому что знали и чувствовали Толю. А примириться с этим, освоиться – пока не могу». Толя – был ее ученик Анатолий Якобсон, по обстоятельствам уехавший за границу и там покончивший с собой.

То было последнее ее письмо. В Москве после этого я долго не был и больше ее не видел. А когда теперь, бывая в

Москве, сознаю, что ее нет ни на Хорошевском шоссе, ни в новой квартире в конце Ленинского проспекта, всякий раз вспоминаю ее слова: «А примириться с этим, освоиться – пока не могу».

Люди моего поколения, с детства и юности привыкшие к невозвратным утратам, могли хорошо усвоить, что каждый человек незаменим. Но и среди незаменимых есть люди, которых особенно недостает. Мне очень недостает Марии Сергеевны Петровых.



ЭНКОМИЙ

## Владимир Маразмин

### ПОЭЛЬ-90

*Но не бывает счастья лучше,  
чем счастье быть самим собой.*

*Поэль Карп. «Ты наперед решил не верить...», 1948*

В прошлом году мой давний друг Поэль Меерович Карп отметил 31 августа свое девяностолетие и вступили в десятый десяток лет жизни. Он нам наука и пример. Это большой поэт, балетовед, переводчик, публицист и историк, и ему положено не одно десятилетие на каждую ипостась. Как знаток и близкий друг балета он провел полжизни среди красоты и красавиц, что продляет годы тех людей, которых они окружают.

Пропитанный русской историей и культурой, долгие годы он не мог себя вырвать из Питера, ставшего родным, из любимого балета с его красотой и интригой, руки были повязаны одной из лучших частных библиотек России, собиравшейся всю жизнь, голова историка не могла не тревожиться судьбой его родной страны. Что произошло? Вмешались дети, живущие в Зарубежье? Пропала надежда на перемены в отчизне? Или просто судьба?

В его жизни были московский, ленинградский и петербургский периоды. Теперь живет он в сердце Лондона и гуляет по паркам британской столицы, как коренной российский эмигрант. Лондонский период уже насчитывает более полутора десятка лет – тоже целая отдельная жизнь. Королева приняла Поэля Карпа на берегах своего Ориона и зачислила на казенный кошт, хотя и довольно скромный.

– Королева заботится о нас, – сказал мне в Лондоне Поэль со своей иронической милой улыбкой, – но заботится сдержанно, как и подобает королевам.

В континентальной нашей демократии такого не дожدهшься.

О своих стихах он в стихах пишет просто. О чем они, его стихи?

о женщине милой,  
о друге старинном,  
о прожитой жизни,  
о странной судьбе,  
опять об отчизне  
и вновь о себе.

Но не поверим этой простоте.

В два-три росчерка рисует он любимый Ленинград,  
где мы оба прожили полжизни: *Город висел над водой белоглазой,  
/ стены строений страдали проказой – Или: В нашем городе погоде /  
трудно на слово поверить... – И еще: растет зеленая трава на линии  
трамвайной.*

Он влюблен в балет и потом объяснит, почему, в «Младшей музе», лучшей книге о балете по-русски. Но в стихах далек от объяснений, любовь идет из сердца: *за то, что лебедь бьет крылами, / когда спасенья нет ему. Урок на всю жизнь! Он чувствует это искусство, как нам не дано: Какой придумал гений / одеть их в ткань заученных движений... Он не щадит себя, балетомана: навек пронзенный красотой / воздетых женских ног.*

Историку, ему открыто то, чего не увидать простым протестующим людям. Да, у нас всегда: *винили в бунте и крамоле / певцов бессмысленных свобод. Их ссылали во все концы бескрайнего государства, так что нам приходится судить по биографиям поэтов / о географии страны.* Это верно – но свобод бессмысленных! Он знает горькую правду: в России верят, что земной рай: *придет не добром, а со страха.* Ему понятна массовая психология: *есть ненависть к людям, которым легко в наши дни. И самое горькое: Народ, не состоящий из людей, / Еще не время называть народом.*

Когда-то по одному его слову воздвигались и падали кумиры балета. Однажды я был у него дома, когда в дверь позвонили и явился новый гость, Юрий Григорович, в объятиях молодой возлюбленной, уже известной балерины. Его только что позвали балетмейстером в Большой, и это был краткий прощальный заезд за советом. Помню их разговор на непонятном, «птичьим» языке.

– Если ты согласишься на эту поддержку (*то есть поддержку балерины в танце, это-то я понял*), они с тебя никогда больше не слезут! – убеждал Григоровича Позль.

Как мне показалось, тот ответил:

– Вестимо!

Прошло почти полвека, и я до сих пор не представляю, что может значить такой разговор, хотя теперь, благодаря балетной книге того же Поэля, я знаю, *о чем поют колоратурные ноги*.

На моих глазах прошла дискуссия с Ефимом Эткиндром о переводах поэзии. Эткинд был заслуженный человек и знающий профессор. В тот год он отстаивал теорию «научного перевода». Что это значит, до сих пор не пойму, но у него была поддержка прогрессивных коллег. Поэль вступил в полемику, напечатав статью под названием «Преображение». Для перевода иностранного поэта, тем более другого исторического времени, несомненно нужна масса знаний. Кто, как не историк Поэль, ими обладал или готов был пополнить по каждому случаю. Но для перевода нужен еще и талант, нужен артистизм. Мало передать сюжет и смысл, нужно проникнуть в ход мыслей, в воображение далекого поэта и преобразить их в русский стих. Никакой научный автомат не подменит таланта. В ответ понесся град статей, обвинявших поэта в пристрастии к слову из религиозного обихода. В новое время Поэля Карпа представили бы за такое пристрастие к государственной премии. В те годы это был почти донос. Но и эту полемику Поэль пережил. Он преобразил нам чуть не полного Гейне, Эйхендорфа, преобразал годами Байрона, Шекспира, Андерсена и других замечательных писателей, недоступных не знающим немецкого, английского или датского языка русским читателям.

Поэль высок, красив и внушителен, я смотрю на него снизу вверх, хотя годы нас сблизили даже по вертикали. Последний раз в Лондоне он пришел ко мне на встречу с внушительной палкой, но лишь едва на нее опирался – атрибут независимости и старшинства. Весь Лондон смотрел на нас, не отрываясь, как Париж оборачивался на него годом раньше. Даже посторонним должно быть заметно, что его главная черта – верность самому себе и своим представлениям о жизни. Поэль это понял давно, едва перевалив за двадцать. Мне повезло: я знал очень умных людей, а с иными был дружен. Не практически сообразительных, которых в народе зовут «хитрожопый», не пропитанных знанием, как хорошая губка, не просто быстрых на ответ, а действительно мудрых. Если говорить только о тех, кого больше нет, умен был Вахтин, были поразительно умны Виньковецкий и Шифферс, Бродский, Лев Лосев, Владимир Максимов. Однажды больше часа я разговаривал

с Сахаровым и наблюдал, как действует его голова. В другой моей, технической жизни встречал я умных инженеров завода. Но только у Поэля я видел, как работает механизм – если можно так сказать – эманации мудрости.

В ответ на мое простодушное заявление о непричастности к политической ситуации раздавался безжалостный голос Поэля:

– Володя, если ты хочешь действительно выстегнуться из упряжки, не ходи в ближайшую булочную на углу!

Одну из моих детских книг я назвал «Кто развозит горожан». Это было забавное изложение истории транспорта в мире, главным образом в России. Возможно, название служило тем «паровозиком» (выражение Битова, знавшего в этом толк), который требовалось прицепить к непроходной в целом книге, чтобы дать ей дорогу. На это мне тут же указал Поэль Карп – не в упрек, а просто, чтобы знал:

– Кто развозит горожан? – спросил Поэль меня, а верней, самого себя, увидев книгу. – А никто! Каждый сам добирается до дому кто как может.

В ленинградском писательском доме Поэля Карпа окружали лучшие люди старшего поколения переводчиков и писателей. Он был дружен с Ахматовой, знаком с Марией Петровых. Благодаря ему я сблизился с замечательными людьми из его окружения Владимиром Адмони и Тамарой Сильман. Несколько лет Борис Вахтин и Поэль Карп были во главе переводческой секции союза писателей – лучшей писательской группы тех времен. Мало кто знает, сколько они сделали оба для Иосифа Бродского не только во время его процесса и ссылки, но и по его возвращении из Норенской. Но я пишу не биографию Поэля Карпа, я пишу поздравление другу.

История всегда была одним из главных интересов Поэля, выпускника исторического факультета Московского университета. Она наполняет его стихи, определяет публицистику. Пушкин когда-то прочел все двенадцать томов Карамзина, лежа «с меркурием в крови» в постели. Меня в свое время свалила другая болезнь, и я прочел «Историю государства Российского» в тюрьме, вечерами, отходя от допросов. Но книга Карпа «Отечественный опыт», написанная более полутора веков после Карамзина, помогла мне выстроить карамзинский материал в единую систему и яснее понять наши надежды и наши беды.

В России я не знал, что у одного из моих дорогих литературных наставников, Михаила Леонидовича Слонимского, есть в Америке брат, эмигрант, композитор. Здесь мне стало известно, что заокеанский Николай Слонимский в свой вековой юбилей выпустил книгу «Первые сто лет моей жизни».

Поэль Меерович Карп вполне созрел для книги «Первые девяносто лет моей жизни».

Но мы попросим его отложить это дело еще лет на десять, чтобы точно повторить замечательный титул нашего собрата-композитора.

*Париж*

# ЭССЕ И СТАТЬИ

Россия, Англия

**Вилли Р. Мельников**

## СТИХО-ОТВОРЕНИЕ

*Поэзия – это стремление стихотворца доказать всему миру,  
что он никому ничего не хочет доказывать.*

*Автор*

Одним из самых ходких слов сегодня стало «креативный» – говоря по-русски, «творческий». Но, похоже, большинство падких на модные словечки не подозревает, что у этого столь популярного латинизма есть греческий эквивалент – «ποίησις» [поэзис]; в самой Элладе, а позже в Византии под ним подразумевалось не только и не столько собственно стихосложение, сколько делание, созидание, постройка, творчество вообще, к какому бы роду деятельности оно ни относилось. Вспомним: в биологии используется термин «гемопозэ», означающий «кроветворение». Думается, не будет чрезмерной поэтической вольностью назвать публицистику нервной системой литературы; тогда рассказы, повести и романы составят тело, эссеистика – органы дыхания, афористический жанр – систему иммунитета. Поэзия же предстаёт сетью кровеносных лабиринтов (отметим: «поэтическая вольность» на латыни звучит как «licentia poetica» – нечто вроде «поэтической лицензии»!). Что же, настоящие стихотворцы всех цивилизаций отличались повышенной «кровоточивостью» (помните, у Владимира Высоцкого: «Поэты <...> режут в кровь свои босые души»?).

Среди философов, арт-критиков и культурологов поистине звёздную популярность обрёл термин «метафизика». Приведём его буквальное значение: «μετα-φῆσις» [мета-физис] – «меж-природный», то есть нечто спрятанное среди отличительных качеств какой-либо структуры. Однажды автору данного очерка стало душновато от частой неоправданности применения этого модного словечка, и он попытался поискать новые определения. И вспомнил, что античные эллинские мореходы использовали термин «μετα-χῆριος» [мета-химиос], буквально означающий: «то, что находится между волн». А нео-идиома «мета-химия» предстаёт некой смысловой ДНК, определяющей биографии и свойства этих волн. Их межволновыми диалектами

и представляется поэзия. Обнаглеем больше и введём в филологию ещё один термин древнегреческих корабелов: «μετα-ρρέω» [мета-ррэо] – «перемена течения». И отныне будем обозначать различные степени калейдоскопичности смыслообмена между поэтическими стилями, их изменяющего, как «мета-ррэйя».

Некоторыми филологами замечено: поэт, сочиняя, дистанцируется от языка; слова при этом будто бы отвязываются от вещей и ситуаций, а интонационные паузы превращаются в ещё одну разновидность звуков и слов. И язык отбрасывает униформу устоявшегося кода. Так, поэзия становится высшей формой игры со словами. Известный французский лингвист Марина Ягелло замечает: «Поэты лучше других умеют играть с языком. Потому они и могут поведать о языках больше, чем специалисты». Можно вспомнить определение американца Торнтона Уайлдера: «Поэзия – это особый язык внутри общего языка, призванный описывать жизнь, которой никогда не было, нет и не будет». От себя добавлю: овладевать большинством языков я начинал и начинаю именно с чтения стихотворений на этих языках, а также с попыток делать поэтические переводы наиболее понравившихся авторов.

Русский литературовед, переводчик и поэт-верлибрист Владимир П. Бурич (1932 – 1994) сформулировал: «В противоположность непозитической литературе, занимающейся выработкой новых и популяризацией старых понятий, поэтическая литература занимается моделированием человеческого менталитета...» Сказано профессионально чётко, но хочется дилетантски офразить этот постулат опозитизированной. Итак: «Если непозитическая литература, подходя к очередной психологической двери, долго громыкает необъятной связкой ключей, выискивая подходящий, то литература поэтическая ещё по дороге к намеченным дверям вытаскивает резцом своей интуиции ключи к ним». Вот вам ещё одно стихо-отворение, и при том – в буквальном смысле!..

По свидетельствам современников, Осип Мандельштам время от времени говорил: «Видно, поэзия – действительно очень грозное оружие, раз за неё оскорбляют и убивают!..» (Он же определял прозу как «прерывистый знак непрерывного».) К этому невесёлому, но точному выводу можно добавить: поэзия – достаточно серьёзная броня / меч, чтобы защитить многих – и при этом нередко, увы, стать надгробием для самого автора. Но чем бы ни оборачивались для него стихотворные смелости

– возвеличиванием или изгнанием – поэт всё равно оказывался неким переговорщиком между многими профессиональными, психологическими и мировоззренческими нишами, хотя зачастую и был вынужден обороняться от них всех: мало кому под силу мириться с фактом существования многомерно и многовременно мыслящих людей, каковыми и являются истинные поэты. Да и люди ли они?! Не иначе как посланники не то богов, не то злых духов!.. И стихослагатели понимали: их строки должны быть не только защищены, но и уметь защищать(ся). Поэтому (уже в этом слове звучит «поэт»!) лучший способ научить стихи иногда становится воинами – начерчивать слова прямо на доспехах, мече, копье, стрелах, арбалете... А действеннее всего – на самом себе! Издревле считалось: слово, начертанное на теле, приобретает несравнимо более длительное могущество, чем просто изречённое. Это убеждение прослеживается во всех древнейших культурах: от британских пиктов до австралийских аборигенов. Первыми почитался Хортазуэфф – божество охранительных тотемов, подаривший людям священный огам – письменность черт и резов; вторые поклонялись легендарному учителю рисуночного письма – Бугаджиумбири. И по сей день среди британских поэтов, происходящих из Уэльса, Корнуолла и Шотландии, как и у писателей – выходцев из племён коренных австралийцев, сохранился обычай: приступая к написанию художественного текста, рисовать на тыльных сторонах ладоней знаки, похожие на доставшиеся от предков, как бы прося названных покровителей поэзии о помощи. Кстати, остаётся до сих пор необъяснённым: каким образом тотемная графика, вытатуированная на телах и тех, и других, строится на откровенно похожих элементах? Разрисованные (а может, расписанные?) с ног до головы пикты наводили суеверный ужас даже на бывалых воинов стоявшего в Британии римского легиона. По воспоминаниям одного из центурионов, прежде чем нанести рисунок на себя, пикты вырезали его на древесном срубе, выцарапывали на плоском камне или вычерчивали на земле, после чего прикладывались к «эскизу» телом, будто впитывая священные извивы оберега. Римские легионеры в Британии, укладывая камни в стены укреплений и полосы дорог, нередко замечали нацарапанные цепочки огамического «штрих-письма». Сами римляне не уставали удивляться: именно на таких камнях лучше всего отдыхалось; именно такие камни-книги дольше сохраняли солнечное тепло; раны присевших именно на них не гноились и

быстрее заживали (сегодня мы бы назвали этот феномен «психосоматической самокодировкой» – чем не лингво-аутотерапия?!). А казаки-землепроходцы XVII века, исследовавшие Сибирь, описывали подобные ритуалы у юкагиров – исконных обитателей Красноярского края, чьи пиктографические письмена, проявлявшие аналогичные свойства, воспринимаются непосвящёнными как картины абстракционистов, а при переводе словно сами отливаются в форму верлибра. И такое должно считаться естественным, ведь «поэзия – это живопись, которую слышат» (Леонардо да Винчи).

Сходным образом поступали и скандинавские воины: выгравировав на оружии вису или драпу (жанры поэзии скальдов), викинг не только наделял меч и доспехи именами / личностями (вспомним всеразящий молот Мёлльнир, которым сражался Тор, – один из богов Асгарда, скандинавского Олимпа), но и писал нечто вроде опоэтизированной автобиографии. Знакомство воинов начиналось с изучения рунописи на мечах и щитах друг друга. Ну а если рунические строки нанести на собственное тело, то тогда, как считалось, станешь бёрсерком («неуязвимым»), даже не выпив традиционную настойку из мухоморов! Особое уважение вперемешку со священным трепетом древние скандинавы испытывали в адрес своего рода поэзо-жрецов, именовавшихся крафт-скальдами. Из них самой чтимой до сих пор считается Унн Высокомудрая («Сага о людях из Лососёвой долины»). Все их одеяния представляли собою единое стихо-заклинание: в нём можно было прочесть руны всех видов футарка (рунического алфавита). Считалось, что крафт-скальды – не только переводчики языка небесных светил на языки людей, но и переговорщики между живыми, ушедшими и ещё не рождёнными. Кстати, вспомним Пабло Неруду: «...Звёзды – это вечное свиданье с теми, кто ушёл и кто придёт».

Исландский эпос «Старшая Эдда» повествует устами валькирии (Valkyrja – «Выискивающая убитых») Сигрдривы: «Руны победы, коль ты к ней стремишься, – вырежи их на меча рукояти... Повивальные руны... на ладонь нанеси... Руны прибога познай, чтоб спасти корабли плывущие!.. Познай руны мысли, если мудрейшим хочешь ты стать!» Ганзейские купцы, побывавшие в XIV – XV веках на Фарерских островах, изумлялись ещё бытовавшему тогда у потомков викингов обычаю: перед тем как отправиться в долгое плаванье, моряки покрывали обнажённые тела своих жён, а частично и их одежду, рунической

вязью. Они делали раствор сажи из домашнего очага и писали на коже женщин и детей, остававшихся их ждать, руны-пожелания. Прежде чем надписи успевали смыться / стереться, их носители выучивали фразы-обереги наизусть. Случалось, что мореплаватель возвращался после многолетнего странствия и был встречаем состарившеюся супругой и взрослыми детьми: взаимное узнавание происходило именно по тем стихам. При этом каждый рунический знак понимался уже не как буква или дифтонг, а становился целым понятием наподобие иероглифа. Учтём, что «гипа» по-готски – «тайна». А разве поэзия – не тайнопись?.. «Поэзия – это то, что остаётся в нас после того, как оказываются забытыми все слова» (приписывается Францу Кафке).

Не моё дилетантское дело недоумевать: почему научный взор германистов, как правило, не дотягивается до исследований восприятия скандинавами раннего Средневековья творений сказителей-скальдов как магического проникновения в мир духов и «средства связи» с предками, а также способа враждующих кланов мирно договориться. Этому во многом посвящены труды (увы, не переведённые даже на английский!) К. Франка Йенсена – современного датского художника из города Роскилле, поэта и исследователя древних символов. Г-н Йенсен рассказывал мне предания, хранимые в их семье последние шестьсот лет. Не во всех поколениях их рода рождались поэты, но родившийся «отрабатывал» за все предыдущие, добывая на одежду и пропитание сочинением «цеховых баллад»: объединения ремесленников различных специальностей умели ценить стихосложения о своей работе – прежде всего, из практических соображений. Распевая во время работы строфы о самих себе, мастера дарили себе возможность не уставать дольше, повышая надёжность своей продукции и, следовательно, спрос на неё. К. Ф. Йенсен вспомнил слышанную им в детстве от прадеда историю об одном из их предков, жившем на рубеже XVI и XVII веков и промышлявшем как раз поэзией – сочинением изысканных любовных посвящений и убедительных деловых посланий. Работа оплачивалась хорошо: через пару лет такого стихотворчества Гуннар Йенсен смог купить домик на окраине Копенгагена и даже издать сборник своих виршей. Но однажды произошла пикантная путаница: один клиент заказал написать две депеши, а посыльные, которым было поручено их доставить, оказались хорошими приятелями и, встретившись на улице, решили зайти в таверну. Тёмное датское пиво несколько размыло их восприятие

окружающего, и оба нарочных понесли к адресатам конверты друг друга!.. Таким образом, предложение о судостроительной сделке получила юная купеческая дочка, а нежное любовное послание – её деловой дядя. Автору посланий, молодому корабелю, казалось, что родственники девушки недолюбливают его, но он нуждался в финансовой помощи богатого купца. Барышня же восприняла письмо как изобретательную попытку назначить свидание близ пристани и уверилась в незаурядности своего избранника. Зато её дядя сразу всё понял. Правда, его насторожила строчка, начертанная буквами ютландского футарка (рунического алфавита): хотя некоторые влюблённые пары использовали их в интимной переписке, в христианской (к тому же протестантской!) Дании руны считались колдовскими знаками (родственная им по форме знаков васконская, или иберская, рунопись была запрещена ещё в 1018 году вердиктом Толедского собора как «бесовские иссечения» и «ключи к адским вратам»). Но здравый смысл купца взял верх, и в городе стало известно о двойном торжестве: заключении сделки и помолвке. Что до Гуннара Йенсена, то его заработки заметно возросли. О нём заговорили как об умеющем по-деловому сочинить любовный мадригал и амурно добиться выгодного контракта!

О важности главенства чувств (посмею сказать: вычувствованного) в поэзии и в искусстве вообще писал швейцарский мыслитель и издатель Иоганн Якоб Бодмер (1698 – 1783). Когда читаешь его главный труд – «*Kritische Abhandlungen von dem Wunderbaren in der Poesie*» («Критическое рассмотрение чудесного в поэзии»), опубликованный в 1740 году, крепнет ощущение, будто он сперва написан различными типами футарка, а уж после переложен на более позднее готическое письмо. Неудивительно: в этом трактате Бодмер призывал немецких поэтов ориентироваться на древнегерманское литературное наследие.

Малоизвестно, что у шекспировского Гамлета был исторический прототип – сын влиятельного родового вождя, живший в Ютландии (Дании) во второй половине VII века. Его имя – Амлютт; записанное рунически, оно может быть переведено (точнее, расшифровано) как «Светильник, боящийся собственного света». Представители враждебного клана вырезали почти всю семью молодого Амлютта, чему он стал случайным свидетелем, и уцелел он лишь потому, что вовремя инсценировал сумасшествие. Принц с детства научился виртуозно владеть техникой написания стихов составными, «сращёнными» рунами, что

редко встречалось даже среди наследственных жрецов Скандинавии. Они использовались в важнейших секретных посланиях. Составленный ими текст был похож на пригоршню шиповатых клубков, постижение смысла которых требовало досконального знания около дюжины разновидностей футарка (рунического алфавита): вписывание или удаление малозаметной чёрточки могло сильно изменить смысл текста. Оперируя такими рунами-связками и следуя закону кровной мести, Амлютт сумел поспорить между собою всех убийц, покарав их руками друг друга.

Эпос «Эдда» пропущен через исторический и текстологический анализ поколениями скандинавистов, но он остаётся неполным без изучения устных семейных преданий сегодняшних жителей скандинавских стран. А ведь именно в них сохранились живые примеры весьма прозаического использования поэзии (как тут не заговорить о проэзии!): она оказывалась чем-то сродни не то витамину, не то психостимулятору, а иногда становилась самоучителем выживания с помощью поэзии. Именно им представляется вторая часть «Младшей Эдды» – «Язык поэзии», замешанное на мифологии наставление по использованию многоярусных поэтических метафор («хейти») и определений («кеннингов»). А при правителях любых стран и эпох удачные поэтические определения ценились высоко, но неудачные стоили дорого... Вот почему должность «законоговорителя» в древних Германии и Скандинавии была сколь почётна, столь и рискованна: будучи центральной фигурой альтинга (всеобщего совещательного схода), этот человек был обязан проносить законы тогда ещё не писанного кодекса межклановых отношений не только чётко, но и с соблюдением форм скальдической поэзии. За неточности «законоговоритель» подвергался изгнанию, что было равносильно скорой и мучительной гибели от голода и хищников.

Один из кеннингов, представлявших понятие «поэт», звучал так: «пастух сверканий чешуи рыб золота водопада речей». Для скандинавов эпохи викингов и скальдов расшифровка кеннинга была в чём-то сродни нынешнему разгадыванию кроссворда, и начинать её следовало с конца. Так, получалось: «водопад речей» = стихи; «золото водопада речей» = потаённый смысл стихов; «рыбы золота водопада речей» = умение донести смысл стихов до адресата; «чешуя рыб золота водопада речей» = уместность использования метафоры (хейти); её «сверкание» = эффектность / убедительность сказанного; и, наконец,

«паству» всего этого узла иносказаний – сам поэт, скальд. Говоря сегодняшним языком, он – скиталец по мировосприятиям и архетипам, умеющий с каждым из них говорить на его языке, делая последний ещё притягательнее (московский математик и философ В.Г. Кротов как-то назвал поэзию «намагничиванием слов»). Не забудем, что современное исландское слово «thalur» – «диктор» в поэтическом контексте означает «мудрый стихотворец», «поэт-сказитель». Другой исландский синоним понятия «поэт» – «oddr» – имеет также значения «дух», «душа». Интересно и такая необъяснённая: пикты называли своих шаманов «uzzurktan». На нынешние европейские языки (кроме, пожалуй, Euskara – баскского, возможного родственника пиктского) это понятие односложно не перевести. А смысл его таков: «Мудрец, который обучает камни читать собственные души знаками трещин».

Божеством, «отвечавшим» за поэзию, считался Браги (по-исландски «bragr» – «наилучший», «первейший»). Он представлялся своего рода переводчиком с речений богов на говоры людей, а также с обыденной речи на язык скальдов. А когда человек сталкивался с воинствующим, а то и роковым непониманием, то вздыхал: «Видно, сегодня в Асгарде кто-то кого-то недопонял, и потому Браги слишком занят!...»

Одно из самых таинственных мест Исландии – Годдафосс, Водопад Богов, что на реке Скъяульвандафльоут, в двадцати километрах от города Акюрейри. Уже несколько веков поговаривают: если мучающийся отсутствием вдохновения поэт проведёт у водопада хотя бы день, время от времени умываясь в нём, то творческих трудностей ему более не видать. В новейшие времена «помощь божественных струй» была распространена и на остальные области людских занятий – от рыболовства до бизнеса. Но кем бы ни был по профессии «проситель удачи», он должен первым делом непременно прочесть какие-нибудь стихи: так Браги узнает, что обращаются именно к нему. И представьте: помогает!

Само же название места восходит к прошлому рубежу тысячелетий – времени христианизации исландцев. Тогдашний «законоговоритель», желая своим авторитетом подать пример, «отдал» водопаду все бывшие у него деревянные и каменные фигурки богов-асов. Но он не швырял их как отслужившие своё предметы утвари, а уважительно опускал в воду по одному, предваряя и завершая каждое действие прочтением

скальдических строф. И люди знали: уступая место официальному единобожию, их древние божества остаются с ними как домашние, родовые обереги, раз обряд прощания пропитан поэзией. Говоря сегодняшними терминами, исландцы были уверены: линия связи «Земля – Асгард» продолжает действовать. Их потомки ощущают это и по сей день. В Исландии легенды о контактах между богами и людьми на языке скальдических стихов очень популярны; такого почти не встретишь в континентально европеизированных Дании и Норвегии, и уж тем более – в американизированной Швеции. Когда в Исландии были возведены первые церкви, их стены периодически исписывались руническими висами: так выражали свою верность верованиям предков приверженцы старых богов. Реакция большинства священников может служить примером мудрой терпимости: они объявили, что будут рады разъяснить духам-стихосочинителям основы христианской веры. Тем более что буквы футарка так похожи на видоизменения креста. Стало быть, для написания строк из Библии и молитв вполне пригодны рунические стихи!.. Заметим, что некоторые специалисты по текстологическому анализу считают: Библия написана верлибром и версетом; это близко к формам поэзии скальдов, особенно к скальдическому размеру, называемому «квидухатт» (он представлен в известной «Рёккской надписи» первой половины IX века).

Древнескандинавские «стихи», выросшие из жреческих наговоров, заклинаний и напутствий (или, на языке филологов, «эпико-магических инкантаций») условно подразделяются исследователями на старшерунические (II – VI вв. н.э.) и младшерунические (VII – X вв. = «эпоха викингов» и X – XI вв. = «столетие саг»); это даже не поэзия в нашем сегодняшнем понимании. Большинство учёных считают несостоятельными попытки усмотреть в этих строках некую версифицированность, то есть стихообразие (концепция «протостиха» – «Urvers»), считая, что оно происходит из наличия чёткого фразового ритма, во многих случаях акцентируемого аллитерацией (нем. «Stabreim»). Она характерна для всей древнегерманской поэзии и является вырифливанием эмоционально-смыслового рисунка через повторы согласных. Но в рунических надписях отсутствует минимальное условие стихотворного текста – членение на равноударные строки.

Судя по «Сагам об исландцах», последние умели равнодостоинно отвечать на удары повседневности, защищая при

этом честь своего рода. Правда, их понятия о чести были, с нашей точки зрения, весьма своеобразными. Так, рассказывается о «безжалостноглазых» людях с Западных фьордов, донимавших мирных соседей с южных берегов Исландии грабежами и издевательствами. Однажды, в очередной раз возвращаясь с добычей – несколькими овцами и двумя юными девушками, налётчики вдруг осознали: они не зарубили родителей девушек и их маленького брата. А если так, то по всему острову о них вскоре заговорят как о грабителях, но не как о воинах! Закон чести истинных викингов – не оставлять противников в живых! И пришельцы с Западных фьордов повернули обратно. Но, прибыв на место, застали там жителей из соседних селений, впрочем безоружных, которых могли бы легко перебить. Этого не случилось: пленённые девушки в пути прочитали руны на мечах и шлемах вояк, а оказавшись перед скоплением народа, предложили своим похитителям эти руны прочесть. Выяснилось, что те не понимают рунических знаков, следовательно, оружие и доспехи украдены. Не смогли храбрецы даже вису сложить – прочесть в своё оправдание. Пришлось им с позором убраться в свои фьорды, отпустив и овец, и девушек.

В конце 1990-х годов, участвуя в одном международном арт-фестивале, я познакомился с уроженкой Исландии, известной певицей и актрисой Бьёрк Гудмундсдоттир (по-русски её имя и фамилия могут звучать как «Берёзка Златоустова»). Достаточно беглого взгляда на её внешность, чтобы понять: её предки – из инуитов, «индейцев» Гренландии, к середине XIV века догромивших тамошние поселения потомков викингов, а ныне спивающихся от крепкого датского пива. Разговорившись с Бьёрк, я выяснил: звезда джаз-рока не владеет языком предков, а о рунах знает лишь понаслышке. Мне не забыть галлюциногенного выражения лица Бьёрк, слушающей мои разъяснения потаённых смыслов её имени, начинающегося с руны «berkana», символизирующей древнейшую богиню плодородия и возрождения, но с другой стороны – правительницу царства мёртвых. Визитные магические свойства этой руны – защита, гармония и самоанализ. На вопрос Бьёрк: не шаман ли я? – ответил: «Нет, всего лишь поэт». Бьёрк недоуменно спросила: «А разве это не одно и то же?..»

По сути, поэтически взирая на мир, человек незаметно для самого себя снова и снова приготавливает некий эликсир бессмертия – как максимум; а по меньшей мере – мощнейший

антидепрессант. И главное его действующее начало – удивительнейшие загадочные парадоксы, многомеривающие повседневность и превращающие далёкие от поэзии области в полигоны для испытания новых мыслеформ. Так, однажды мне подумалось: столь далёкое от поэзии произведение Ю. Семёнова «Семнадцать мгновений весны» можно превратить в подобие эпоса о приключениях североамериканских индейцев, если сделать русские кальки тевтонских фамилий персонажей этой знаменитой эпопеи! Ну, с Вольфом и Мюллером всё понятно: это, соответственно, «Волк» и «Мельник». А вот с другими поинтереснее. Судите сами: Шелленберг – «Звонящая Гора»; Холтофф – «Благосклонный Щит»; Гиммлер – «Небесная Притча»; Борман – «Воин-Сверло»; Плейшнер – «Плачущий Снеговик»; Гитлер – «Горячий Ученик». И, конечно же, Штирлиц – «Бычий Ремень».

А как-то раз, гуляя по Рязани, я забрёл на улицу Новосёлов. Это типично советское название почему-то тут же «выстрелило» в меня по-итальянски: «Casanova» (Казанова). И сразу скрикошетировало в одного из главных героев фильма «Служебный роман» – Новосельцева. Интересно было бы узнать: имел ли в виду итальянский подтекст этой фамилии сам однофамилец города – Эльдар Рязанов.

Однажды, экспериментируя с «вплавленными» в фотокомпозиции разноязычными стихами, я ощутил, что этот жанр требует нового названия. Рассудил: есть латинское слово «манускрипт» – «рукопись» и греческое «фотография» – «светопись». Так почему бы не быть их симбиозу? И сделал ещё одну поэзокальку: «люменоскрипт».

Поэтически изречённая мысль всегда дарила людям шанс «достучаться до небес» – не столько тех, что над головой, сколько тех, что внутри них самих. Одно только это обесмысливает вопрос: а может ли быть у поэзии жизненно важное применение? Думаю, поэзия – это лишь в-пятых рифмованные строки, а во-первых – в-четвёртых – это мощнейшее лекарство от психологического дальтонизма и плоскодумия; это путь к многомериванию взгляда на все стороны жизни и в то же время – способ взглянуть на себя со стороны.

Осмелюсь завершить это эссе собственным «стихоткровением», сочинённым около двадцати лет назад в процессе освоения разных вариантов футарка: ведь мой личный критерий владения языком – писать на нём стихи. «...Когдаходишь во

фьорд, поклонись всем обрамляющим его скалам с твёрдостью их со-стояний, зачерпнув из перекрестья их теней память неродившегося ещё конунга... Склонись с борта твоего дракара и отпей из течений, тебя несущих, запомнив вкус каждого, чтобы рассказать об их снах проросшему корнями в небо кусту омелы, плодоносящему недоговорённостями Фрейи... Вышивая рунами молний свой шторм, опасайся накрепко привязать его к горизонту, ненасытность которого может проглотить ещё не придуманные тобою отдалённости...»

*Июль 2014, Москва, Николо-Перервинская Слобода*

## Ольга Назарова

### 100 ВИДОВ НА ГОРУ ФУДЗИ, ИЛИ ИСТОРИЯ МИРА В 100 ОБЪЕКТАХ

#### *Сто или почему сотня гребешков*

Сто – это много или мало? Один из вопросов, который, несмотря на правила хорошего тона не отвечать вопросом на вопрос, провоцирует поставить новый – сто/сотня кого или сто/сотня чего? Ответ очерчивает спасительный контекстуальный круг, отделяя нас вместе с Хомой Брутом от хаоса бесчинствующих, безродных, безразмерных сотен. Но как гоголевского Хому Брута меловой круг не уберет от убийственного взгляда Вия, так и нам не избежать конфуза, задавая новые вопросы, если речь пойдет о деньгах, к примеру. Сто/сотня каких денег, сто/сотня каких денежных единиц, сто/сотня какого числового разряда?

Шагнем немного в сторону, оставаясь все в том же кругу стоимостного номинала, однако, обратимся к эквиваленту более надежному, мерилу ценности на все времена – золоту. Золотая сотня. Уже теплее, взгляд увереннее, мы понимаем, что речь идет о ста исключительных по своим качествам предметах, которые есть эквивалент, репрезентация, квинтэссенция, эссенция, *crème de la crème*... и без вопросительного генитива снова не обойтись.

В октябре 2010 года радио Би-би-си закончило трансляцию цикла передач «История мира в 100 объектах». Для этого совместного проекта «Би-би-си Радио 4» и Британского музея было отобрано 100 экспонатов из национальной коллекции образцов мировой истории. Из всего многообразия предметов и памятников, собранных со всего света, разными путями достигших и осевших в этом историко-археологическом собрании, и была составлена золотая сотня, представляющая историю человечества. 100 реликвий, 100 метафор человеческой цивилизации: от каменного прообраза топора до фонарика на солнечной батарее, от золотой монеты Камарагупты I до золотой кредитной карты, от найденной в Айн-Сахри каменной фигурки обнявшихся влюбленных, до гравюры Дэвида Хокни «В унылой деревне», изображающей лежащих в кровати двух обнаженных

по пояс мужчин, от китайского ритуального сосуда периода Чжоу до фарфоровой тарелки «Капитал» росписи Михаила Адамовича... Наверное, интересно перетасовывать предметы по-своему, обязательно найдутся скептики и несогласные с тем, как авторы проекта выбрали и категоризировали артефакты истории, непременно кто-то предложит свою, более «категоричную» классификацию. Voilà! Не менее занимательно, еще не заглядывая, на какие именно предметы указывает ссылка, гадать, на вскидку, что же там есть: мумия, Розеттский камень, фигура с острова Пасхи, «Большая волна в Канагава», золотая лама инков, золотой калаш, железный дровосек? Правильно, мы не знаем, *что* из наших догадок можно обнаружить в коллекции Британского музея, но коль скоро речь идет об истории человечества, то предметы, нас репрезентирующие, должны бы представлять нас в промышленных, культурных, религиозных, технологических, военных объектах, как минимум. Так оно и есть. 100 объектов по 20 категориям и временным периодам:

- ≈ Что делает нас людьми (2 000 000 – 9 000 до н.э.)
- ≈ После ледникового периода: еда и секс (9 000 – 3 000 до н.э.)
- ≈ Первые города и государства (4 000 – 2 000 до н.э.)
- ≈ Зарождение науки и литературы (1500 – 700 до н.э.)
- ≈ Старый мир, новая власть (1100 – 300 до н.э.)
- ≈ Мир эпохи Конфуция (500 – 300 до н.э.)
- ≈ Создатели империй (300 до н.э. – 1 н.э.)
- ≈ Радости плоти: старые удовольствия, новые ароматы (1 – 600)
- ≈ Становление мировых религий (200 – 600)
- ≈ Шелковый путь и за его пределами (400 – 700)
- ≈ За дворцовыми стенами: придворные секреты (700 – 950)
- ≈ Пилигримы, грабители и торговцы (900 – 1300)
- ≈ Символы социального статуса (1200 – 1400)
- ≈ Пред ликами богов (1200 – 1400)
- ≈ На пороге нового времени (1375 – 1550)
- ≈ Первые шаги к мировой экономике (1450 – 1600)
- ≈ Терпимость и нетерпимость (1550 – 1700)
- ≈ Исследования, эксплуатация и просвещение (1680 – 1820)
- ≈ Массовое производство, массовые убеждения (1780 – 1914)
- ≈ Мир в нашем воспроизведении (1914 – 2010)

Итак, золотая сотня: 5 объектов по 20 категориям. Это, в сущности, список, перечень; его легко и занято проглядывать

от начала до конца и в обратном порядке, по разделам, векам, предметам и т.д. Много этих предметов или мало для понимания мира, в котором живет человеческая нация, – это не вопрос, а, скорее, риторическая фигура речи. Если из этих 100 найдется хотя бы один предмет, одно свидетельство, один пункт, который ты можешь соотнести с собой, со своей личной историей и практикой, который хотя бы раз, на момент, был тождественен тебе персонально, то А) ты не инопланетянин и Б) являешься фактом, частью модели окружающего мира, попытки интерпретировать который никогда не прекращаются. Если ни один из этих 100 пунктов, ни в один из моментов жизни не был тебе синонимичен, то А) ты инопланетянин и Б) все равно являешься фактом, частью модели нашего мира, попытки интерпретировать который никогда не прекращаются.

Этот проект интерпретации неинопланетной истории людей, задуманный и исполненный в совсем недавнем прошлом, еще почти настоящем, является и типичным, и тождественным всем современным проектам: прежде всего он мультимедийный (радио, книга, включая ее видео презентацию – кликнуть «Watch a Related Video», страничка на Википедии, все подкасты радиопередач в Интернете) и глобальный, что следует прямо из его названия – «История мира». Похоже, что современные глобальные проекты, призванные решать или решить любую из мировых проблем, выглядят футуристски ориентированными, хотя бы просто потому, что хроники этих проектов еще не закончены или не прочитаны. Даже если принять, что какой-либо из подобных проектов завершен и реализован, увидеть и оценить его результаты возможно только в (не)обозримом будущем – или же придется рассуждать в категориях условного наклонения. Глобальные проекты слишком глобальны для обозрения их с короткого расстояния, так много сиюминутных нагромождений вокруг, мешающих оценить размах, красоту, пропорции, миссию созданной модели. Подобно тому, как пражский собор Святого Вита невозможно увидеть «в полный рост», поскольку отдалиться на достаточное для этого расстояние мешают окружающие его строения. Вердикт «выполнен/провалился» проекту вселенского масштаба выносится из будущей, отстоящей перспективы. Футуристичность «Истории мира в 100 объектах», с ее уже готовой хроникой в виде книги и звуковых файлов, в ее предназначенности не только для современного, но и будущего потребителя с надеждой, что таковой

не преминет случиться. И этой хронике также предопределен временной интервал: на сайте «Би-би-си Радио 4» указано, что подкасты звуковых фалов радиопередач будут доступны для прослушивания и скачивания до полудня 1 января 2099 года, что будет четверг.

Насколько каждый из этих ста элементов сам по себе является важным фактом человеческой истории? Каменный наконечник стрелы культуры Кловис сильнее, нежели трон, сконструированный из винтовок, как свидетельство одержимости людей воевать и сражаться? Морской хронометр или астролябия: кому приз за лучшую инновационную идею в навигационном деле? С точки зрения исторической значимости, все 100 объектов одинаково бесценны, как и все, оставшиеся за рядом этой золотой сотни, как и все, осевшие в других музеях, помимо Британского, как и все, утраченные человечеством в процессе проживания своей истории. Для удаленной во времени аудитории все 100 исторических артефактов будут тождественны и подобны нашей истории, и сконструированная из них модель мира, хочется верить, будет распознаваема и узнаваема аудиторией, удаленной и далее, чем 01.01.2099.

А если бы перед нами стояла задача из сотни этих объектов выбрать один, репрезентативный, некий юзерпик, поместить его на фронтиспис, эмблему, герб, логотип «Истории мира в 100 объектах»? Который из элементов нашего множества можно было бы выделить как тождественный и подобный всей этой модели?

### *Фрактальное и нефрактальное*

14 октября 2010 года умер математик Бенуа Мандельброт (Benoit Mandelbrot). Человек, открывший миру фракталы, скончался от рака в хосписе города Кембридж, Массачусетс, США. Человек, подаривший человечеству потрясающую неумолимость гармонии, завораживающую и замораживающую, как поцелуй Снежной королевы. Одна из последних его публичных лекций (по-английски, но в поле «Subtitles Available in:» много других языков для субтитров) – рассказ о фрактальном присутствии в природе нашего мира, объекты которого далеко не всегда соответствуют простым геометрическим фигурам. Кажущиеся нам изломанные, непонятные, нерегулярной формы облака, горы, волны, острова, ветви, корни, листья,

деревья, папоротники, система кровеносных сосудов, спаржевая цветная капуста, наконец (*Brassica cauliflora*), – сложные, самоподобные геометрические фигуры. Стоит только ухватить, измерить излом линии, как становится возможным воспроизвести регулярную повторяемость этого просчитанного фрагмента изогнутой линии, контура, очертания, и перед нами возникнет вся фигура в своем прихотливом абрисе. Каждый фрагмент фрактальной фигуры подобен всей фигуре в целом. Вся фрактальная фигура подобна каждому своему элементу. «Фрактальная геометрия природы» описывает и исследует правила воспроизведения фрактальных построений, возможности бесконечного подобия, безупречного подобия из бесконечно повторяющихся элементов.

Как смертному представить бесконечность? Как рекурсивное воспроизведение? То ли философу снится, что он ткачиха, которой снится, что она философ, которому снится... Но сама по себе теория суха, и философу еще часто снится, что он фрагмент фрактальной фигуры, и может разрастаться до ее размеров или сжиматься до размеров ткачихи, оставаясь философом, которому снится... О чем-то таком писали китайцы, искусные в мастерстве терпеливого и монотонного воспроизведения. «Простые правила могут породить бездонное чудо, если их повторять без конца (*Bottomless wonders spring from simple rules which are repeated without end*)», – подытоживает Мандельброт. Остается только исследовать правила, и добро пожаловать в мир фрактальной гармонии кривых и изломанных линий.

### *А Фудзи еще не спит*

Те, кто смотрят на Фудзи, не знают, что Фудзи не может уснуть, потому что не может сделать выдох. Те, кто смотрят на Фудзи, не знают, что Фудзи – это вдох. Фудзи считают богоподобной. Они называют Фудзи горой или вулканом. Они смотрят на Фудзи и вздыхают. Вздыхает и вода волнами. Случается, что океанский вдох раздувается гигантской волной, желая заглянуть в самую середину Фудзи. Но бесцеремонному океану никогда не удавалась эта выходка. Фудзи отличает вдохи и выдохи океана и распознает степень алчности по пене на гребнях волн. Фудзи обзирает лодки под гребнем волны, Фудзи знает, что после океанского выдоха лодки будут не видны.

Тем, кто смотрит на Фудзи, хорошо думать, что она

спит. Тот, кто рисовал мир, проплывающий мимо Фудзи, хотел запечатлеть ее 100 раз – 100 видов *омотэ* (с лицевой, восточной стороны, со стороны Токио) и *ура* Фудзи (с обратной, западной стороны).

По мнению Мандельброта, Хокусай был среди тех художников, кому открылась тайна фрактальной гармонии природной кривизны, изгибов и завитков, в том числе завихрений морских и океанических волн – смирных барашков и волнубийц, непредсказуемых и смертоносных для судов и кораблей. «Большая волна в Канагава» – первый из 100, как задумывал Хокусай, но успел только 36, видов Фудзи, горы, вулкана, сакрального объекта поклонения, паломничества, а сегодня – и туризма (и охраны). Эта гравюра по дереву – одна из самых известных работ японского мастера, копия которой и была отобрана для золотой сотни объектов, представляющих историю человечества в категории «Массовое производство, массовые убеждения». И если все еще стоит выбирать логотип для всего проекта, то «Большая волна» – главный претендент.

Человеческое стремление описать окружающий мир моделями, сконструированными из золотых сотен, – занятие геометрическое, своего рода. Ранжирование объектов и выделение эксклюзивного ряда – есть результат осмысления свойств, форм, размеров, качеств, соотношения этих объектов на плоскости и в пространстве. Поиски золотого ряда сродни попыткам распознать фрактальные элементы, тем самым отыскать порядок, закономерность в нагромождении форм и фигур, событий и стихий среди хаоса и беспорядка изломанного, нерегулярного мира. «Большая волна в Канагава» – гравюра, на которой гребень гигантской волны изображен фрактальными изломами линий. «Большая волна в Канагава» – это гиперссылка, указывающая на гиперобъектную связь между элементами всего проекта, это метаданные для нового проекта написания «Фрактальной геометрии истории мира», скажем, в 100 золотых сечениях ... и без вопросительного генитива снова не обойтись.

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК «СТОРОНЫ СВЕТА»

[www.StoSvet.net](http://www.StoSvet.net)

Подписано в печать 7 марта 2016 года

Нью-Йорк

На страницах литературного сборника (в прошлом журнала) «Стороны света» публикуются поэзия, проза, эссеистика, переводы, интервью, критика, фотография и графика, вне зависимости от страны проживания автора. С правилами представления материалов можно ознакомиться здесь: <http://www.stosvet.net/submission.html>

Издательство StoSvet Press является частью проекта *StoSvet* (США), включающего в себя также выходящий под эгидой Славянского отделения университета Браун англоязычный *Cardinal Points Journal*, портал творческих сайтов «Союз “И”» и ежегодную переводческую Премию «Компас» (русская поэзия по-английски).

Основатель и директор проекта: Олег Вулф (1954 – 2011)

Главный редактор проекта: Ирина Машинская

[www.stosvet.net](http://www.stosvet.net)

Купить этот выпуск и прочие издания StoSvet Press можно по адресу [www.stosvet.net/lib](http://www.stosvet.net/lib) или послав заказ по адресу [info@stosvet.net](mailto:info@stosvet.net)

=====

## THE СТОРОНЫ СВЕТА / STORONY SVETA LITERARY ANNUAL

The StoSvet Press is a part of the US-based StoSvet project, which also includes the *Cardinal Points Journal* (published under the auspices on Brown University's Slavic Department), the «Union “I”» web portal, and the annual *Compass Translation Award* (Russian poetry in English).

Founding director: Oleg Woolf (1954 – 2011)

Editor-in-chief: Irina Mashinski

[www.stosvet.net](http://www.stosvet.net)

One can order this or other books published by StoSvet Press directly from its web-site [www.stosvet.net/lib/](http://www.stosvet.net/lib/) or by sending an e-mail to [info@stosvet.net](mailto:info@stosvet.net)

NO PARTS OF THIS WORK COVERED BY THE COPYRIGHT HEREON MAY BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS - GRAPHIC, ELECTRONIC, OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, TAPING, OR INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS - WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE AUTHORS